

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (425)

2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Константин Кравцов. «Частичные галлюцинации» *и др.* 3
Наталья Бельченко. «На Рождество» *и др.* 12
Арсений Ли. «Я наблюдал, как с гулким «бум» из тела...» *и др.* 16
Дмитрий Григорьев. «Я за хмелем ходил в богадельню, где делают бога...» *и др.* 57
Андрей Коровин. «летающий остров: уходим» *и др.* 60
Марианна Плотникова. «обычное дело – начинаться...» *и др.* 62

ПРОЗА
Нина Горланова, Вячеслав Букур. Моя тихая радость. *Рассказ* 18
Нина Горланова. Рожь, ты о чем поешь? *Рассказ* 27
Михаил Бару. Кольчуга из щучьей чешуи 30

ДЕБЮТ
Григор Атанесян. Теория литературы. *Рассказ* 65

В КРУГУ СМОГА
«Нас мало и очень много». *Вступительная заметка Олега Рогова* 69
Наталия Слюсарева. На Первой Мещанской. *Предисловие Владимира Алейникова* 70

ВОСПОМИНАНИЯ
Позапрошлое, прошлое, настоящее: **Борис Белов.** Художник Н.М. Гущин. *Подготовка текста, предисловие, комментарии Л.В. Пашковой.* **Александр Белов.** Пассажиры бумажного кораблика 104

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Александр Шарыпов. Рассказ, повесть, монолог. *Вступление и подготовка текста Олега Зоберна* 139

ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ
Разговоры с Андреем Пермяковым: Максим Амелин; Юрий Цветков – Данил Файзов 196

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Марина Палей. Портреты в режиме клипа 210
Олег Рогов. Поэзия философии: три трамплина для прыжка в глубину 215
Андрей Пермяков. Для честного просмотра 216
Наталия Черных. «Слушая голоса на воде» 218
Сергей Трунев. По гамбургскому счету 219
Ефим Водонос. «И вот оказалось – вещунья…» 221
Александр Романов. Новые страницы саратовского краеведения 224

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Спецэффекты: цена вопроса 232

© «Волга», 2010

Константин КРАВЦОВ

Частичные галлюцинации

Первые дни юности с их непрямой перспективой,
Частичными галлюцинациями,
Явлениями на фортепьяно членов Политбюро,
Например, Арвид Янович Пельше:
Жизнь пройдет – будешь помнить:
Звали его Арвид Янович, этого Пельше,
Скитавшегося в поисках абсолютного ничего
Со всем упорством, со всей настойчивостью памяти,
Растекавшейся подозрительной синевой

Или красная оркестровая яма где-нибудь в Афганистане,
Полет шмеля над гранатом в утреннем молоке,
Солнце параноидального ледохода,
Твое пробуждение в бесперспективном пространстве,
Где до сих пор ветвится карликовая березка,
И улитка трогает рожками телефонную трубку,
И звенья рассыпавшейся твоей цепочки
Плавают, переливаясь, над островком Тишинского рынка

Но, бывало, росла во времени как бы некая ваза,
Не завершающаяся во времени ваза какой-то другой
Полуденной рыночной площади
С фигурками босоногих кармелиток
И исчезающим бюстом Вольтера

Взорванная голова наполнена облаками,
Архитектурными превращениями,
И дочь Западного ветра,
Повенчанная с ветром Восточным,
Дочь ветра со станции Котлас,
Возвращается, плача, к брачному ложу

Основы православной культуры

– Я не знаю вас, люди, я плохо вас знаю, –
Обратился он к соотечественникам, а была ночь

Константин КРАВЦОВ родился в 1963 году в Салехарде. Окончил Нижнетагильское художественное училище и Литературный институт. Жил в Ярославле, служил в ярославских церквях, в настоящее время священник московского храма Благовещения Богородицы. Публикации в журналах «Октябрь», «Знамя», «Воздух» и др. Автор книг стихов «Приношение» (1998), «Январь» (2002), «Парастас» (2006). Лауреат Третьего Филаретовского конкурса на лучшее религиозное стихотворение (2003).

И знобило с похмелья, – но мне есть дело до вас:
Меня занимает, в чем теперь ваша душа,
Чтобы знать наверняка,
Вновь ли возгорается звезда Вифлеема
Или вновь начинает меркнуть, а это самое главное.
Потому что, – все более воодушевлялся он, обращаясь
К сидящим во тьме и сени смертной, –
Потому что все остальные катятся к закату,
А если и не катятся, то едва мерцают,
А если даже и сияют, то не стоят и двух плевков

И тут он увидел и черноусых мужеска пола и женска,
И декабриста в коверкотовом пальто,
И человека в телогрейке, и Митрича –
Слезы стояли в глазах у Митрича,
Слезы жалости к Лоэнгрину и к стенке,
Которую тот обмочил – все было жалко ему, дураку:
И лодку, и чирьи. Жалость, – подумал в сердце своем
Председатель пира, – первая любовь
Или последняя жалость – какая разница?
Жалость и любовь к миру – едины.
Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву.
И ко плоду всякого чрева – жалость:
Вот основы православной культуры

И если Бодрияр прав, и «Апокалипсисом сегодня»
Америка действительно выиграла войну во Вьетнаме,
То Россия, несомненно, выиграла битву с самой собой
Этими *трагическими листами*

Остров

Ирине

Странно озарены
Эти шахматные фигуры –
Кони, слоны – все войско
Спит, кто вповалку, кто стоя,
Застыв на помосте между
Братским корпусом и колокольней

Ферзь, лежащий ничком, ладья,
Пешка-ландскнехт, и странно
Светится лак на кости, странные имена
Встречаются на побережье:
Прохор из Сольвычегорска,
Савелий из Череповца

Знаешь, на севере каждое утро –
Утро стрелецкой казни, и разве не странно,

Что остров поморов, зеков Беломорлага,
Канувших чернецов, немногочисленных
Отдыхающих по дешевым путевкам,
Белобрысых недорослей из Онеги –
Остров блаженных?

Сосны и можжевельник,
Изба, корыто, обод в луче блестит,
Колесо застряло в фосфоре тины:
Может, телега, а может и колесница,
И это не гарпии – чайки,
Чайки, но не приближайся:
Там, в валунах, их гнезда, там я вчера увидел
Сцену из фильма Хичкока, впрочем,
Голову не пробили и крови было немного

Ник. Т – О

Искать следов ее сандалий
И. Анненский

А «талифа, куми» – нет, не «девица, встань»,
А «девочка, проснись»: руки коснулся,
Сказал чуть слышно: «Девочка, проснись»

И след сандалий в воздухе морозном,
Над звонницами, чайными, пивными
Не в Царском – в Омске... талифа куми?

Весь этот груз обломков, ужас тела,
Уносит куклу черная вода,
Инверсионный след горит на солнце,
Луч на рожке подушки кислорода
И вот уже не нужен кислород,
Как с ней не надо света. Ужас тела?
Сказать, что это я, что не молился,
Не выносил пасхального трезвона
И не молился никогда? Девица?
Нет, девочка. Не умерла, но спит

Священник-поэт

О. Сергию Круглову

Узкий путь и другой,
Тоже узкий,
И один из них входит в другой
Как меч в ножны,
Как меч обоюдоострый,
Исходящий из уст

Сидящего на Престоле –
Пророка, Царя, Иерея вовек
По чину Мельхиседекову

Бесы

Кириллов спрашивает у Ставрогина:
Видали вы лист, с дерева лист? Видал, –
Отвечает Ставрогин. Кириллов: Я видел
Недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил.
Ветром носило. И продолжает: Когда мне было
Десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и
Представлял лист – зеленый, яркий с жилками,
И солнце блестит. Я открывал глаза и не верил,
Потому что очень хорошо, и опять закрывал.
Ставрогин: Это что же, аллегория?
Кириллов: Н-нет... зачем? Я не аллегорию,
Я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.
Тот: Все? Кириллов: Все. Человек несчастлив
Потому, что не знает, что он счастлив;
Только поэтому.

В новостях между тем сообщают о выброшенной
Или выбросившейся из окна москвичке,
Приглашенной на Кипр в качестве переводчицы
И превращенной в сексуальную рабыню:
Обирают паспорта, запирают, избивают, насилуют,
Короче, ломают. Обычная история. По Кириллову,
Ее не случилось бы, если б каждый помнил
О желтом, с остатками зеленого,
Подгнившем с краю листе, если б знал,
Что он счастлив. Они нехороши, – продолжает Кириллов, –
Потому что не знают, что они хороши. Когда узнают,
То не будут насиловать девочку. Надо им узнать,
Что они хороши, и все тотчас же станут хорошими,
Все до единого. И Кириллова не собьешь вопросами вроде,
Хорошо ли и то, что девочка, осиротев,
Умрет с голоду, хорошо ли, что кто-то
Обидит ее, обесчестит: Хорошо, – отвечает Кириллов, –
И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо,
И кто не размозжит, и то хорошо.
Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо.

Все хорошо, – сказал бы Кириллов отцу погибшей –
Бывшему военному, продавшему квартиру,
Чтобы найти и покарать убийц, –
Все хорошо, потерпи, отец, не так уж много осталось
До вашей встречи, до тех минут, когда
Время остановится, когда весь человек
Счастья достигнет, и времени больше не будет,

Когда погаснут в уме за ненадобностью
Идея времени, идея пространства,
И радости вашей никто не отнимет у вас

Базилика на восточном побережье

Черепичные крыши в прострелe воздушной ваты
Античными письмом, чешуйками смальты вспыхнут,
И облако скроет их в иллюминаторе –
Так и эти фрагменты мозаичного пола:
Ихтиос без головы, амфора или осколок
Дискоса, гроздь винограда, орнамент под костяной
Мачтой-колонной – под лучевой костью,
Державшей когда-то свод с Пантократором,
Круговращеньем светил, ангельским ликом
И человеками в нимбах – остались
Одни лишь опоры, фундамент,
Рухнувших стен вулканический камень,
Напоминающий о Геркулануме,
Огненной лаве, испепеляющем ветре,
И олеандры роняют алые лепестки –
Алые, розовые лепестки вместо снега,
Паче которого убелиться нам мудрено

Алые бабочки вьются над пепелищем
В снежной пустыне, стайка зеленых птиц промелькнет
Над Галилейской гладью, взор отведешь от руин
И увидишь агавы и высоковольтную линию,
Пещеры и валуны на округлых желтых холмах:
Здесь погребали своих мертвецов, здесь и жили они,
Гадаринцы, по другой версии – гергесинцы,
Вязали цепями своим бесноватых, вывших в гробах,
Отсюда, с этого камня, торчащего как осколок
Гнилого зуба, оно, говорят, и бросилось в бездну,
Колхозное стадо, вода подходила тогда вплотную,
И эта базилика, видно, стояла у самой воды, на месте,
Где попросили Его – робко, но твердо –
Убраться. А бесноватый, срам прикрыв кое-как,
Просился в юнги. И те же, должно быть,
Солнечные самородки бросали карминовый отсвет
На воды Геннисарета. Иди и расскажи,
Что сотворил тебе Бог. Рассказать? Это им-то?

Одинокий апостол, одетый и в здравом уме,
Смотрит, как удаляется лодка. Рыбаки из России
Расположились на берегу, варят уху с матерком,
Тивериада зажгла огни, ночью обещан дождь

Вифлеем. Пастушьи поля

Здесь и теперь рожают: в вертепах, на козьей шкуре,
В одной половине – козы, в другой – бедуины,
Люлька-качалка на земляном полу, в яслях горит солома,
Младенец спеленут, связан, раскалены докрасна
Руки Молоха – отдан приказ в Египте
Топить, как щенков, новорожденных израильтян,
Иудеи не прикасаются к женам, но вот ты плывешь
В корзинке из ивовых прутьев, Иохаведа юна,
А была столетней старухой, когда разлучилась с Амрамом,
Не извещенным еще во сне о твоем рождении,
Сопровождавшемся светом великим, подобным свету
Солнца во славе, и вот ты плывешь по Нилу,
Купальщицы твой остановят кораблик.
Кто он такой, фараон? Нет царя кроме кесаря? Сталин –
Имя России? Каспар, Мельхиор, Бальтазар, чьи черепа
В Кельнском соборе, или Гермизд, Яздигерд и Перод,
Или – по Оригену – Авимелех, Охозат и Фикол
Двор озирают, где сушатся Божьи пеленки

Нафанаил

И ты хочешь сказать, Филипп, что он вырос
В одном из этих клоповников на лепешках
Из ячменя и полбы, лепешках,
Что заменяют им ложки, когда,
Сидя на земляном полу, они макают их
В общий котел? Мать, отец и десяток мальцов,
Штукатурка пухнет в дожди, дым ест глаза,
Пахнет скотиной, ютящейся тут же, в левом углу,
Свет сочится в сквозное оконце под потолком
На циновки, глиняную посуду, тряпье,
Деревянную лошадь на сбитых колесиках,
Плошка коптит. И ты хочешь сказать, Филипп,
Что он ел из одной миски с ягненком,
Ходил круглый год в одном и том же
Рядне из верблюжьего волоса? Нет,
Сам-то хоть понял, что ты сказал?
Мессия из Назарета!

Иордан

I.

Шерсть верблюжья, волна волосок к волоску,
Изумрудная молния вод и голубка в расколотом небе,
Да возвеселится пустыня и да расцветет как нарцисс,
И увидит славу Господню, костер наготы,
Еще не выверенной по трупам изобретателем
Летательных аппаратов и субмарин

Цвета водорослей власяница вонзается в плоть
И Исайя-пророк говорит робким душой:
Будьте тверды и не бойтесь,
Вот Бог ваш, нагой Человеческий Сын,
В изумрудном потоке, спадающем с гор,
С вершины Хермона, где горнолыжный курорт,
Вот над глинисто-желтой водой
Пахнет инжиром, акридами, медом
И ремешками сандалий, волна волосок к волоску,
Волокнистая бездна с глазами ундин,
Что несутся верхом на дельфинах,
На гадах морских, шелест крыльев,
Свеча подо льдом и фонарь Леонардо,
Забытый под сводами склепа, вода
И костер наготы, что горит под водой
Он придет и спасет вас, откроются очи слепых,
Слух вернется к глухим, и оленем заскачет хромой,
И немой будет петь, ибо воды пронижут пустыню
И дебри иссохшей земли, и озерами станут болота,
Там будет веселие птиц, водворение сиринов,
Будут тростник и камыш,
Прояснится дорога и свят будет путь,
Не заблудится там даже тот, кто не знает пути,
И не будет ни льва там, ни лютого зверя,
Пойдут по нему те, кого искупил их Господь
И с весельем взойдут на Сион,
И веселие вечное над головой их,
Над глинисто-желтой водой

И костер наготы во тьме светит,
И тьма не объяла его,
Говорили, что свет великий озарил все окрест,
И все бывшие там устрашились,
Огонь исшел из Иордана,
И Дух Святой пал на Него как голубка

2.

Земля была безвидна и пуста,
И сказал Исайя-пророк: вот отрок Мой,
Которого Я держу за руку,
К которому благоволит душа Моя,
И еще сказал: так говорит Господь:
Жаждущие, на воду идите, и если нет у вас серебра,
Ешьте и пейте даром, пейте вино, ешьте тук,
Да насладится во благих душа ваша,
Услышьте Меня и душа ваша будет жива,
Взыщите Меня и найдете,
Воззовите ко Мне и помилую вас,

И словно снег на вершине Хермона,
Словно кувшинки в черной воде,
Белели сорочки в луче прожектора,
Ты сын Мой возлюбленный, Я
Ныне родил тебя, ну, а ты –
Ты возлюбленная Моя дочь

3.

Тот, Кого хвалит солнце,
Кого славит луна,
Кому присутствуют звезды,
Кого слушает свет – Его призываешь

Прожектора ли высвобождают из тьмы
Поникшие пальмы над Иорданом,
Или – мороз и звезды, фара снегохода,
И корку льда в иордани рубишь крестом,
Читаешь Исайю-пророка при свете фары,
Воды сии освятить просишь

Гады морские будут вам в пищу Великим Постом,
И в подводных садах наслаждений, когда,
Пепел роняешь на клавиатуру
И воды сии освятить просишь,
В подводных садах наслаждений,
В кишащей змеями тьме, в ее изумрудных волокнах,
Луч, проникнув в ракушку, зажжет в ней жемчужину,
Чтобы светилась ракушка, идя ко дну
Красного моря, к обломкам
Рамсесовых колесниц

Иерусалим. Ступени

Юле Новиковой

Камни вместо цветов, что-то вроде иврита,
Камни первого из алфавитов и солнце
Над белизной надгробий по склону горы Елеонской,
Солнце и черные шляпы, черные лапсердаки

Нарезает круги в синеве вертушка,
Снова буза у Навозных ворот,
Передернет затвор сибиряк,
Ангарск, а теперь – щит Давида
Синий на белом, крест Святогробского братства
Красный на белом, черные рясы
Греков, армян, эфиопов и коптов,

Рыцаря бедного щит и кольчуга в музее
Бенедиктинского монастыря

Спой, соловушка, песню о детском крестовом походе,
Десять шекелей стоит гранатовый фрэш,
Пьешь его как елень, наглотавшийся змей,
Сидя около стойла царя Соломона
И школьники между столпов гомонят, а еще
Солдатесс с автоматами видели очи мои:
Обожженные солнцем, в оливковой форме
Те были прекрасны, автобус взбирался
В Иерусалим, и в молитвенном изнеможеньи
Трудились при свете мобильников,
Пялились в книжки черные шляпы,
Черные лапсердаки, отворялся Сезам,
Ожерелья огней твоих, Город-Невеста,
Твоя тахана мерказит [1]
Камни вместо цветов и арабские лавки
Вдоль Улицы Скорби, I don't speak English,
Отстань, дорогой, этих карт у меня... И к тому же
Я знаю дорогу: не в буре, не в землетрясении
И не в огне, Аладдин, не в огне

[1] *Автовокзал.*

Наталья БЕЛЬЧЕНКО

На Рождество

В пирог зимы, бесшумной, бесшабашной,
запечены все детские шажки.
Родиться больше никому не страшно.
Разрушить сказку – руки коротки.

На санках, перевёртышем, отродьем
горы с рекой, на пуповине сна,
Изюминками в сдобе мы находим
ребячьи потайные имена.

Не видно, кто толкает санки наши
в лучах Звезды за снеговой каймой,
но всяк из нас не сделается старше,
пока он на пути к себе домой.

И каждая – вне возраста и пола –
зима живет на пуповине сил
рождественского тонкого помола,
и в мякише ее ты тоже был...

* * *

А в голосе волглом волнуется яр –
не море, не пропасть –
заветная впадина пришлых татар,
наснежная пропись.

Прибьется прощенная за недосып
луна-плоскодонка.
На ней уместившись, отчалить могли б
все страхи ребенка.

Наталья БЕЛЬЧЕНКО родилась в Киеве в 1973 году. Окончила филологический факультет Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. Имеет научные публикации по исследованию творчества Николая Клюева. Переводит украинскую поэзию на русский язык. Стихи переводились на немецкий, французский, английский, польский, голландский и корейский языки. Публиковалась в антологии «Освобожденный Улисс» (2004), An anthology of contemporary Russian women poets (Айова, 2005, пер. Роберта Рида), «Die Welt ist aus dem Stoff, der Betrachtung verlangt: Ein Gedichtbuch für Hubert Burda zum 65. Geburtstag» (Мюнхен, 2005, пер. Эльке Эрб) и др., в журналах «Новый Мир», «НЛО», «Октябрь», «Дружба Народов», «Новый Берег», «Дети Ра», «Сибирские огни». Лауреат литературной премии Хуберта Бурды (2000) и литературной премии имени Николая Ушакова Национального союза писателей Украины (2006). Автор пяти книг стихов.

Довериться – главное, главное – ждать
найдёныша-знака,
ядрёного, ярого, силой под стать
векам буерака.

Озимый младенец или яровой
не в голосе спит ли?
Пока выговаривается тобой
в молитве.

* * *

Листья вверх противотоком
Увлекаются с травы.
Подняла до самых окон
Осень кокон головы.

Просочилась от ограды
За гардины, в полутьму,
Привораживая взгляды,
Чтоб любить по одному.

Репортер кленовых мантий,
Тополиных соболей –
Подожгла она не магний:
Плавит золото скорей.

И в доверчивой ладони
Свет елозит нагишом,
На листвящемся балконе,
Перевесившем весь дом.

С ног на голову вставая,
Каждый чувствует, когда
Убегает мостовая,
Приближается звезда.

И до полного слиянья
Остается на вершок
Увлеченного сиянья –
Или беличий прыжок.

* * *

Во всякий день я жду – произойдет
Одно событие, и с ним в согласье
Любовь внезапный совершит исход
От недовоплощенности и страсти
До тихого насущного житья.
Ему не будет вменено страданье.

И неизбежно получу и я
Ломоть судьбы по вере и по ране.
Изречь бы, отобрав у тишины,
Нетронутое жертвенное имя...
Успеет ли стать более чем сны
Явь на двоих, прижитая двоими?

* * *

Дитя переулка, дитя тупика,
Волшебно заправлена в губы строка,
Как пленка фотоаппарата:
Снимает – снимается – снято.

Покровы срываются, губы дрожат,
Какой-то рубеж окончательно взят –
Вновь отдан – захвачен повторно.
Амор это все-таки норма.

Ранимая норма. От сотен стрижей
Заросший овраг закипает живей.
Отравлен парами заката,
Алхимик глядит виновато.

От силы враждебной защита холмы
И улицы – если до-веримся мы.
А после? Придется раскрыться
Ранимей, чем роза и птица?

* * *

Совращенье незрелой малины
Наказания не повлечет.
Город пахнет – как пахнут глубины,
Поцелуем и ягодой – рот.

Слезы вытерты снова и снова.
Есть прибежище – значит, сбежал,
Значит, создан как рыба для клева,
Как живой интерьер – для зеркал.

Значит, то, что вокруг не навеки –
Провоцирует верность твою,
Завлекает в пустые отсеки
Необжитого слова «люблю».

Помни – кто ты, задумайся – где ты,
С чем ты выйдешь к последней реке,
За щекою сжимая ответы,
Износив поцелуй на щеке...

* * *

Нельзя все время быть вразлёт –
Слабины заметет, залепит,
Затем сознанье перейдет
На мартовский кошачий лепет.

Ведь если встреча не дана,
То накликать ее не надо –
Под золотом ее руна
Зашевелились чертенята.

Когда невытрав*и*м соблазн,
Как жар нездешнего камина,
Не хватит здешней пары глаз,
Чтобы пройти спокойно мимо:

Другие надобно сомкнуть, –
Которыми касался края, –
И так брести куда-нибудь,
Вовсю приличья соблюдая.

* * *

Бежать по капелькам к тебе,
Ныряя между проводами,
Или сидеть себе в тепле,
Когда разверзлась хлябь над нами?
Должно быть, в городе чужом
Всяк лучше, чем в своем исконном,
Где напряжен и отражен
До самой смерти небосклоном.
А здесь, за тридевять земель, –
Ни пораженья, ни защиты,
Хоть стрелы попадают в цель
И гвозди правильно забиты.
Ты под зонтом, что аммонит
В земле, – в дожде своем сохранен.
Жизнь предлежит, и предстоит,
И предлетит, как марсианин.

Арсений ЛИ

* * *

Я наблюдал, как с гулким «бум» из тела
душа освобождённо отлетела.
Так Гектора, ахилловой пятой
попёртого, уже не мучит зной,
На родину досада и на брата...
Ты здесь жила, напрасно и когда-то,
За этим перекрёстком напрямик...
Уже не ты, скорее твой двойник.

Я разучился многому с тех пор,
Забыл твой выговор, забыл твой гулкий двор,
Тебя забыл
действительно навеки.
Лицо ломается в предсмертном крике,
Под колесом коляски паровой...
Я напишу, что ты была живой.

* * *

Это пустой разговор,
что же отныне есть в городе –
гарь и стынь,
всё остальное – здесь.
В этом четвертаке офисного листа...
В городе – гарь и стынь
И пустота.

* * *

Муза – девочка-дикарка –
Не читали ничего...
Светит месяц, светит ярко,
В комнате светло.

Рифма – бедная подруга
Нищей юность моей,
навещала неохотно,
не идёт теперь.

Арсений ЛИ родился в 1977 году в Ленинграде. Окончил биофак УрГУ им. А.М. Горького. Руководитель бюро «Револьверарт». Один из основателей российского товарищества поэтов «Сибирский тракт». Публиковался в журналах «Арион», «Урал». Живет в г. Дегтярске.

Возле школы-института,
армии, страны,
подожди, – ещё минута –
обращаться в сны.

* * *

Забудут всех, один Катулл живёт,
запутавшийся в этом одеяле.
От А до Я тягучий переход –
Катулл уснул, а я наоборот –
Из нашей гавани на вашем бале
Я растираю занемевший рот.

* * *

Самые прекрасные глаза
Были у тринадцатилетней проститутки
Из параллельного класса.

Оливковая смуглость, детская худоба...
Но уже не скажешь «бедная девочка»,
Долгий взгляд – беспечность безнадежности...

Теперь я понимаю, за что её покупали.

* * *

От утреннего холода дрожа,
Разуй своё хромое зренье.
У этого ли скажешь рубежа –
постой, остановись, мгновенье.

И вот ещё остался полувзгляд
И полувздох, и птичий лёгкий шорох,
И солнце яркое в расплавленных очах,
Пока воспламенялся порох.

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР

Моя тихая радость

Вошла, широко размахивает закуклившимся зонтом, слишком широко.

Ермолай – повезло или не повезло? – вчера только устроился в отдел и впервые увидел начальницу. Она вернулась из отпуска. Он стал наблюдать за ней, чуть ли не ворожа (начальника, начальника, не трогай меня). Ведь карьера, судьба!

– На трех каналах сразу,– бурлила Стелла Васильевна, – мародеры тащат вещи из домов в Багдаде, а один с веселым видом несет букет искусственных цветов! Все хватают дорогие вазы, мебель, ковры, а он – цветы! Нужна людям красота! Этого мародера я почти полюбила – за то, что цветы...

На первый взгляд – не железная леди, решил Ермолай.

А на второй взгляд что будет? На третий?

А дальше было то, что в тот же вечер он случайно встретил Стеллу – выходила из музыкальной школы с дочкой лет семи. У той была кошка – белая с огромным пышным хвостом. Приглядевшись, он понял, что это мягкая игрушка, точь-в-точь размером с живую.

– Ты из-за тройки расстроилась? Три балла из пяти набрать – это надо уметь. Не расстраивайся.

Дочь ответила:

– А у некоторых дома братьев до потолка. У них весело.

Вдруг сентябрь взял свою рыжую гитару и стал вызванивать Ермолаю: все, все сбудется.

Когда через день Стелла вскрикнула на планерке, признавая свою ошибку: «Каюсь! Забросайте меня помидорами!» – он на своем внутреннем дисплее сразу увидел, как под душем истомно отмывает ее от яркого помидорного сока.

Ермолай потому так смело производил подобные клипы, что уже знал: с мужем-алкоголиком Стелла была в разводе, и где он сейчас затерялся в бескрайних просторах белой горячки, никто не ведал. Причем он исчез не один, а вместе с двумя собутыльниками. Они однажды сбились в одну сущность из трех людей, когда их личности почти до нуля сузились. Поэтому их притягивало друг к другу. Может, поэтому русские так часто пьют на троих.

В обступившем их со всех сторон сентябре Стелла впервые водила машину и приезжала на работу вся порозовевшая от адреналина, хлопала себя по щекам:

– Видите, какая я. Оказывается, они все мешают мне, виртуозу вождения. (Смеется).

В отделе работала такая Крылышкина – ей было за полсотню лет – из диссидентов. Точнее, жена диссидента, который отсидел в застой за распространение «Архипелага Гулаг».

Нина ГОРЛАНОВА родилась в деревне Юг Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского университета (1970). Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом и политехническом институтах, младшим научным сотрудником в Пермском университете, библиотекарем в школе рабочей молодежи. Методист в Доме пионеров и школьников. Автор девяти книг прозы и многочисленных публикаций в толстых литературных журналах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Урал», «Волга» и др.). Замужем за писателем В. Букуром. Живет в Перми.

Вячеслав БУКУР родился в 1952 году в городе Губаха Пермской области. Окончил Пермский университет (1979). Работал редактором в Пермском издательстве, сторожем. Сотрудник газеты «Губернские вести». В соавторстве с Н. Горлановой пишет прозу, публикуется в толстых литературных журналах. Член Союза российских писателей. Живет в Перми.

Она, Крылышкина, осталась тогда с грудной дочкой. Еще в ту зиму, рассказывала, в лютые морозы, лаяли городские собаки каждую ночь до самого утра.

Вдруг Ермолай мимоходом видит: изображает в лицах Крылышкина свой вещий сон: дочь привела в дом медвежонка, а он стал всех кусать.

Разумеется, через день дочка заявила, что выходит замуж за майора ФСБ!

– Сон в руку! Медвежонок стал кусать! Медведь. Они опять к нам подбираются!

Муж, который недавно перенес шунтирование сердца, отмахивался:

– Я уже не пью, не курю, мне нечем успокоиться... – Подумал и добавил: – Дорогая.

Он лег и отгородился книгой «Менструация родины». В общем, перекрыл он этот канал аутотренинга, змей.

Пришлось успокаиваться, напрягая коллег:

– Когда Крылышкина посадили, меня сразу с кафедры вышибли, друзья на другую сторону улицы переходят! И только соседка Октябрина поздно вечером появляется, сигареты сует, продукты ставит в холодильник и несет какую-то ерунду про своих любовников, у нее для них было свое клише: «одни деятели»: «Одни деятели тут приезжали, я им сказала про тебя – обещали найти деятеля и для тебя». Я так смеялась, что лопнул сосуд в глазу... И как пережить, что вдруг это чудо-юдо, дочь моя – я ее пять лет одна поднимала, клубки вен вздулись на ногах, хирурги потом их выдирали... а как я бешено курила – все платья, все кофты были прожжены...

Тут Крылышкина мгновенно умерла: посинела, веки почернели и запали. Через секунду она отмерла и выкрикнула

– И вот она выходит за опричника!!!

Выйдя со всеми из кафе, Крылышкина бешено закурила.

Тогда Стелла произнесла целую ответную речь, там было и про немецких оккупантов, в которых влюблялись, и про дочь Цветаевой, полюбившую своего стукача, то есть, когда узнала – почти совсем разлюбила, но принимала от него посылки с теплыми вещами, потому что в лагере надо было выживать. Видно, и он ее любил, да быстро же его расстреляли.

Речь не помогла.

Тогда Стелла достала из души рассказ о своей матери:

– Дед-украинец ушел на фронт, а бабушку и маму угнали в Германию на работы. Повезло: никто из соседей не донес об их еврействе! По дороге состав разбомбили, и бабушка погибла... Маму отправили на ванадиевый завод, ей было семнадцать, и в разговоре с начальником-немцем выяснилось, что она знает наизусть со школы всю таблицу Менделеева. Перевели работать лаборантом, там тепло и чисто. Начался ее роман с французом-лаборантом. Морис умолял после окончания войны остаться с ним, ведь она от него родила дочь. Эта девочка, когда выходили из бомбоубежища, спросила о лежащих в разных позах телах: «Мама, почему столько поломанных кукол разбросали?» Ну, недавно эта моя единоутробная сестра уехала жить во Францию – присылает вот парижские костюмы...

Ермолай видел: лицо Стеллы трепетало, как свеча на ветру... и взгляд его стал самостоятельным и пустился путешествовать вниз от этого трепета – по гитарным изгибам. Последняя трезвость его покидала...

Тут прилетела оса (откуда она в сентябре?), пробралась под брюки, ужалила и вернула человека в рабочее состояние. Он раздавил осу и слушал дальше:

– В общем, закругляюсь. В ссылке мама вышла замуж, в шестидесятом родила меня. И постоянно ее вызывали. Сначала с ней беседовали сержанты, потом лейтенанты, а в конце – полковник. Он ее не допрашивал, а только беседовал на разные темы. Когда уходил в отставку, сказал: «Никто уже вас не будет беспокоить, я уничтожил всю документацию». Так что всюду встречаются люди.

Крылышкина кричала:

– Люди! О чем ты?! – Ее лицо зачугунело на миг надбровными валиками. – Вспомни хотя бы, как КГБ создал двойника Солженицына, который распутничал в Москве и всем говорил, что он и есть тот самый Солж...

А у Ермолая отец прожил жизнь в музыке, как на острове, ничего советского не замечал. Разве только баб. Но их тоже нельзя отнести к чему-то советскому. Маму он рано бросил, ушел к барабанщице из джаза...

Ермолай думал: если б отец, допустим, сел за распространение Архипелага... да, возможно, это было бы матери легче перенести... и не исключено, что тогда не ушел бы родитель так рано из жизни!

Он вышел в коридор и позвонил матери, а она говорит:

– Хористка приходила.

– Какая хористка?

– Что, не помнишь? К которой он ушел от барабанщицы. «Дайте, – говорит, – фотографию молодого Вани. Я оцифрую и вам верну».

– Ну, а ты?

– Что-то не нашла, некогда искать.

А через день УЗИ показало, а врачи сказали: у Крылышкиной подозрение на самое худшее. И вдруг она стала говорить: все теперь не так важно – пусть «эти деятели» женятся как хотят!

Пошла потом на томографию. Там ей похожий на престарелого лорда врач сказал:

– Мадам, успокойтесь. Ничего страшного у вас нет. Это ультразвук отражается от газовых пузырей.

Крылышкина закатила такой юбилей! Пригласила весь отдел и дочь – уже с мужем из невидимого фронта. Он купил в подарок гармошку собраний сочинений Солженицына и вошел, неся ее в широко расставленных руках.

У наших зятей много затей, подумал Ермолай.

Была на юбилее и соседка Октябрина. Она с годами перестала пылать, одевается в черное, всем говорит, что у нее – родство с самим Пушкиным. Или с Пущиным. Недавно ей перепал даже шкафчик... В общем, один из потомков то ли того, то ли другого упомянул ее в своем завещании. Октябрина уверяла, что, судя по ароматам, хранили в этом шкафчике (!) штоф с чем-то крепким. Но не предполагали предки-дворяне, даже хватив изрядно крепкого, что в их роду будет такое имя – Октябрина, то есть по имени Октябрьского переворота.

Ермолай пришел с гитарой: пусть Стелла услышит, пусть поймет хоть что-то. Он мечтал исполнить свою композицию, в которой соединились романс, фолк и рок-н-ролл.

Выбрал момент и начал разудало:

– Я словом разрушу полсвета...

– Еще чего! – затормозила его юбилярша. – Послушайте! (Он стоял с гитарой на одной ноге, как цапля, вторая – на стуле). Ума не нужно – разрушить полмира. Про себя-то вы уверены, что останетесь живы в другой половине мира.

– Да это не мои совсем стихи... – попытался он уйти от выволочки.

– А не лучше ли восстановить полсвета словом? Хватит, наразрушались! Разрушают те, кто не в силах созидать!

Чья-то вилка упала на пол. Крылышкина замолчала и всхлипнула. Ее муж вытер рот салфеткой электрического фиолетового цвета, переглянулся со Стеллой, и они грянули:

– Если радость на всех одна,
На всех и беда одна...

Ермолай поневоле подтренькивал.

Крылышкина продышалась и влилась в пение:

– Уйду с дороги, таков закон –
Третий должен уйти.

Ермолай думал: да, я не подумал, начал петь совсем не то... но сама-то что поешь, Крылышкина! Кто уйдет с дороги, кто уступит любимую? Никто, никогда.

В лагерь за друга пойти или за великого писателя – это бывает. А любимую если закогтил, то уже никогда, никому.

Вот Машу он разве мог кому-то отдать? Все в школе звали ее: Марихен Чепухен, а он – никогда! Только – Маша, Маша Черепанова. Когда она узнала, что зачислена в университет, от чувств залезла на дерево и как закричит: «Спасите!» Не могла слезть... А он тогда не поступил и не поспешил ее снимать. Конечно бы, снял через минуту, но тут столько быстрых коротышек развелось – выхватывают девушку из-под носа. Так быстро и аккуратно, падла, с дерева снял Машу!!! Ну, она не простила миг задержки – понеслась к этому коротышке, а Ермолай в армии, не мог ничего.

Сейчас она с двумя детьми, а коротышка баблом в нее швыряет и требует, чтобы в рот смотрела. Сволочь ты, тебе кто Маша – стоматолог, что ли, в рот смотреть?! Вот про него, подлеца, и была однажды брошена пословица про зятей, у которых много затей (матерью Маши)...

Ермолай вздрогнул, открыл глаза, отлепил щеку от полированного бока гитары. Все уже расходились.

– Это просто какой-то уход в астрал, а не юбилей! – восклицала Стелла и осмотрела всех на предмет: на кого бы вытряхнуть последние крошки сегодняшнего оптимизма.

И она выбрала Ермолая:

– Ты как – не обиделся на юбиляршу? Я вот что подумала: эти слова, которые ты взял для песни – они от страха перед жизнью... закрыться стебом... со временем это пройдет...

Он сжал ее локоть, словно право имеющий, словно между ними это было возможно. А они уже вышли на улицу, и Стелла утешающее поцеловала его в щеку. Ермолай не успел еще обрадоваться, как она стала усаживаться в такси. Последней втянулась в салон невообразимо длинная желанная нога.

И тут подошла Октябрина, утопающая в своем дворянстве:

– Бабушка перед смертью обращалась ко мне так: «Простите великодушно, который день хочу спросить, но не осмелюсь – как вас зовут?» А время-то было хамское, красное, родители не говорили, что бабушка – герцогиня, и я над нею еще посмеивалась...

Ермолай вспомнил: герцогинь в России никогда не было. Но если эта сочинительница в седых буклях так устроилась в уютном дворянском мире, то... Никогда, никогда я ее не выбью из седла грубой правдой, что не бывало герцогинь, подумал он, клянусь!

Октябрина величаво посмотрела на него, тем более, что это ей было легко: она походила на породистую лошадь, вставшую на задние ноги. Вдруг она вздохнула, сжалась всей благородной костью и ловко нырнула в заказанное такси.

Недавно он слышит – случайно и не случайно – Стелла утешает по мобильнику какую-то бывшую коллегу:

– Ну и что загулял муж! Ты ведь женщина – должна быть выше этого! Чем раньше ты с таким столкнулась, тем скорее найдешь укрытие в другом: в дружбе, в детях... В чем хочешь, даже, может, в работе.

Какие есть уроды, думал Ермолай, как это так, чтобы отпустить жену искать счастья в чем-то другом, у меня бы не искала.

На другой день Стелла вышла в обед на мини-рынок – купить горшок для «тещиного языка», который зеленел у них в отделе и символизировал крепость и стойкость их пестрой команды. Ермолай, как всегда в последнее время, бесшумно возник рядом и спросил:

– Носильщик нужен?

Начался задыхающийся, сбивчивый разговор, который, впрочем, сама Стелла и сбивала, чтобы Ермолай никуда не вырулил.

– Стелла Васильевна, смотрите, какой рисунок на простыне! В разрезанных яблоках... что, если я куплю?

– Это без меня! – умоляюще попросила она.

– А почему?

– Отойдите, отойдите! Вы загораживаете наш товар от посетителей! – раздался голос судьбы.

И так все время – где бы они ни встали, их отгоняют:

– Загораживаете товар.

Тогда мелкими быстрыми пассами он направил ее к палатке электротоваров:

– А этот торшер в римском стиле... видите, какая колонна с меандром... он подошел бы?

Радио в это время громко сообщило: в можжевеловой роще столько бактерицидных веществ, что там можно делать хирургическую операцию. А Ермолаю никакой рощи и не надо было – он стоял рядом со Стеллой, с кипарисом своим.

Никогда у него такого электричества не было! А всё какие-то ледяные блондинки за ним гонялись, одна даже догнала. Встреча с этой писательницей-фантасткой произошла в доме Смышляева, знаете, где библиотека, среди фанов. Ермолай задал ей вопрос о различении души и интеллекта в рассказе «Прогулка по кротовой норе».

– Я как раз об этом много думаю, – ответила она.

– Читала пейджер, много думала, – не замедлил кто-то из зала источить яду.

И ему стало ее жаль.

На выходе, когда она подошла и предложила продолжить разговор, он не мог ей отказать. Но этот разговор был не очень информативным – на диване, горизонтально, его участники обменялись всего лишь несколькими громкими междометиями.

И дважды кончалась ясная ночь, и трижды миновал белый день, а он все еще был с ней.

...Его потом вот что охладило: человек пишет странные, завораживающие рассказы, а шутки сыплет младенческие:

– Ох, одеяло – какой-то негуманоид, в пятку впилось!

А в повести у нее пыль залетает в окно, повисает буквами, и оказывается, что это не пыль, а нанореклама.

Вдруг выяснилось, что – хотя ей всего тридцать пять – митральный клапан почти полностью забит и требует замены. После коронографии она позвонила и захлебнулась рыданиями:

– Ермолай, не бросай меня... везут в операционную!

Он целый месяц проводил у нее вечера – даже не ходил к ученику, которого учил игре на гитаре (а ведь тот хорошо платил), только иногда по телефону проверял настройку инструмента:

– Ну-ка, поднеси трубку... четвертую струну подтяни, ставь ля-минор...

Кстати, Павел Балатов, который всех потом так подвел, кружился вместе с ним вокруг прооперированной фантастки. Так хорошо они выхаживали нашу ледяную блондинку, что она почувствовала в себе много сил и в благодарность захотела сделать из Ермолая знаменитого барда, причем немедленно:

– Сольник! Пора! Сольный концерт – это другой статус, понимаешь... Пусть твоя родня возьмет кредит, а мы снимем зал!

Но пришла сессия, он провалил вышку (высшую математику), и все рассосалось. Какой кредит, какой зал, когда стипа горит синим пламенем!

Ермолай слышал, что бывают дирижеры, у которых словно нет никакой техники, но они умеют передать оркестру все, что хотят. Тут мистика, тайна, тут что хотите.

Так вот что-то похожее происходило в отделе. Стелла не говорила начальственным тоном, никого не распекала никогда, но работа шла, и экологию отстаивали. Когда эксперт Верочка за-

явила, что у нового моста сливы сделаны не на современном уровне – со старыми фильтрами, Стелла два дня ходила бледная, звонила беспрерывно разным «деятелям» и наконец любимицу-реку отстояла (фильтры поставили новейшие).

Как раз в это время Ермолай пригласил в отдел своего друга и однокурсника Павла Балатова. Его посадили на «родники».

И все оглянуться не успели, как что-то сделалось со вчерашним студентом и он стал сатанеть на взятках. Так он себя поставил, что другим приносили иногда конфеты к Новому году, а ему – всегда коньяк и в большом количестве.

Старушка к нему пришла:

– Я после реанимации, руки дрожат.

У нее был мичуринский участок, она хотела его подарить, и вдруг оказалось, что там бьет источник и нужен акт экспертизы.

Павел все равно из нее выжал хоть печенье – послал в магазин. Пил с печеньем чай, всем видом показывая: а что – у нас эпоха частной собственности.

Пару раз был вообще рекорд: собралось у него этих подношений два тюка. Он даже просил Ермолая:

– Помоги мне донести до такси.

Надоело это Ермолаю, и он стал делать вид, что у него проблемы со слухом. Балатов придумал зайти с другого боку:

– Ты вот не остался с нашей блондиночкой, фантасточкой, талантищем нашим. А мне нужно теперь каждый год ее в Усть-Качку возить. Знаешь, какой это сейчас дорогой курорт?

– Курорт – это благое дело, – ответил Ермолай, чувствуя, что вывязывает что-то не то и не тому...

И тогда Балатов решил не длить эти сложности со своим тихим, странным другом, а брать только деньгами, которые значат много, весят мало, греют сильно.

Однажды он сам купил землю с целебным источником – туда ходил целый поселок! А Павел огородил свой участок вместе с родником бетонной стеной.

Целебный источник подумал-подумал – и закрыл свое водяное око, не в силах взирать на лицо нового хозяина, которое – как у динозавра, надувающего мешочки на шее, чтобы обозначить свой статус в стаде.

А хотел источник смотреть на родные лица из поселка: трезвые и с запахом, здоровые и надорванные... И вот – мгновенно в отдел явились все жители в лице пяти ходоков. Впереди маячил суд.

Стелла сказала:

– Павел, как хотите – разруливайте ситуацию и сносите забор. Кстати, еще одна взятка – и мы расстаемся.

В этот день Ермолай остался после работы на три часа – делал шабашку. Попросила, кстати, сама Стелла. А ее – сам директор. Ермолаю вручили «кусок дерева» (тысячу рублей), и он на следующий день сводил весь отдел в кафе.

Там вдруг промелькнуло два-три флюида между Ермолаем и одной стальной скромницей – официанткой, промелькнуло, и все. Так у любого при встрече с любой слегка что-то мелькает. А дальше должны пойти усилия, чтобы эту любую сделать единственной. Но на эти усилия у Ермолая сил не было не запланировано.

И тут Стелла и Крылышкина завели разговор словно бы совсем из другого измерения:

– Вчера в перерыве вышли купить новый мобильник.

– Моя дочь такая углубленная в музыку – второй мобильник уже посеяла...

– А там продавщица – просто ирис – глаз не оторвать!

– Мы уж любовались-любовались! Любовались-любовались!

– Почти наша Верочка!

– Что ты говоришь! По сравнению с Верочкой та – просто ромашка чахлая.

Это ведь вам не такие свахи, которые мужику сразу обухом в лоб: остановись, посмотри на эту красу, век нас будешь благодарить и медом-пивом поить! А добрый молодец сразу прыг в кусты, и только шевеление веток далеко впереди отмечает его путь к свободе.

Ермолай мысленно называл Верочку: «Пухляндия», в общем – была она не в его вкусе, поэтому он и ускользнул в глухие леса холостяцкой жизни, лишь робким партизаном выходя иногда на Стеллу. То покупал ей билет в командировку, то провожал-встречал ее в аэропорту.

– Моя тихая радость, – однажды сказала она ему, но дальше шел сплошной тормоз жизни.

– Ты, идиотка, послушай, – говорила ей Крылышкина, бешено куря. – Пугачева – с Киркоровым, это раз, сейчас вообще модно – вышла замуж за – он вообще моложе на двадцать пять лет.

И дальше давила – в своей элегантно-бульдозерной манере:

– Что я: сейчас да сейчас! Всегда так было. Анна Керн – помнишь? – старше мужа на двадцать лет, а жили счастливо и даже умерли чуть ли не в один день.

– Еще скажи про гормоны для здоровья...

– Скажу, – безнадежно вздохнула Крылышкина.

– И получается – Ермолай должен самое малое – на пятнадцать лет меньше прожить, чтобы иметь сомнительное счастье в один день со мной ласты склеить...

Прошло пять лет.

– Есть хорошая новость!

– Какая?

– Через три дня весна!

– Зачем спешить? Эти три дня что – мало значат, что ли?

Разговоры в отделе о как нужны были Ермолаю! Его недавно приняли в ансамбль «Нанотехно», и он поплыл по реке созвучий, жестко потряхиваясь на порогах смыслов. Он уже давно знал, что музыка дает самым затертым словам значительность и трепет. Бросил петь Губанова и прочих СМОГовцев и ОДЕКАЛовцев, а просто – подслушает какой-нибудь разговор, чуть сдвинет ритм, обопрется на диафрагму и начнет:

– Есть хорошая

Новость!

– Скажи скорее! Скажи – о чем?

– Через неделю весна! Своим плечом

Подвинет зиму!

– Но зачем спешить? Разве эти дни не причем...

Ему ставили целых два микрофона: для голоса и – ниже – для гитары.

«Нанотехники» выходили на сцену с полотенцами на шеях, ими вытирали трудовой пот. За это их полюбили невообразимо на дискотеках и даже в ночном клубе «Коллайдер». Особенно трепетный пол! Даже одна бросила в них своим лифчиком, его косточка попала Ермолаю в глаз, долго болела роговица.

Но все эти дела вечером и пока бесплатно, поэтому служба остается службой. Ермолай сдал на новую категорию, ему повысили зарплату, и Стелла пустила в ход этот новый предлог:

– Ну теперь уже никаких отговорок! Высокий шатен, зарплата, отъявленный гитарист, и вот тебе наша Надия!

Надия пришла на место Павла Балатова, волшебным образом взмывшего в администрацию города Х.

Палец о палец не ударив, она стала любимицей одного олигарха!

Но предупреждаем: тут все вне эротики – небурный роман, а ровный пожар воспоминаний.

Олигарх зашел поспорить насчет водоохранной зоны в своих землях и увидел Надию, похожую, как две капли воды, на его первую любовь, с которой глупо, непоправимо поссорился тридцать лет назад. Тогда он был не олигархом, а кем-то вроде Ермолая... С тех пор ни разу с ней не виделся, а когда очнулся однажды среди плюшевых подушек на диване – уже женат, притом удачно, дети тут, затем внуки.

И вдруг смотрит: послана ОНА – его первая любовь – высшей силою... в виде Надии. Сходство – сто процентов. Те же смоляные косы, та же оливковая кожа. И никакая это не дочка, не внучка ТОЙ. Просто игра природы.

На самом деле она в любую минуту может уехать в Германию: у нее мать – приволжская немка, хоть и отец татарин.

Олигарх теперь приезжает в их отдел за двадцать минут до начала работы, заваривает Надие чай и приглашает еще широким жестом всех сотрудников:

– Сегодня с печеньем.

Или:

– Сегодня с вафлями.

– Спасибо, Владимир Иванович!

Вообще, Владимир Иванович – вылитый папа Бенедикт XVI! Как эти продленные кости лица и радостно-прохладные глаза занесло в коми-пермяцкие просторы?

Надия, которая защитила диплом по палео-климатологии, во время чаепитий размышляла:

– Наверно, угро-финские черты достались всей Европе. Ведь венгры отсюда вышли.

– А Сигизмунд Герберштейн писал, что не отсюда, – возражал Ермолай.

Стелла и Крылышкина переглядывались: Ермолай-то штурмует нашу Надию, скоро свадьбу сыграем.

А на самом деле Ермолай, плавая в Интернете, любил выдергивать вот такие цитаты: вдруг да прорастут в каких-нибудь песнях.

Все смотрели на олигарха как на странный цветок, произросший на уральских просторах, говорили: это что-то единственное в мире, нам повезло, давайте-ка поудобнее усядемся с чашкой чая, попялимся, посозерцаем.

Когда Надия заговаривала о том, что пора уехать на родину одного из предков, то есть в Германию, В.И. сразу давал ей шабашку на сто тысяч или путевку в Анталию.

И эта сказка течет дальше.

В.И. рассказывает им свои бесконечные истории про поэта Алексея Решетова – своего бывшего соседа по дому.

Когда-то поэт-сосед сказал к слову, что женщины в тридцать раз лучше мужчин. Потом он переехал в Екатеринбург, но недавно В.И. увидел его случайно на перроне – тот приехал в гости.

– А я встречаю двух женщин... это сестры жены. Помните, вы говорили, что женщины в тридцать раз лучше мужчин...

– Какую глупость я сморозил! – воскликнул поэт. – На самом деле они в сто раз лучше нас.

Сама Надия уже смотрела на Ермолая таким взглядом: если что, так я могу и не уезжать в Германию...

Скажем сразу: Надия отпала, потому что было затем общее собрание с эмчеэсниками.

Прогнозировали мощный паводок, вертолеты все время патрулировали.

– А гидрологов то не хватает, то тошнит в воздухе, как Машу.

При этом имени Ермолай вздрогнул. В самом деле, Маша сидела в средних рядах с блокнотом.

А в среде географов-гидрологов уже разбежалась волна: Марихен-Чепухен развелась...

Поскольку был очередной кризис, зарплаты срезали, свирепствовали слухи о сокращении, Ермолай и Маша никакой свадьбы не устраивали, а скромно в ЗАГСе подмахнули документ о новом своем семейном статусе.

Регистраторша на фоне триколора и с кислотным разочарованием в лице одно мгновение молча смотрела на Ермолая: навидались мы вас, разводим тут же, в этих стенах. Она почти зарычала:

– Жених, вы желаете вступить в брак?!

От отдела ему был вручен керамический горшок. В нем теснились два попугайчика из шелка, ракушка, похожая на яркий нос неведомого алкоголика, какие-то серебристые завитые спицы, но само собой, что в середине трубили белые каллы, которые до этого были в бутонах и никак не хотели расцветать.

– Вы наши – коллективные каллы! Вы обязаны расцвести! – выговаривала им Крылышкина.

Склонилась она над цветами, что-то пошептала им... На следующий день – расцвели! Точно к часу регистрации.

– Как же ты их уговорила? – спросила Стелла.

– Я им нежно сказала: «Если вы, на хрен, не расцветете, я вас выброшу на мусорку».

– Внимание! – попросил Ермолай. – Открываю шампанское!

3 ноября 09
Пермь

Нина ГОРЛАНОВА

Рожь, ты о чем поешь?

Не сговариваясь, они зашарили по карманам. Невидимый жребий упал на Ваську, и трудовые денежки были втиснуты в его подрагивающую от ответственности ладонь. Рядом шумела компания не контролирующей себя молодежи – один поливал мочой трансформаторную будку.

– Чикану промеж ушей – поспишь тогда, голубчик! – крикнул ему Васька.

По возвращении из магазина Васька спросил: куда?

– К тебе, – ответили грузчики.

– Но матушка! Ее вчера по телевизору показывали – антиалкогольная программа. Ко мне нельзя.

Но все же пошли. У матери огоньки по глазам побежали, как по спирту:

– Кошки на улице то каркают, как вороны, то...

Она ждала, когда ей предложат, но все молчали, тогда она сама предложила сделать закуску.

– Мама, тебе же нельзя выпить! Врач сказал: смертельно.

– А на том свете никто не подаст вообще.

Ей налили. Она заплакала:

– Спросили: как начала пить. Я говорю: приходят ко мне подруги Валя и Катя. Мы посидим, поговорим, потом Валя скажет: «А давайте выпьемте!» – «Ну, давайте», – отвечаю... На другой день приходят Варя с Лилей. Варя говорит: «А давайте, женщины, выпьемте!» – «Ну, давайте!» Я же не знала, что это покажут по телевизору.

– А чего от них ждать!

– Давайте споем!

– Счас, за роялем сходить?

– Сходи, Вася, сходи.

Он пошел к соседу Михаилу, у которого была гитара – правда, без трех струн, но он и на ней умел.

– Вась, что я тебе скажу! – встретил его сосед. – Я сейчас три минуты пробыл в небытии!

Михаил от матушки набрался таких слов – «преподобной» Настасьи. Она звала сына не иначе, как «падший электрик», а Ваську – «падший механик».

Когда «падшие» электрик и механик уходили с гитарой, вслед понеслось:

– Ты куда, отерёбыш?

Миша в самом деле похож на отерёбыша: голова нечесаная и в пуху. Только они сели за стол, как вошла «преподобная» Настасья:

– Миша, Христом-Богом тебя прошу: при свидетелях признайся – брал сорок рублей?

Тут вдруг раздался грохот. Это унитаз провалился вниз. От пролома междуэтажной перегородки стало очень пыльно.

– Аварийку надо вызывать, они новый привезут.

– А может, привыкнем? – спросил первый грузчик, мысль-чувство которого сказали ему так: «Как будто цыплята протухли. Можно терпеть».

Ночью скончалась «преподобная» Настасья. Последние слова ее были: «Я старалась».

На поминках Васька познакомился с Таней, дальней родственницей Михаила. Таня сказала:

– Времечко бежит, время катится, кто не любит сейчас – тот спохватится.

Васька не пил две недели, потому что Таня не хотела этого. Она хотела совсем другого. У нее было четыре груди (половинки верхние торчали из бюстгалтера). Васька на работе пошел просить комнату, но начальник вдруг как заорет на пол-Перми:

– Я в твоем возрасте в палатках жил вообще!

И хотя сейчас в Перми не найти ни одной палатки, что кому докажешь.

Но тут вдруг прямо в их квартире освободилась комната. Михаил, сын Настасьи, умер через месяц после смерти матери. Его последние слова были:

–Я уже все Упил, Ублял и Уссял.

По новому закону освободившаяся комната переходила к Ваське и его матери. Как она гладила лицо Михаила в гробу! Соседи думали: она не лицо, она его комнату оглаживает! Но на самом деле ей было перед кем-то неудобно, что сосед потерял жизнь, а вместе с нею и комнату, они же с Васькой приобрели комнату, а вместе с нею – возможность новой жизни.

Ее сын Василий тоже был таким стеснительным! Еще до Тани положили его в венерический диспансер (кожные высыпания), так он ни за что не говорил матери, где лежит, а звонил ей на работу и просил не приезжать, якобы потому что лежит далеко – за Камой, и – мол – кормят хорошо. Потом она все-таки отыскала ту больницу, но врачи уже вывели, что сыпь – от аллергии на стрептоцид.

Василий с Таней переехали в комнату Михаила, и скоро она оплодотворила семью – Таня понесла. Узнав об этом, Василий выпил с дружками-грузчиками, они вели его домой, а он говорил про трамвай: «объедет»...

– Стойте, я вам стихи прочитаю! – кричал Васька. – Я знал человека – о нем вы даже не слышали прежде...

Это в вендиспансере он подружился с поэтом, у которого потом тоже оказалась аллергия, и тоже на стрептоцидовую настойку (выпил с кем-то – дешевая была). Они оба боялись остальных, ногами двери открывали, а потом уже привыкли ко всему, в том числе и к тому, что мужики носятся со своим перевязанным хозяйством, а как в столовой увидят картину Шишкина «Рожь», так сразу: «Вот бы с бабой сюда!»

Врач приходила на обход, она была резкая:

– Окунёк-то у тебя ничего. Ну, где наварил? Веди свою красотку сюда!

– Рожь, ты о чем поё-о-ошь, – запел в ответ вновь поступивший герой дня.

Между прочим, как они потом кричали ночами, стонали – эти герои дня! Поэт, Алексей Ильич, научил Васю собирать пустые спичечные коробки и ночью кидать в кричащих. И помогало – на несколько минут. И не сердились. Вообще даже и любили Васю и Алексея Ильича.

– Смотрите! – говорили им. – Попробуете в шляпке, будете носить в тряпке... как мы.

У Алексея Ильича отца расстреляли в 38, а мать долго мыкалась по лагерям, и он научился с помощью слов и рифм находить в жизни самое прекрасное (то им оказывалось утро, то осень).

Стычки между палатниками Вася научился прекращать тоже у Алексея Ильича:

– А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты!

Однажды после работы Вася даже пришел в литконсультацию, где вел прием Алексей Ильич. Несколько раз во время беседы поэт понимал, что Вася – этот самый, с которым он лежал в вендиспансере, но потом снова утрачивал это понимание. Опять отворачивался и делал несколько глотков чего-то из чего-то, и снова понимал... Они вместе вышли, и Алексей Ильич затянул:

– Не искушай меня без нужды развратом юности своей..., - вдруг остановился и предложил: – Поехали к Серову! Он даст бутылку, а я дам ему в морду, и он стерпит.

Вася не знал, как быть: проводить поэта домой или к Серову, который даст бутылку и стерпит в морду, но вдруг – не стерпит? И решил, что лучше – домой.

Вдруг из подъезда выбежала старушка и стала заводить Алексея Ильича внутрь. Оказывается, мать каждый раз смотрит в окно и ждет сына.

– Я уже почти вытащила его, а он опять... ну, ничего, я все равно вытащу его.

Алексей Ильич насупился и молчал.

– Опять с начальством трения у тебя будут, – говорила ему мать.

– Молчи – убью! – безнадежно отвечал он и, не раздеваясь, нырнул с головой под одеяло.

– Ты человека постыдись! – запричитала опять мать, готовя чай сыну и гостю.

– Цыц, – из-под одеяла простонал сын.

– Вот тебе что я скажу, Леша...

Леша вдруг высунулся из-под одеяла и крикнул:

– Умирать мне пора! Уми-рать.

– Выпей чаю, на. Умирать! Далеко еще до этого, а сейчас ты выпей чаю и поспи.

Выпив чаю, Алексей Ильич еще раз понял, что Вася – это тот самый, с которым... Он что-то даже рассказал про свою работу литконсультанта:

– Пишут: они лежали вдвоем – грудь к груди и спина к спине. Это как они лежали? Неевклидова геометрия...

Больше никогда Василий его не навещал. Только достал фотографию Высоцкого в гробу и повесил у себя в комнате. Но Таня сказала, что в гробу она видела все гробы, и тогда Василий унес Высоцкого на завод и приклеил на внутреннюю стенку рабочего шкафчика.

Когда-то Василий поступал в политехнический, но провалил математику. На работе девушки-заводчане заглядывались на него, но после вендиспансера у него перед глазами вставала картина Шишкина «Рожь» и песня «Рожь, ты о чем поешь» звучала в ушах словно. И лишь с Таней мысли у него были о Тане. Однажды на дне рождения жены появился кто-то явно лишний. Василий не понял, как он здесь оказался, и подошел спросить.

– Смотрите, эта шестерня еще крутится! – усмехнулся лишний и перешел с Василием на особый выговор: – Таких мы в зёне зэставляли на лэмпочку лаять...

Все не отрывали глаз от его плеч, которые опасно поехали в разные стороны.

– Завяжи мне шнурки, – лишний наклонился и развязал свои шнурки.

Все стали смотреть в окно, а Таня зажмурилась. Но Василий спокойно завязал шнурки, а потом развязал свои:

– Теперь ты мои завяжи!

Лишний бросился Василию на горло, но тот сделал с его рукой то, что нужно, и выкинул за дверь его всего.

– А теперь мои завяжи! – засмеялась Таня.

У Тани с Васей все хорошо, и мать его собралась съездить в деревню – на родину. Там все разваливается, родственники уезжают кто куда.

– Сопливых вовремя целуют, – сказала она и уехала.

Когда она вернулась, по коридору шел сын, качаясь, но ища такую позицию, чтобы не качнуться на мать.

– Пррри-ехала! Мамка!

– Ты чего? А Таня где?

Таня была вся тут и сразу начала рассказывать, как вчера Василий попал в милицию.

В отделении Василий встретился с Алексеем Ильичом. Поэт не узнал друга по вендиспансеру и заново рассказал ему свою жизнь:

– Сначала я боялся: а вдруг я – как все, а потом стало страшно: вдруг я – не как все!

И вдруг оказалось, что какие-то друзья уже искали поэта, приехали в милицию, дежурный выпустил по их просьбе и Василия тоже.

– Мам, мне так его жалко – Алексея Ильича! У него что-то с памятью – он меня не узнает! – с отчаянием стонал Василий.

Впрочем, когда в человеке осталось так много человеческого, об отчаянии говорить рано.

1986–2003

Михаил БАРУ

Кольчуга из щучьей чешуи

* * *

Воздух над полем так наполнен шелестом больших и маленьких крыльев, чириканьем, гуденим, жужжанием, шорохом травы, песнями ветра, кузнечиков, что кажется, втиснись сюда еще хоть тоненький писк комара – сейчас же всё лопнет по невидимым швам, и тысячи сверкающих осколков разлетятся во все стороны.

* * *

Зайти далеко-далеко в поле и упасть навзничь. Чтобы вокруг высокая, в нечеловеческий рост трава. Чтобы щекотать ее верхушками висящие облака. Чтобы они морщились от щекотки и медленно, точно улитки, отползали в сторону. В таких местах время не плывет, но стоит, как вода в омутах или болотах. Переливается блестящими крыльями стрекоз и разноцветными бабочек. Гудят над ним виолончели мух и контрабасы шмелей. Кстати, можно не лежать просто так, а представлять себя каким-нибудь ветераном Куликовской битвы, давно истлевшим, с грудью, пробитой кривой татарской стрелой, предательски пущенной из-за угла, с продолговатым пятном ржавчины, оставшимся от меча в правой руке, с помятым от удара булавой шлемом... Можно вспоминать с грустью об оставленном в Москве или Владимире новом доме, рубленом из толстых сосновых бревен, о баньке, о хмельной медовухе, о краснощекой Пелагее или Евдокии, или Варваре, или Софье... Нет, Софью лучше не вспоминать – ох, и тяжела у ней рука... Тьфу на нее. И зачем только вспомнил, дурак. Аж кольчуга от страха вспотела. – Да иду я, иду! Соня, ты всегда так кричишь, как на пожар перед цунами. Дети ушли на пруд, ты еще ходишь в купальнике, и он, между прочим, такого цвета, от которого у меня развивается катаракта, электричка пойдет только через час... Куда мы так торопимся, а? Что мы там забыли, в этой чертовой Москве? Твою мать?!

* * *

В небе облака еще зимние, а ветки деревьев, на которых они раскачиваются, уже весенние. В поле, на снежном насте, мышиных следов столько, что мышкуют и лисы, и собаки, и даже грачи, как всегда прилетевшие раньше времени и не знающие, чем себя занять. Ну, это в поле, а в городе их сестра по весне мышкует нашего брата. Зимой-то его никак не добыть. Он с осени себе пива, чипсов, бульонных кубиков как запасет, как телевизор включит, как хоккей станет смотреть – ни за что его из норки не выманить. Другое дело – весна. К этому времени он все запасы свои подъест, крошки с треников тоже соберет, схрумкает, форточку приоткроет и осторожно красным синим носом своим воздух втянет. Сделается ему любопытно до мурашек. И в этот самый момент перед его убежищем их сестра ножками на шпильках как начнет перебирать – точно на арфе или на гитаре играет что-нибудь этакое – острое и зажигательное. Высунется наш доверчивый брат из норки, увидит эти острые шпильки, эти сверкающие ножки, уходящие в самое... и это самое, от которого ясным днем становится темно в глазах, и в этой темноте вспыхивают разноцветные

Михаил БАРУ родился в 1958 в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Волга» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Обещастье» (2005), «Следы птиц» (2007), «Один человек» (2008), «Цветы на обоях» (2009). Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в городе Пущино-на-Оке и в Москве.

искры... Тут-то он и пропал. Ловко схватят его ласковые, цепкие ручки и понесут за моря, за леса, за высокие горы. Станет он вырываться, кричать, звать на помощь и проснется в таком холодном поту, что пижама инеем покроется. Вздохнет судорожно, со всхлипом, свернется калачиком и завалится к жене под бок. Угреется и в другой сон упадет. И приснится ему, будто бежит он по чистому полю, а над ним облака еще зимние, а ветки деревьев, на которых они раскачиваются, уже весенние.

* * *

Храм Покрова на берегу Нерли растет на холме среди деревьев и птиц с таких незапамятных времен, что и деревья, и птицы, и даже река считают его своим. Это и в летописях деревьев и птиц записано, что он им не чужой. Весной, в половодье, храм плавает по облакам разлившейся Нерли; летом – по зеленому, в одуванчиках, лугу; осенью – по желтым и красным опавшим листьям ив и кленов, а зимой – по белому снегу и синему небу, которое здесь такой высоты, что, если хоть на мгновение запрокинешь голову – упадешь в него навсегда.

* * *

Снег в тени еще скрипит под ногами, но в полдень на солнце, если замереть, можно услышать, как растут сосульки, как бродит в них талая вода. С черного шатра колокольни на черный купол собора и обратно стремительно перелетает воронье. Кажется, что колокольня и собор отрывают от себя куски кровли и меняются ею. Внутри собора прибираются перед службой. Моют полы, доливают масло в лампады и пылесосят ковровые дорожки. Пылесос гудит ровно и сильно. Высокая, сухая старуха в пуховой ангорской кофте водит щеткой пылесоса по дорожке, лежащей на полу рядом с иконой Николая Угодника. Время от времени она взглядывает на потемневший от времени лик и быстро говорит, чуть жестикулируя при этом свободной рукой. Что-то он ей отвечает, но из-за шума пылесоса не разобрать что. Из высокого окна на противоположную стену падает столб золотого света, от которого херувим на фреске блаженно жмурится.

* * *

В пыточном подвале палат Ивана Грозного на территории Александровского кремля туристам показывают живую тень Малюты Скуратова. Тень шарахается от вспышек фотоаппаратов и терпеть не может, когда ее панибратски похлопывают по стене ладонями. Настоящего голоса не имеет, но разговаривает скрипом петель подвальной двери. Ежели медленно поводить взад и вперед дверь за кольцо и прислушаться, то слышно как она наскрипывает: «Дай, боярин, Грише копеечку. Дай, ирод, а не то...». Организованные туристы народ пугливый, особенно те, кто ездит на коллективные автобусные экскурсии с женами, тещами и детьми, а потому, убоясь даже тени давно умершего злодея, ему бросают медь, серебро и даже бумажки в яму на выходе из подвала. Музейные же сотрудники, когда по выходным и санитарным дням обметают угол, в котором обитает тень, от паутины, обращаются к ней запросто – «Лукьяныч» и даже щекочут веником, привязанным к длинной палке.

* * *

Хорошо безродным котятам и щенкам – их, хоть и отдают даром, но непременно в хорошие руки. Старуха в черной шубе с белыми подпалинами продавала черного с белыми подпалинами месячного щенка за тысячу рублей в любые руки. Я его не купил. Маленького, умещавшегося на ладони, с белым воротничком и лапками – не купил. Готового дружить со мной, с моим пальцем, с блестящей кнопкой на моей куртке – не купил, потому что... Да по тысяче самых серьезных причин не купил. Пришел домой, посмотрел на ладонь – а она пустая.

* * *

Осень в городе мало чем отличается от лета в нем же. Оделся потеплее и вместо холодного пива в кафе заказываешь водку. Но кто не пьет водки в жару? То-то и оно... Вот, по большому счету, и все различия. Есть, конечно, и другие, только кто их заметит, перебегая из дому в метро, из метро в офис, из офиса снова в метро... Человек идет по осенней улице, с которой дворники смели все опавшие листья, и думает том, что если идти по полю и смотреть на уплывающие облака, то непременно будешь думать, почему не улетел, когда все улетали. Ведь была же возможность! Сейчас бы грелся на каком-нибудь юге, в знойной зоне бикини, вместо того, чтобы месить раскисшую глину в резиновых сапогах на шерстяной носок. Конопать теперь щели в окнах. Запасай горчичники и мед. А как снег упадет – доставай смазанные лыжи или санки, приготовленные летом. Катись в них с горы. Валяйся в снегу, кидайся снежками, дыши на ее тонкие озябшие пальцы и даже целуй их, охоться на зайца, пей водку с мороза... Впрочем, до водки он додумывать не успевает, поскольку или улица кончается раньше, или надо спускаться в метро. Городские жители поэтому всегда думают коротко, чтобы успеть. И о водке, конечно, начинают думать сразу суетливыми, мелкими ~~рюмками~~ мыслями. Потому как для мыслей неторопливых и глубоких, как колея проселочной дороги, нужно осеннее поле, уходящее в небо и уплывающее облаками. Где ж это все в городе взять?

* * *

Осенняя темнота, и сама по себе темная, с каждым днем все темнее. К началу зимы она превращается в египетскую, а к февралю в натуральные чернила. Одного пузырька февральских чернил хватает, чтобы плакать неделю, а если экономно, не навзрыд, то и две. В столице ни египетской тьмы, ни февральских чернил днем с огнем не сыщешь, потому как везде фонари и московских окон негасимый свет. Обычному человеку такие чернила и даром не нужны, а вот поэт, особенно если он гениальный, февральских чернил только за один день может извести три больших пузырька. Это если в переводе на сонеты, а если пересчитать на поэмы... Раньше заготавливали февральские чернила централизовано и таким же манером, через союзы писателей, распределяли. Поэтам известным, а тем более партийным, давали по потребности, а неизвестным и беспартийным давали по шапке. Хорошо, если по кроличьей. Приходилось выкручиваться. Покупали на черном рынке, у спекулянтов-фарцовщиков, втридорога. Теперь все рынки, можно сказать, черные. И чернила эти есть в свободной продаже. Только стоят они... Товар-то редкостный. Производство себя не оправдывает. Один пузырек наберешь, а в глазах потом неделю темно. Конечно, если поехать в какую-нибудь сибирскую глухомань, забрести в дремучий лес, то можно даром набрать чернил такого качества, что потом все рифмы в стихотворении оближешь, но как из такого леса выбраться обратно? Да и где взять бедному поэту денег на билет, хоть бы и трамвайный? Так что, когда начнут говорить – стихов, мол, у нас хороших, не говоря об отличных, днем с огнем не найти... Можно подумать, что только стихов и не найти.

* * *

Все деревья как деревья – желтеют когда велено и не заморачиваются. Только береза предчувствует. Нет, против заведенного порядка она не бунтует, а тихонько пожелтеет один или два листика вроде ненароком, подкинет их ветру и тут же отвернется, точно она здесь и не стояла. А тот занесет листик тебе за шиворот или в карман. Придешь домой, разденешься, а он и выпадет. Почему-то не выбросишь его, а спрячешь куда-нибудь на дно пыльной вазы или в книгу. Ночью вдруг проснешься неизвестно от чего, вспомнишь про листик и станешь в темноте неизвестно зачем его искать. Жена спросонок скажет тебе... и ты уйдешь на кухню курить. На кухне вдруг вспомнишь, что курить ты бросил уж год тому назад. Нальешь себе зеленого, как тоска, чаю, зажжешь спичку, другую и, глядя на то, как ее скрючивает в пламени, станешь думать Бог знает о чем маленькими, сухими и ломкими, точно опавшие березовые листья, мыслями.

* * *

Ночью прошел дождь и теперь всё серое. Только в немногих лужах еще с позавчера сохранились лоскутки посиневшего от холода неба. Опустевшее поле так притихло, что слышно, как над ним трутся друг о друга обветренными краями низкие облака; как тяжело, с перебоями, стучит изношенное сердце медленно летящей стрекозы с поседевшими от холодного воздуха крыльями; как тихонько, точно после третьего звонка в зале, перешептываются между собой сухие стебли травы. Если идти куда-нибудь по тропинке и думать в окружающий оцепенелый, сонный воздух разной длины мысли, то через час или полтора, на обратном пути, все их можно будет найти буквально на том же месте. Даже хвостики у этих мыслей будут закручены в ту же сторону. Если...

* * *

Бразды пушистые взрывая, бежать по заснеженному полю куда глаза глядят, а потом как остановиться, как замереть, как не дышать и смотреть на глазированные снегопадом сосны, величаво выступающие тебе навстречу, на облака, которые эти сосны ведут за собой в поводу на белых сверкающих ниточках, на черные и желтые сухие травинки, бегущие, падающие и снова бегущие, точно свора гончих по глубокому снегу впереди сосен, на белые волны дальних холмов с качающимися на них лодочками деревенских домиков с огоньками цвета липового меда внутри, с самоварами, чашками крепкого чаю с мятой, вареньями в стеклянных вазочках на толстых ножках, сдобными сухарями и сонными, неповоротливыми мыслями о том, что снегу навалило выше крыши собачьей будки и надо бы запасти его на следующий год, да лень вставать, надевать валенки, тулуп, брать в руки жену с лопатой...

* * *

В первую декаду сентября, в самое полнолуние, светлячки выползают по ночам на пригорки, пни и давай наливаться лунным светом. Как нальются по самые гланды – так начинаются у них танцы. Светлячки – существа тонкие, со вкусом и понятием. Какой-нибудь насекомый гопак, который отплясывают не жалея ног толстомясые медведки или простоватые божьи коровки, они танцевать не станут. У светлячков в моде благородные гавоты и мазурки. Построятся они парами, и давай выписывать запятые с многоточиями. То лапки сомкнут, то разомкнут, то разом вспыхнут, то погаснут, то разлетятся, а то снова обнимутся. И каждый кавалер стремится своей даме посильнее свет в глаза пустить. Так они кружатся и кружатся, пока не упадут в траву. А как упадут... Нет, вообще-то для светлячков семья – это святое. Их мужику хоть лампочку стоваттную покажи – он на нее и внимания не обратит. Полетит себе преспокойно домой на свет семейного очага к своей законной супруге и деткам. Даже сяжками не шевельнет. Это все полнолуние на них совратительно действует. До самого утра они в траве такое вытворяют... С первыми лучами солнца, однако, всё немедленно прекращается. Все ползают по земле с измятыми крыльями, потухшие, не смея поднять друг на друга глаза. Но как только стемнеет и из-за стены дальнего леса высунется желтая, масляная, нахально ухмыляющаяся физиономия луны...

* * *

Утром вода в озере синяя-синяя, а небо над ней бескровное, почти белое, точно измученное долгой болезнью. Того и гляди хлопнется на землю в обморок. К обеду солнце нагревает озеро, и синева понемногу испаряется. Небо оживает, по нему проплывает облако, в него шелестит дерево облепиха, на ветке которой сидит перелетный дрозд и за обе половинки клюва уплетает кислые до судорог, желто-оранжевые ягоды. Вечером, перед тем как почернеть, небо даже ненадолго розовеет, пахнет дымом и упавшей в траву антоновкой. В углу подоконника нагулявшая за лето бока толстая муха потирает лапки перед сном. Медленно. Медленно, как только возможно. Еще медленнее.

* * *

Снег валит такой густоты, что при ходьбе его приходится раздвигать руками как занавески. Дети и вовсе не ходят, а барахтаются в нем, точно пельмени в сметане. Во дворе трое мужчин гуляют с собакой. Мужчины гуляют на месте – лепят снежки и кидают их в забор. Собака не успевает ловить снежки на лету, злится и потому с громким лаем кидается на забор и частью сгрызает, а частью слизывает с него прилипшие комки снега. Минут через пятнадцать компания расходится, и на том месте, где они гуляли, остаются стоять одна пустая бутылка водки, накрытая пластиковым стаканчиком, одна почти полная бутылка оранжевой фанты и одна полупустая трехлитровая банка соленых помидоров. Еще через полчаса две бутылки превращаются в двух крошечных снеговиков, а банка – в снежную бабу. Проваливаясь при каждом шаге по пояс в снег, к бабе подходит ворона и заинтересованно смотрит на красные помидоры, то тут, то там проглядывающие сквозь белые одежды.

* * *

В городское окно сколько ни смотри – все одно и то же. Сверху только шапки прохожих и видны. Они идут и идут вереницей – облезлая собака, бомж, увешанный пакетами, худая девушка с рюкзаком, с которого свисают на веревочках плюшевые мишки и собачки, солидный мужчина в норковой кепке и снова облезлая собака, бомж... Смотри, как говорится, еще хоть четверть века...

В деревенском окошке каждую минуту кино другое. Взять, к примеру, снежинки. Еще час назад они падали шестилучевые, с четырьмя иголочками на каждом луче, а теперь восьмиугольные без всяких иголочек. Или собака бежит. Известно чья собака, известно куда спешит. У Антоновых соседи-дачники приехали из Москвы. Известная всей деревне как излупленная, Светка Антонова уже приходила к ним занять стольник до морковкиного заговенья на лечение от известной же болезни. Антоновская собака скромнее – денег на опохмел не просит, если, конечно, Светка ее не заставит. Собака бежит за половинкой сосиски, за колбасной шкуркой, корочкой сыра и, если повезет, остатками супа. Дачники приезжают нечасто, а жаль. Как ни подкармливают они пса, а в промежутках между их приездами хоть зубы на полку клади. От Светки из еды собаке достаются только пустые пластиковые бутылки с остатками самогона – мутного, как светкин взгляд. Она бегала с этими бутылками в соседнюю деревню за три километра сдавать – так не берут. Не то, чтобы у всех брали, а у нее нет. У всех не берут!

А вот баба Нина идет, прихрамывает. Тоже известно почему. Да она и не скрывает – с табуретки навернулась. И все из-за сына Витьки. Нет, Витька не подсовывал матери сломанную табуретку – он построил баню. Раньше баба Нина из окна своей кухни видела проселок, что от трассы сворачивает в деревню. Само собой, всех приезжающих и уезжающих она ежедневно и ежечасно аккуратно регистрировала в книге своей дырявой памяти. Не с целью каких-нибудь сплетен или пересуд – Боже упаси! Да и какие могут быть сплетни, когда каждой собаке, включая саму Зойку Самодурову, доподлинно известно, что ее Колька Самдурак на своем тракторе ездил черт знает с кем за черт знает чем в соседнюю деревню. И эта шалава, черт знает чего вместе с Колькой набравшись, черт знает что... Ну, этого уж сама баба Нина не видала, а только со слов антоновской собаки, которая как раз сдавала там бутылки и встретила парочку в сельмаге. Антоновской собаке верить можно. Еще ни разу не было, чтоб она брехала на пустом месте... И тут как на грех Витька баню построил, загородив почти весь, пристрелянный дальнозорким глазом бабы Нины, сектор обзора. Старушка шею выворачивала-выворачивала... а потом взгромоздилась на табуретку и...

Три синички скачут по подоконнику. Стучат клювами по стеклу. У них сало кончилось. Одна веревочка, на которой оно висело, и осталась. Надо отрезать им нового сала. И хлеба. И водки налить. Они, конечно, из вежливости от водки откажутся – так никто и не заставляет. Было бы предложено, а выпить можно и самому. Закусить салом с хлебом и снова им предложить.

* * *

Идешь по скошенному полю куда глаза глядят, и под ноги с утробным чавканьем бросаются заплесневелые, размякшие от дождя и долгого ожидания прохожих коровьи лепешки. Холодный, сырой осенний туман забирается даже в голову. От этого у ней внутри что-то тихонько всхлипывает, жалобно шмыгает, время от времени сморкается и хочет водки. Далеко, в невидимом из-за тумана лесу, раздается гулкий выстрел. Должно быть, охотник промахивается по зайцам. Сейчас он закончит материться, подует на прищемленный палец, попрыгает на одной ноге, плюнет в сердцах, зачехлит ружье и пойдет, шумно ломая кусты, к костру, где уже заждались его ~~собутыльники~~ товарищи, один из которых еще утром промахнулся по свинье с тремя поросятами, хотя и выстрелил дробью, а другой и безо всякого ружья не помнит, как здесь оказался. Они рассядутся на раскладных брезентовых стульчиках вокруг дымящегося котелка с супом из горохового концентрата, вытащат из рюкзаков объемистые фляги, стопки из нержавейки, сдуют с них налипшие хлебные и табачные крошки, прежде чем наполнить, поднимут упавшего со стульчика товарища и снова рассядутся. С черных веток будут падать прозрачные капли, где-то в непроходимой чаще будет каркать воронье и мучительно умирать от смеха кабан, которому свинья...

* * *

Китайская игрушечная корова на батарейках, наряженная в свадебное платье и фату, кружится и поет игрушечным голосом до того сладкую американскую песенку, что время от времени какие-то шарики в ней прилипают к роликам, и она замирает. Большая, по-детски румяная от мороза волоокая продавщица, красивая той русской красотой, от которой шарики внутри просто заходят за ролики и все замирает, чуть подталкивает корову, чтобы та не останавливалась. При этом смотрит на нее с такою грустью, что... я не знаю какое каменное сердце надо иметь, чтобы не взять замуж обеих.

* * *

Как известно, Петр Алексеевич, когда не строил корабли и не устраивал морских сражений, то натурально места себе не находил. Только супруга его, Екатерина, могла успокоить царя в такие минуты. Плеснет ему на грудь соленой балтийской водой из специального серебряного кувшинчика – ему и полегчает. Как-то раз так плеснула она ему этим кувшинчиком аккурат... Ну, да мы не об том. Однажды наше морское все задумал учредить морскую кавалерию. Да не простую, а настоящую – с морскими конями. Надобно сказать, что Петр хоть и император был, а в ботанике понимал. Знал еще из школьного курса, что морские коньки субтильны очень. Не токмо взрослого гусара или, там, улана не выдержат, но и ребенка с деревянной сабелькой и игрушечным мушкетиком не вынесут. Потому решено было скрестить морских коньков с сухопутными. Для этих целей велено было князю Меньшикову организовать доставку морских коньков обоего полу в подмосковное село Бронницы, в котором еще при Алексее Михайловиче была государева конюшня. Там-то и решили разводить боевых морских коней. Поначалу, конечно, намучались. Что ни день, то дохли морские кобылки от брачных игр с обычными жеребцами. Выписали ученого голландского ветеринара, который посоветовал делать все наоборот. То есть икру брать от обыкновенной земной кобылы, а молоки, стало быть, от морского жеребчика. Тут дело с мертвой точки и сдвинулось. Однако же потомство получалось не очень крупным, хоть и умело плавать рысью или даже галопом. Так что о морских гусарах или уланах, а тем более гренадерах речи быть пока не могло.

Тем временем Петр Алексеевич приказал долго жить. Некстати обнаружились и большие растраты казенных средств в деле организации морской кавалерии, каковые были отнесены на счет Александра Данилыча. Ну, а князь, конечно, ото всего отказался и с тем отказом и с семьей укатил в Березов.

При государынях наших дело выведения морских коней шло медленно, но верно. Лет через десять морские кони стали размером с кошку, еще через пятнадцать – с собаку, потом с барана, а

ко времени восшествия на престол Павла Петровича уже были нормальных размеров, с могучими плавниками и крупной серебристой чешуей, которую не всякий сабельный удар мог разрубить. Такой конь мог проплыть с седоком в полном вооружении до пяти морских миль. Это при волнении до трех баллов, а в штиль и все десять. Ел конь и рыбу, и овес, а при нужде и морскую траву.

Император Павел повелел сформировать первый гусарский морской полк. Отдельная рота полка патрулировала ров Михайловского замка. Офицерская форма морских гусаров отличалась от сухопутной тем, что у обер-офицеров серебряный эполет был украшен икринками минтая, а у штаб-офицеров на золотой эполет нашивались красные икринки, и вместо шпаги был трезубец с гравированной по эфесу надписью «Рыбу дождем не испугаешь».

Павел Петрович, однако, воспользоваться услугами морских гусар не успел. По дошедшим до нас архивным документам, во время переговоров в Тильзите Бонапарт закидывал удочки Александру насчет морской кавалерии, о которой доносил ему посол Коленкур. Супостат хотел использовать морских гусар для усиления континентальной блокады и даже для высадки десанта в Англию. Александр даже что-то такое обещал, и велел военному министру, а тот в свою очередь товарищу министра... Стали писать отношения, докладные записки, и писали бы их еще долго, кабы не началась война. Она была сухопутной, если не считать переправ через реки. Все секретные работы в Бронницах были свернуты, и конюхи вместе с морскими конями были эвакуированы в одну из южных губерний. Французы, уже уходя из Москвы, проходили через Бронницы и даже искали морских коней, но ничего не нашли, кроме разломанных подводных стойл в Москве-реке, разгневались и предали город огню и мечу. Особенно пострадала улица Парижской Коммуны, которую не только спалили дотла, но и самые таблички с названием были подняты на пики уланами корпуса Мюрата.

Между тем наше командование имело намерение с помощью морских гусар помешать переправе Наполеона через Березину, а при случае и взять его в плен. С этой целью армии адмирала Чичагова было придано до батальона морской кавалерии. Увы, успех операции не сопутствовал. То ли несогласованность действий Чичагова и Витгенштейна, подошедшего к переправе слишком поздно, была тому причиной, то ли лед, покрывший Березину, то ли искусные маневры самого Бонапарта – теперь уж не установить.

Все же, как стало известно из архивов морского министерства, эскадрон морских гусар нес караульную службу вокруг острова Эльба в то время, как там жил в заточении низвергнутый французский император. И еще один прелюбопытный документ историки-краеведы разыскали в самих Бронницах. В середине царствования Николая Павловича корнет Оболенский в нетрезвом виде катал по Москве-реке на тройке с поплавками двух нетрезвых девиц, дочерей купца второй гильдии Брагина. В результате этого катания одна из девиц Брагиных то ли утопла, то ли сделалась русалкой (в материалах следствия неразборчиво). Приблизительно к тому же времени, что и это злополучное катание, относится и строительство Благовещенского моста в Санкт-Петербурге, в узоре ограды которого чередуются морские кони и трезубцы. Наверное утверждать нельзя, но имеются косвенные свидетельства того, что кони и трезубцы были отлиты не просто так, а по высочайшему повелению в честь удачной операции морских гусар. Тайной операции.

На этом следы морских гусар теряются. Когда в Крымскую кампанию возникла в них самая крайняя нужда, то уж ни одного морского коня найти не смогли. Не сберегли.

В двадцатом веке о коневодстве и вовсе думать забыли. Что об обычном, что о морском. В Бронницах основали автомобильный институт для нужд армии. Он, кстати сказать, располагается в бывших казармах конного полка. Нет-нет, да и дает знать о себе коневодческая традиция. То клаксон у какого-нибудь бронеавтомобиля ржет, точно жеребец, увидавший кобылу, то какой-нибудь грузовик сделают не на бензине, а на самом что ни на есть овсе. Натурально, в бак ему засыпаешь мешок овса или два, и он едет. Само собой и навоз от него – все как полагается.

Кстати, от выведения морских коньков осталась Бронницам удивительная природная аномалия. Понятное дело, что выводить надо в морской воде, а где ж ее взять – мимо Бронниц протекает только Москва-река и протекает самым что ни на есть пресным образом. Вопрос еще при

Петре решили просто – реку солили. Завозили соль возами и солили. И представьте себе – стали местные жители ловить в черте города морских рыб – хека и треску, и даже, я извиняюсь, бельдюгу. Особенно в советские времена это выручало. Даже и в столице хек тогда был свежемороженый, а в Бронницах – свежевыловленный. Сейчас уж давно реку не солят. Ловят обычных пескарей да плотву. И тех, признаться, мало. А уж когда карась или окунь клюнет – так и вовсе праздник.

* * *

По вечерам, как бы ни было тепло днем, уже холодно. Если идти в сумерках по полю, то почти не видно, как над муравейниками и норками полевых мышей поднимаются тоненькие струйки дыма. С мышами все просто – это у них отопительный сезон начался. Жгут в своих глиняных очажках с наперсток сухую траву, чешуйки от Бог знает как к ним попавших шишек, репейник и разные несъедобные палочки. Дымоходов у мышек нет. Норки у них, можно сказать, курные. Вот и кашляют они от едкого дыма. Осторожно кашляют, в лапку, чтобы лиса не услышала. Муравьи не мышки – они в муравейниках так надышат, что ходят по коридорам и комнатам в чем мать родила. Дым у них идет от коптилен. Зимой-то с продуктами плохо. Ни бабочку с оторванным крылом, ни мотылька не добудешь, не говоря об огрызке яблока или упитанном жуке. Вот они и заготавливают на зиму то, что успели летом натащить к себе. Зато как хорошо, к примеру, в декабре, когда все спят под толстым снежным одеялом и цветные сны про лето видят. Проснешься тихонько, проберешься в общественную кладовку, стянешь копченый кузнечиков или стрекозиный окорочок, и уминаешь его с хрустом. Если еще и стаканчик опенковой или земляничной настойки на муравьином спирту принять... Ну, да сейчас мечтать некогда – зима на носу. Надо к ней готовиться.

* * *

Я ехал в автобусе. В окно было видно, как в небе махали крыльями улетающие, а на земле провожающие махали им в ответ голыми ветками. На остановке вошел дедушка лет восьмидесяти, с палкой. Одет он был в толстые, мягкие облегающие штаны, подозрительно напоминающие женские рейтузы, летние туфли в дырочку, спортивную куртку и бейсболку. Старик уселся рядом со мной, вздохнул, подвигал щеками, поудобнее пристраивая вставные зубы, потом еще раз вздохнул, и тут у него зазвонил телефон. «У телефона!» – бодро сказал дед. О чем его спрашивали – я не знаю. Отвечал он односложно: «Нет. Куда поехал? На кладбище. Нет. Один. Денег не брал. Зачем они мне там? У меня есть билет. Мне хватит». На этом разговор был окончен. Старик долго прятал телефон в какой-то очень внутренний карман, потом снова двигал щеками, возвращая на место растрепанные разговором зубы, потом снова вздыхал, потом кряхтя поднялся и стал пробираться к выходу. Автобус остановился в поле. От остановки до кладбища надо было еще идти около километра. Мы уже отъезжали, а старик все еще стоял, осторожно переступая на одном месте ногами, обутыми в летние дырчатые туфли. В окно было видно, как в небе махали крыльями улетающие, а с земли провожающие махали им в ответ голыми ветками.

* * *

Облака бегут по небу так быстро, что ветер за ними не поспевает. Не поет, не веет, не струит, но дышит хрипло желтыми и красными листьями, высохшей серебряной травой, седым косматым репейником. Теперь хорошо просыпаться часу в одиннадцатом. Шаркая ногами в обрезанных валенках бродить по дому в какой-нибудь старой фуфайке с разноцветными заплатками, зевать, почесываться, бесконечно пить чай с гречишным медом и смотреть в окно, где далеко-далеко, в поле, посреди осени стоит полевая ромашка с сонной мухой внутри и мотает головой из стороны в сторону, пытаясь то ли не уснуть, то ли проснуться.

* * *

Чем милее русский провинциальный городок – тем больше он похож на девушку. Тихую и скромную. Мимо которой, однако, не пройдешь. Такую обманывать нельзя – на ней надо непременно жениться. Потому и рассказ об этой девушке должен быть рассказом о любви. Городок Кашин в Тверской губернии как раз из таких девушек. Не знаю, не могу знать, что придает ему очарование – тихая ли речка Кашинка в кувшинкиных листьях, флоксы ли в палисадниках, задумчивые ли кошки на крылечках маленьких домиков или сами кашинцы, никуда не спешащие, похожие на полевые цветы, которых занесло невесть каким ветром в запущенный сад. По утрам они раскрываются от первых лучей солнца, по вечерам тяжелеют от росы, а осенью желтеют, вянут и опадают, чтобы весной снова расцвести. Если идти от центра Кашина к окраинам, для чего и получаса хватит, то дома из каменных превращаются в деревянные, улицы из асфальтовых – в грунтовые, а потом и вовсе становятся тропинками. Домики уменьшаются в размерах и кажется, что в конце тропинки, того и гляди, превратятся в землянку или норку, в которую юркнет, обратившись в полевую мышку какой-нибудь... Но нет – раз уж сказано – цветы, так пусть и будут цветами, хотя... живут кашинцы в таком единении с окружающим их миром, что наверняка могут быть и цветами, и мышками, и даже галками на крестах городского Воскресенского собора, в котором теперь дом культуры. По четвергам, с девяти вечера до часу ночи, в соборе дискотека. И недорого – всего двадцать пять рублей. Редких туристов администрация дома культуры пускает на второй ярус соборной колокольни. Вход на колокольню еще дешевле, чем на дискотеку. Правда, на двери, которая ведет на белую от голубиного помета винтовую лестницу, висит объявление, что вход закрыт по техническим причинам, но это все от ~~злых духов~~ пожарных, как объясняет словоохотливая старушка-вахтерша. На колокольне есть куранты с тихим и переливчатым боем, так что даже и не поймешь сразу – то ли это часы бьют, то ли Кашинка, текущая рядом с собором, журчит. А когда-то время в Кашине... Увы, нет, наверное, русского провинциального городка, рассказ о котором обошелся бы без этого «когда-то». Как ни спеши в них приехать, как ни собирайся в дорогу затемно, а все равно приедешь к закату, все окажется, что опоздал с визитом лет на сто, а то и на сто пятьдесят. А до заката была почти восьмисотлетняя история, был город и столицей Кашинского княжества, и собиралось в нем ополчение в Смутное время, чтобы идти освобождать Москву, были богатые купцы, торговавшие льном, виноградным вином, знаменитыми кашинскими красками, считавшимися лучшими в России. Один купец основал в городе публичную библиотеку, другой – первую больницу, а третий – краеведческий музей. Кстати, деньги на строительство Вознесенского собора, четверть миллиона рублей, тоже дал купец – виноторговец Терликов, «во искупление грехов». А другой купец, хлеботорговец Жданов, пожертвовал для колокольни собора колокол весом в шестьсот двадцать пять пудов. Жданов был так богат, что хотел крышу своего особняка покрыть золотом и даже писал Александру Второму письмо, в котором испрашивал на то высочайшего соизволения. Может, это и не совсем так, или даже вовсе не так, но кашинцы эту легенду рассказывают уже более ста лет, и за это время она уж точно стала правдой. В местном музее смотрят на тебя с портретов на стенах строгие купцы с золотыми медалями «За усердие» на аннинских лентах. А рядом с портретами, в рамках висят государевы указы о пожаловании им звания потомственных почетных граждан. Кашинские купцы были очень набожными. Почти все храмы в городе построены на их пожертвования. Четыреста лет назад, на три с половиной тысячи кашинцев приходилось около семидесяти церквей и тринадцати монастырей. Сейчас, конечно, кашинцев больше. Раз в пять. А храмов меньше. Раз в десять. Один из них, храм Петра и Павла, стоит на пересечении улиц Крестьянской и Красных идей. Да-да, именно красных идей. Но про идеи, тем более красные, и без меня все хорошо известно.

Если покинуть эту улицу и дойти до Николаевского Клобукова монастыря, древнейшего в городе, который кашинцы называют меж собой Каблуковым, то во дворе, под небом, усеянным ласточками, можно отыскать поваленное и заросшее бурьяном надгробие кашинской поручицы Дарьи Ивановны Меньковой, скончавшейся в 1862 году, на восемьдесят четвертом году жизни... И не то, чтобы жалко поручицы, она, слава Богу, пожила, или обветшавшего захолустного Кашина,

который прожил еще больше, или... Нет, не жалость это. Любовь. Без которой о Кашине рассказывать можно, да только...

Кашинцы иногда жалуются, что лежит их городок вдали от туристических маршрутов. Напрасно жалуются. В книге отзывов кашинского краеведческого музея, среди записей из разных городов, есть запись из самого Санкт-Петербурга: «Спасибо! Пондравилось!»

* * *

На Волге, под Калязиным, стрекозы огромные, величиной с воробья, совершенно дикие и людей не боятся. Комаров едят прямо с рук.

Длинные, толстые, ленивые баржи, груженные песком, лесом и нетрезвыми матросами, разморенные ласковой, теплой водой, отказываются идти даже на буксире и, чтобы доставить нужный груз, приходится прокручивать мимо них берега, поросшие соснами. В искусстве прокручивания берегов туземцы достигли невероятных результатов. Бывает, команда ~~проспится~~ проснется утром – глядь, а судно их стоит в совершенно другом месте, иногда даже и на суше, разгруженное до темной, душной и ржавой пустоты в трюмах, и на нем, как говорится, ни леса, ни медведей. К тем баржам, которые все же упрямо следуют в порт назначения, на лодках подплывают дачники и выменивают у матросов песок, лес и щебенку для строительства своих домов на табак, зеркальца, бусы и самогон.

Вечером и ночью рыбакам, спящим у своих костров, снится, как плещется рыба. Рыбаки во сне даже разводят руками, чтобы показать какая она огромная. За один, даже трезвый сон, самый обычный калязинский рыбак видит от десяти до пятнадцати таких крупных рыб. Разводя, сводя и вновь разводя руки, а то и ноги, рыбаки успевают во сне отползти от костра на довольно большие расстояния. Товарищи их потом ищут, кричат. У туземцев даже есть на этот счет поговорка – рыбак рыбака не видит издалека. Особенно залитыми глазами, да еще и в темноте плывут огромные, разноцветные гирлянды туристических теплоходов, наполненные до верхней палубы грохотом дискотек, шахматными турнирами, бегом в мешках и реактивными романами между отдыхающими, которым кровь из носу надо успеть от Твери до Углича и обратно со всего одной зеленой стоянкой в Калязине или Кимрах.

Но ничего этого не слышит и не видит наблюдатель на берегу. Он машет руками и ногами точно вилка, взбивающая яйца в омлет, отмахиваясь от пикирующих на него комаров. От исчадий насекомого ада в воздухе стоит такой реактивный гул, что даже десять больших теплоходов и двадцать барж с буксирами, загуди они одновременно и заиграй на них вся музыка, и все капитаны крикни «Вахтенный! Немедленно вернуть буфетчицу в мою каюту!», и все вахтенные, грохоча тяжелыми матросскими ботинками, так и разбегутся возвращать буфетчиц – не смогут перекрыть этого громоподобного комариного писка.

И только бесстрашные дикие стрекозы, величиной с воробья, едят комаров прямо с рук.

* * *

Когда спадет жара, с первым комариным писком хорошо накрыть стол на открытой веранде. Застелить его толстой белой негнущейся льняной скатертью с заглаженными складками, сервировать толстыми фаянсовыми тарелками без всяких городских каемочек. В тарелки велеть подать холодную окрошку с мелко нарезанной отварной телятиной. Хорошо к телятине добавить говяжий или свиной язык. Нарезанные мелко огурцы, редиску, укроп, петрушку, яйца и лук положить в глиняную миску, из которой порционно раскладывать все это по тарелкам большой расписной хохломской ложкой. Отдельно поставить тарелочку, на которую положить лук с маленькими белыми головками не больше грецкого ореха и молодой чеснок. Тут же поставить дедовскую хрустальную солонку с крошечной серебряной ложечкой. Ложечку потом можно вытащить и умакивать луковые головки прямо в солонку. Сметану, конечно, надо подавать в соуснике темно-синего или зеленого цвета, чтобы оттенить ее подвенечную белизну, но можно и в обычной пол-литровой банке – лишь бы сметана была густой, а молочница, у которой она куплена – румяной и

ядреной. Ледяной квас, приготовленный на ржаном хлебе с добавкой хрена, в тарелки наливаем из большого запотевшего стеклянного графина. Пока вам наливают квас и он шипит в тарелке, необходимо успеть незаметно хлопнуть или легонько ущипнуть по тому месту, куда дотянется рука, кухарку, жену, ~~тещу~~ или даже соседку, зашедшую на минутку за рецептом абрикосового варенья. И уж потом, после получения ответной затрещины от жены... не приступаем к еде, пока не выпиваем рюмки настоянной на мяте и меду водки, и не закусим огурчиком, только вчера замалосоленным со смородиновыми и вишневыми листьями. Огурцом хрустим так громко, что внезапно просыпаемся, выпиваем чашку растворимого кофе со вкусом жженой пробки, съедаем бутерброд с куском изогнутого от старости, радикулитного пошехонского сыра и быстро бежим на работу.

* * *

Я обычное сало не очень люблю. Вот это белое, соленое, замороженное, которое резать ломко и холодно – нет, не люблю. А бывает такое, как рулет, с мясными прожилками. Его торговки рыночные еще обматывают черными нитками суровыми. Не знаю, как они его делают – может, коптят слегка, а может, варят в луковой шелухе. Как бы там ни было, а если толстый кружок такого рулета положить на горбушку черного хлеба и поверх сала намазать свежего хрена грамм пять или десять в тротиловом эквиваленте, который без всяких там сливок или других новомодных выкрутасов, а просто с солью и уксусом перетертый до крупных слез, да откусить не сразу, но... Воля ваша, а тех людей, которые норовят занюхать или вовсе запить водку какой-нибудь фантой, я ни понять, ни простить не могу. Ну, ладно, школа не уследила, университет проморгал. Но родители-то как воспитывали?! Эх... Бог им судья... Я, собственно, о другом. И как только она пошла мелкими пташечками, так сразу, не медля ни секунды, откусываем от сала с хреном и хлебом (язык не поворачивается назвать это сооружение худосочным, бухгалтерским немецким словом бутерброд) столько, сколько откусывают на прощанье, когда уж точно известно, что в этот дом вас больше не позовут. И вот тогда, от этого самого хрена, в затылке, в самой что ни на есть глубине мозжечка, засвербит сначала тоненько, а потом все толще, толще и как оно разноцветными искрами жахнет... Тьфу на вас – ну какой же это оргазм? Экие вы все озабоченные. И вовсе это не оргазм, а два оргазма. Как минимум.

* * *

Деревенская тишина должна быть с мухой. Муха должна жужжать и колотиться о надтреснутое стекло в подслеповатом окошке до сотрясения мозга. Но этого мало. Где-то за деревенской околицей должна мычать корова, отбившаяся от стада, и пастух в синих тренировочных штанах с белыми лампасами должен кричать – Ты копытами шевелить будешь, сучара? Вот я тебе дрыном-то промежду рог... Впрочем, это может кричать и пастушья собака, а сам пастух в это время может лежать пьяный совсем в другом месте. В крошечной кухне должен подтекать рукомойник, и капли с китайским пыточным стуком должны падать в помятое ведро с плавающим там желтым пластмассовым утенком. За забором, на ветке рябины должен настырно чирикать какой-нибудь зяблик или удод или дятел, по имени Серега, который пусть только попробует вернуться домой ... И всю эту тишину должны нарезать своим тиканьем на тонкие огуречные кружочки минут древние настенные ходики с отполированными от долгого пользования гирьками. Они громко тикают оттого, что к старости стали плохо слышать собственные шаги. Тишина-то в деревне оглушительная – вот они и...

* * *

Это у Нижнего Волга широкая и сам город большой. Даже называется двумя словами. А у Кимр Волга верхняя, не шире Оки, да и сам городок невелик. Зато был столицей, даже дважды. В первый раз – обувной, еще в девятнадцатом веке. Тогда Кимры были еще селом. И всё село, все его три с лишним тысячи душ, выкупилось на волю вместе с землей у графини Самойловой почти

за полмиллиона тогдашних, всамделишных рублей. Денежки-то у кимряков были – как не быть. Обувным промыслом они занимались еще с шестнадцатого века, с тех самых времен, когда село состояло в ведении приказа Большого дворца. Потом Кимры принадлежали Салтыковым, Скавронским, Воронцовым и, наконец, Самойловым. Графине Юлии Петровне так понравилась сумма выкупа, что она была готова эту операцию повторять и повторять... но те времена прошли, как и те, когда кимрская обувь продавалась на базарах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего, Украины, Туркестана, Кавказа и даже на всемирной выставке в Лондоне отличилась.

Теперь образцы той обуви, чудом сохранившейся, нисколько не истлевшей – хоть сейчас обувай и носи – находятся в местном краеведческом музее. От огромных рыбацких сапог, в которых хаживали в одиночку на многопудовых осетров и сомов, с одним голым крючком на канате, и в которые можно обуть ребенка лет десяти-двенадцати с ног до головы, до миниатюрных женских и детских туфелек и сапожек. Хоть в микроскоп их рассматривай, а нигде ни изъяна, ни клейма «сделано в Китае» не найдешь. Вообще, кажется, что кимрские сапожники свою обувь не шили, а проектировали и строили, точно архитекторы и строители. На одной из витрин, где под высоченным офицерским сапогом позапрошлого века с «бойко и на диво стачанным каблуком», именно таким, каким восхищался гоголевский поручик из «Мертвых душ», стыдливо, но честно приписано маленькими буквами «новодел».

Жизнь в купеческих Кимрах эпохи сапожного расцвета была еще и культурной. Висит в музее пожелтелая афиша, извещающая о том, что в «селе Кимры, с разрешения начальства, во вторник шестого июня 1906 года, в доме общества трезвости, проездом через Кимры, со своей труппой, премьером императорских театров, Юрием Михайловичем Юрьевым представлено будет: Дон Карлос Инфант Испанский. Драматическое стихотворение в пяти действиях М. Достоевскаго». В цену билетов включен благотворительный сбор. А уж после представления обещаны танцы. Нельзя сказать, что теперь, через сто лет, культурная жизнь в Кимрах замерла. Возле ресторана «Причал», что на самом берегу Волги, висит афиша, из которой можно узнать, что вечером, в пятницу 13 июня 2008 года, «для вас поет звезда шансона Ляля Размахова». Танцев, правда, не обещают. Впрочем, и в цену билетов благотворительный сбор не включен. Там же, в ресторане «Причал», в пятницу 13 июня 2008 года, группа подгулявших, немолодых и накрашенных до рези в глазах окружающих, женщин с поднятыми рюмками водки слушала свою атаманшу, произносившую прочувственный тост, из которого донеслась до меня только кода: «...пусть сохнут все, кому мы не достались, пусть сдохнут все, кто нас не захотел! За нас, девчонки! За медицинских работников!»

Но вернемся к Кимрам. Граф Воронцов, в бытность его владельцем села, построил внушительные каменные торговые ряды, в которых было тридцать каменных лавок. А внушить, что ряды эти приводить в запустение не следует – забыл. Так они и стоят – полуразрушенные, забросанные мусором, заросшие кустами и деревьями. Точно великаны ушли и оставили лилипутам свои дома. Никто теперь там не торгует. Только висит над одним из входов проржавевшая вывеска советских времен «Приемный пункт стеклотары Бутылочка». Уж давно и советские времена прошли, приемный пункт закрылся, и бутылки пустые нет никакого смысла сдавать, а все их бросают и бросают под вывеску... Ну, да что я пристал к этим торговым рядам – можно подумать, что только они в запустении. И только ли в Кимрах...

Торгуют кимряки теперь с лотков, расставленных на улице. Тут тебе и джинсы, и обувь из настоящей турецкой кожи и даже местный бородатый бард, поющий и играющий на гитаре, сплошь обклеенной маленькими бумажными иконами.

Кимры расположены аккурат у того места, где речка Кимрка впадает в Волгу. Кстати, местного жителя, даже и ребенка, легко отличить от приезжего уже потому, что он произносит слово Кимрка без всякой запинки. Так вот, ежели перейти по мосту через эту речку, то попадаешь на улицу имени Орджоникидзе. И вот на этой улице и понимаешь, почему Кимры – дважды столица. Да потому, что такой красоты деревянных домов, построенных в стиле модерн во втором десятилетии прошлого века, нигде больше не найдешь. Не было удержу фантазии кимрских купцов.

Все эти полуциркульные и круглые окна, причудливые башенки, деревянное кружево отделки, миниатюрные резные балкончики бельэтажей, на которые дородные купчихи выкладывали свои необъятные бюсты... А внутри, за вышитыми занавесками, за расписными горшками с геранью на подоконниках – самовары, начищенные до нестерпимого блеска, сдобные калачи и баранки, монументальные кулебяки и расстегаи с налимьей печенкой, яблочные грушевые вишневые сливовые и иные варенья в тонких фарфоровых блюдечках и неторопливые разговоры о видах на урожай сапог или дамских туфель, о том, что Иван-то Спиридоныч, хоть и разменял шестой десяток, а всё... обветшало, покосилось, и подслеповатые окна, кое-где забитые фанерой, смотрят нынче внутрь. Только выйдет иногда какая-нибудь древняя старушка в простеньком ситцевом платье на крыльцо, пожует губами, вздохнет и в дом воротится.

Было у нас всё, было. И поросло быльем. Еще глядят на нас из зарослей этого былья старушки, деревянные домики сказочной красоты, да сапоги с «бойко и на диво стачанным каблуком». Сколько им еще глядеть...

* * *

Что-то есть в дачниках от рыболовов. Даже размер выращенной редиски они показывают двумя руками. А уж на вкус... Я не встречал ни одного дачника, который признался бы, что его редиска на вкус и есть редиска. Какое там... Ананас и апельсин – вот что такое его редиска. Ну, в крайнем случае, яблоко. Белый налив, конечно, а не какая-нибудь антоновка.

А как громко хрустит огурец, выращенный собственными руками... Хрустом одного огурца, даже самого маленького, можно, к примеру, отпугнуть стаю ворон. Не говоря о воробьях, которые падают замертво, если случится им пролетать мимо.

Или взять картошку. Ну, хоть синеглазку. В магазине подсунут вам в закрытом пакете черт знает что, а не синеглазку. Принесешь ее домой, а там и сероглазка, и зеленоглазка, и даже с бельмом на глазу. Со своей и не сравнить. У своей не глаза – глазищи! И такой небесной синевы... Глаз не оторвать. И рассыпчатая, что твоя мука.

Но это все будет потом, в пору сбора урожая. Сейчас надо готовить грядки и рассаду. Дом настоящего дачника – это всегда рассадник. Каждое утро делается внимательный осмотр всех этих коробочек из-под йогуртов с землей и чахлыми зелеными ростками. Ощупывается и обнюхивается каждый листик. Теперь дачнику нужен дождь. Когда он говорит о том, как земле нужен дождь, то у него от волнения пересыхает во рту и... все эти неимоверные страдания и усилия нужны только для того, чтобы, прохаживаясь по рынку, спросить у какой-нибудь торговки – а почем ваша петрушка? И в ответ на предложение купить дешево, почти даром, ответить снисходительно – да у меня самого этой петрушки уродилось нынче столько, что два стога и три копны набралось. И гордо прошествовать дальше, к другой торговке, чтобы спросить – а почем ваша редиска?

* * *

Когда умирает паровоз, то в кабину ему кладут немного гаечных ключей, чтобы было чем подкрутить гайки на том свете, немного болтов, кувалду и к ней специальные слова, чтобы она кувалдила, немного масла в масленке, кубометр дров или ведро угля для последней растопки. Еще кладут две железных, запаянных коробочки. В первой немного пара, а во второй пронзительный свист, которым свистел покойный, когда подъезжал к станции, приветствовал собратьев или просто шугал детвору, чтобы не шастала по путям. Раньше, когда машинистов было много и на одном паровозе, случалось, работали две или даже три сменных бригады, то в кабину клали и машиниста. Ну, если не машиниста, то ученика клали без разговоров. А как начали клониться к закату золотые дни паровозов, то о машинистах и учениках уж никто и не вспоминал – положат пару окурков папиросных, бутылку пустую и фуражку с железнодорожной кокардой. Стыдно сказать – фуражки эти народ воровал, не говоря о гаечных ключах и масле с углем. Вот и стоят теперь паровозы на запасных путях обобранные до последней железной, ржавой нитки. Нынче другие времена: только помер ты – и сейчас тебя резать на куски, да переплавлять. Изо всего желают

пользу извлечь – даже из покойников. Потом понаделают каких-нибудь ножниц или мобильных телефонов. А толку от того мобильного телефона... Да разве он так свистнет? Разве придет минута в минуту по расписанию? Разве кто будет, волнуясь, ждать его на дальнем полустанке с громко стучащим на каждом стыке рельсов сердцем и букетом полевых цветов, отрывая от ромашек по лепестку, шепча пересохшими губами «любит – не любит»? То-то и оно...

* * *

Юрьев-Польский с Москвой почти погодки. И отец у них один – Юрий Долгорукий. Только сестра Юрьева-Польского росла, росла и превратилась в раскрашенную, молодящуюся старуху с лицом, изуродованным бесконечными строительными операциями, а брат ее так и остался ребенком. Престарелым, с зеленым мхом на белых камнях Георгиевского собора, но ребенком. С бездонной синевой, отраженной в окнах маленьких частных домов, и неухоженным, точно старуха в лохматых митенках, привозящая на продажу жареные семечки в детской коляске к стене Михайло-Архангельского монастыря.

В самом монастыре можно залезть на колокольню по узенькой винтовой лестнице с деревянными зелеными ступеньками. На втором этаже колокольни, в маленькой сводчатой комнатке устроена музейная экспозиция, в которой представлены митры, облачения и посохи давно умерших владык. Словоохотливая музейная старушка, закутанная в пуховой платок поверх пальто, рассказала мне про каждый экспонат и с гордостью показала грубо выкованный почерневший подсвечник:

– Вот ведь делали – сносу ему нет. Свеча до самого маленького огарочка сгорит. А тут зять мне купил миксер китайский – месяца не проработал. Еще и..., – тут она осеклась, зажевала губами какое-то слово о миксере или о зяте и переменила тему разговора, велев на верхней площадке колокола за языки не тянуть.

На верхней площадке висят большие колокола на толстых, машинно-тракторных цепях и пять «колокольчиков», сделанные из обрезанных, мал мала меньше, газовых баллонов. В ожидании звонаря колокола висят тихо и ни с кем не заговаривают. Бесчисленные галки летают вокруг колокольни с истошными криками: – Посмотрите направо! Посмотрите налево! Направо, налево и вокруг Юрьева-Польского поля из-за которых он, собственно и стал Польским, и петляющая между ними дорога, по которой «хоть три года скачи – ни до какого государства не доскачешь».

Маленький музей, расквартированный тут же, в монастыре, разделен на части. В исторической – два зала, посвященных войне двенадцатого года. На витринах лежат копии частных писем тех лет и военных донесений, пожелтевшие, ветхие от старости и по выслуге музейных лет превратившиеся из просто копий в младших братьев исторических документов. Под стеклом стоят чудом сохранившиеся партизанские вилы, грабли, кистени и лежит, покрытая старческими трещинами, пылью, полутораметровая дубина народной войны. Сколько существует музей – столько и лежит в нем дубина. Принес ли ее потомок Герасима Курина или Василисы Кожиной, нашлась ли она на полях сражений – мне неведомо. Какой-то местный краевед, однако, провел собственное расследование. По приходным ордерам музея якобы обнаружилось, что дубину прислала в дар музею женщина, фамилии которой история не сохранила. Известно только ее имя и отчество – Софья Андреевна. А уж Софье-то Андреевне дубина досталась от мужа... Все это, однако, лишь версии и предположения, поскольку тот самый приходный ордер таинственным образом из архивов пропал.

В соседнем зале живут загробной жизнью вещей, утративших хозяев, предметы обстановки из усадьбы князей Голицыных в селе Сима, что находится в двух десятках километров от Юрьева-Польского. В усадьбе этой умирал от ран, полученных при Бородине, князь Петр Иванович Багратион. Разглядывая пузатый от гордости за свои медали княжеский самовар, я услышал, как один молодой человек, лет двадцати пяти, из экскурсантов, говорил другому, показывая пальцем на голицынскую карету:

– Смотри – на этой карете ездил Багратион. – Багратион? Это кто? – Ну... как – кто... Полководец. Он с Кутузовым против французов...– Типа, значит, русский... А фамилия почему такая?

В краеведческой части музея, среди многочисленных каменных бус, наконечников копий, деревянных плугов, сеялок, веялок, блеялок и жалеек – чудом затесавшееся пианино с бронзовыми подсвечниками, привезенное какой-нибудь купеческой дочери из Парижа, надтреснутая кофейная чашка кузнецовского фарфора, патефон с огромной, почти иерихонской трубой, несколько книг в переплетах с золотым тиснением и курительная трубка темного дерева, из которой, если тщательно принюхаться, еще пахнет сладким и приятным дымом отечества, которое мы почти сто лет назад сожгли то ли по глупости, то ли по неосторожности, но... дотла.

Отчего-то улица, по которой я уезжал из Юрьева-Польского, называлась улицей Чехова. Стояли на ней одинаковые серые панельные пятиэтажки с одинаковым серым выражением лица. Так и хотелось восклицать на разные сестринские голоса – В Москву! В Москву!

Жаль только, что музыка не играла весело. Да и вообще никак не играла.

* * *

Кого ни спроси – каждый ответит, что Мону Лизу Леонардо писал с нее же, но мало кто знает, что пушечный мастер Андрей Чохов отливал свою Царь-пушку со своей жены, Пелагеи Афанасьевны Чоховой, в девичестве Васильевой. Пелагея была из старинного сибирского рода, ведущего свое происхождение от мифического Василиска – существа с двумя парами крыльев и о двух колесах. Конечно, к тому времени как Пелагея пошла под венец, никаких крыльев и колес у нее уже не было, поскольку они отсохли еще в детстве, а было только одно рудиментарное колесико на... не имеет значения где, которое впоследствии мастер Чохов любил крутить перед сном или в подпитии. Пелагея Афанасьевна была женщиной монументальной, а потому серьезной, не любящей пустого баловства с органом, который ей достался от предков. Порой Чохову так влетало за эти игры с колесиком... За глаза он супругу звал и царь-пушкой, и царь-тушкой, и просто бой-бабой. Правнук мастера, Григорий Чохов, ротмистр Ахтырского драгунского полка, писал в своих записках, что прадед даже хотел выстрелить Пелагеей Васильевной из Царь-пушки по наступающим на Москву татарам, но жена, заподозрив неладное, никак не хотела залезать в орудийный ствол, как ни уговаривал ее мастер хоть одним глазком взглянуть на затейливую внутреннюю резьбу. В летописи, однако, отмечено, что передовые отряды татарской конницы, разглядев в полевые бинокли* огромную женщину возле огромной пушки, предпочли ретироваться и уже на следующее утро, надев фартуки и взяв в руки метлы, вышли, как ни в чем не бывало, на работу.

С тех самых пор из пушки так и не стреляли. Нынешние артиллерийские специалисты даже договорились до того, что из нее, мол, и выстрелить-то нельзя, а если и можно, то только мелкой картечью. Такие, стало быть, настали у нас времена, что из Царь-пушки некем как следует и выстрелить. Понаделали к ней, понимаешь, декоративных ядер, чтобы туристам... Измельчало все. Нет, конечно, наши жены и сейчас ружья заряжены, но... раньше были пушки. Под их защитой наш брат мог такое отлить...

* * *

На медовой ярмарке в Царицыно не протолкаться. Народ снует у палаток во множестве – все жужжат, липкие и сладко облизываются. Я своими глазами видел, как одна женщина так быстро слизала у мужчины мед, который у него по усам тек, а в рот не попал даже его жене, которая хоть и стояла рядом, но пока спохватилась, уже поздно было.

** Внимательный читатель тотчас укажет мне, что биноклей в шестнадцатом веке никак не могло существовать. Ну, да. Таких биноклей, какие есть теперь, со сложной системой окуляров и бинокуляров не было, но при необходимости тогдашние разведчики всегда приставляли к глазам две свернутых трубочками ладони. Конечно, это не давало увеличения в двадцать и тридцать раз, но уж в два-три раза приближало рассматриваемый объект всегда.*

Как оказалось, существует невообразимое количество сортов меда. Умелый пчеловод может уговорить пчелиный рой собирать нектар с каких угодно цветов, хоть с кактусовых. Кстати, кактусовый мед это деликатес еще почище черной икры. Цветов у кактуса кот наплакал, и те цветут раз в год по обещанию. Потому и на экспорт этот мед практически не идет – остается в Мексике или Бразилии, а за границу вместо него гонят дешевую текилу. Нам такого не понять, поскольку у нас-то все ровно наоборот. Взять, к примеру, жителей Тамбовской губернии. Рассыпчатый мед, который пчелы собирают на цветках знаменитой тамбовской синеглазки, везут на продажу в Москву, а самогон, который гонят из клубней, выпивают сами до последней капли. Или взять конопляный мед и умереть со смеху.

Мало кто знает, что, кроме всем известных медоносных пчел, существуют медоносные кузнечики. У нас в средней полосе они не водятся. Их родина – центральная Африка. Там они достигают размеров воробья. Мед у них изумрудно-зеленого цвета. Кузнечики собирают нектар только с цветков баобаба. Мед, который получается в результате, помогает при лечении не только всех известных болезней, но даже и неизвестных. Сам по себе кузнечик является источником ценного животного белка в рационе аборигенов. Употребляют жареных на растительном масле медоносов только тогда, когда у них отмирает медоносная железа, то есть на пятом году жизни. Поговаривают, что у Юрия Михайловича есть несколько экземпляров кузнечиков-медоносов, привезенных в обход карантинной службы, и держит он всегда их возле себя чуть ли не в спальне, чтоб не померзли от наших холодов. Вернее, держал. Супруга его вынудила с ними расстаться. Мало того, что вид у них насекомый до ужаса, так еще и один вылез из старой меховой кепки, где ему устроено было гнездо, и уделал зеленым медом выходное платье от Диора, которое одно стоит как две центральных Африки. Ну и баобабы у нас не растут. Пробовали предлагать кузнечикам нектар наших дубов или осин – так мед вместо зеленого получался... еще и пах точно также.

Кстати, раз уж зашла речь о баобабах. Что интересно – мед у нас бывает только растительного происхождения и никогда животного. А ведь какие могли бы быть варианты... Взять, к примеру, нашего брата. Пока он молод и полон сил – что ни день перелетает от одного цветка к другому в поисках нового нектара. Мог бы меду в улей приносить...

– Почему мед такой темный? – спросила бы его пчелиная матка. – Где ты летал целую неделю?

– Допустим, в Африке...

* * *

По утрам, в Нерехте, от Казанского собора, на площадь с торговыми рядами льется вовсе не колокольный звон, а запах свежеиспеченного хлеба. Как устроили в соборе, в тридцатых, хлебозавод – так и сейчас пекут в нем батоны, булочки и буханки. К стене пристроена палаточка, из которой хлебом и торгуют. По площади катает внушительных размеров детскую коляску пожилая женщина в красном фартуке, повязанном поверх белого халата, и в белой косынке. Коляска укрыта клеенкой, разрисованной арбузами и ананасами. Под клеенкой тихонько лежат горячие пирожки и ждут, когда их купят. Они хитрые, эти пирожки. Купи хотя бы один, и всё – не миновать покупать еще два, а то и три.

– Ежели с яблоком, капустой, луком с яйцом – то по одиннадцать, – сказала мне продавщица, – а с рыбой, – тут она посмотрела на меня оценивающе, – по пятнадцать.

Колокольня у Казанского собора высоченная. Слава Богу, ее под нужды хлебозавода приспосабливать не стали, а сделали филиалом местного краеведческого музея. За умеренную плату можно подняться на третий ярус и даже позвонить в сохранившиеся колокола, что туристы и делают. Лестница, ведущая на колокольню так длинна, крута и так сильно закручена по часовой стрелке, что, прежде чем ударить в колокол, турист, забравшийся на площадку, еще какое-то время с помощью экскурсовода откручивает тело в обратную сторону. Жители на все эти колокольные художества внимания не обращают, а вот собачка, живущая в доме рядом с колокольней, нервничает и как только слышит звон – начинает подвывать. К счастью, туристы в Нерехту приезжают редко, а то выть бы ей, бедной...

Внутри колокольни устроен крошечный музей воздухоплавания. Все мы учили в школе, что первым поднялся на воздушном шаре еще в начале восемнадцатого века уроженец Нерехты подъячий Крякутной. Цитировали даже древнюю рукопись, в которой было написано... Теперь уж все равно, что написано, поскольку выяснилось, что рукопись была искусной подделкой, а вместо Крякутного в ней был прописан и аккуратно затем вычищен некий крещеный немец Фурцель. Крякутному тем временем успели поставить памятник и даже принимали возле него в пионеры. Не самый, кстати, плохой вариант развития событий. А восторжествовала бы истина и увековечили Фурцеля? Неужто стали бы принимать в пионеры у памятника крещеному немцу? Да Боже упаси!

До известных событий семнадцатого года на главной городской площади перед колокольней стояла часовенка. Говорят, что именно в том месте, где она стояла, и было лучше всего слышно звон со всех городских колоколен, коих было больше десятка. Теперь на месте часовенки стоит гранитный памятник самизнаетекому, отбойный молоток его забодай. Прямо за спиной вождя мирового пролетариата в старом доме постройки девятнадцатого, а то и восемнадцатого века, находятся двери редакции газеты «Нерехтская Правда». Судя по сорнякам, пробивающимся из-под этих дверей, их давно не открывали.

В том месте, где из площади вытекают две улицы: одна имени памятника, бывшая Суздальская, а вторая – Красноармейская, в девичестве Нижегородская, стоит дом купца Хворинова по прозванию «носок». Так прозвали дом, а не купца. «Носок» замечателен тем, что в нем останавливался Павел Первый с семьей по пути из Казани в Ярославль и далее, в Петербург. Очень ему понравилась Нерехта, ее вкусные румяные калачи и такие же румяные щеки нерехтанечек. Ну, да не в них дело. И до сей поры – как зайдет речь о визите императора в Нерехту, так старики начинают вздыхать и сокрушаться: «И зачем он поехал на верную погибель? Остался бы. Никто бы про него и не вспомнил. Глядишь, и по сей день царствовал бы в свое и наше удовольствие». А еще в углу одной из комнат дома купца Хворинова под пятью слоями обоев пытливые краеведы ~~сделали~~ нашли карандашную надпись «Саша, Коля и Костя были здесь». Чуть ниже было еще пририсовано кривыми детскими буквами... Впрочем, на этих, выходящих за рамки моего повествования, надписях я останавливаться не буду – они подробно описаны и проанализированы в монографии историка А. В. Неимущего «Эпиграфическое наследие дома Романовых».

Сразу за площадью с торговыми рядами протекает речка Нерехта, такая узкая, что в талии ее можно перехватить двумя руками. Даже вывеска магазина, который называется «У реки», могла бы служить мостиком через нее. Впрочем, через нее и так есть деревянный мостик, в щелях которого постоянно застревают тонкие каблуки местных модниц. Говорят, что раньше Нерехта была судоходной, и по ней даже ходил колесный пароход, а на том пароходе местный промышленный воротила, купец Брюханов катался с цыганками и шампанским. Конечно, раньше реки были полноводнее и мокрее – спору нет. Но чтобы Нерехта настолько... Разве только Брюханов был не купец, а купчик, пароход игрушечный и шампанское брали на борт в аптечных пузырьках.

Кстати, об аптеке. Ее в Нерехте построили в начале прошлого века. И не просто построили, а в стиле модерн. Теперь в ней находится краеведческий музей. В первом зале музея висит на стене список продукции, которую выпускала в 1913 году льняная мануфактура Сосипатра Дмитриевича Сидорова, в селе Яковлевском, Нерехтского уезда. Прочтешь в нем строчку «Салфетки столовыя, закусочныя, чайныя и ажурныя» и как станешь представлять, чем одни отличаются от других – так голову и сломаешь.

Неподалеку от музея, на Никольской улице Володарского стоит заколоченный и заросший бурьяном деревянный дом. Это дачный дом когда-то самых богатых и именитых нерехтских купцов Дьяконовых. На фотографии начала прошлого века он приветливо машет с веранды второго этажа белыми полотняными шторами. Если заглянуть в окно, то можно увидеть в глубине гостиной накрытый стол с самоваром, и на скатерти, рядом с каждым прибором, лежат столовые, закусочные, чайные и ажурные салфетки. Хозяева о чем-то беседуют с гостями... Только не заглядывайте в разбитые и заколоченные фанерой окна – ничего вы там не увидите, кроме паутины по углам,

ободранных стен и прогнивших полов. Загляните в то, на котором сохранился резной наличник, и чудом уцелела треугольная вставка из синего стекла. Вот через это синее стеклышко...

* * *

В краеведческом музее Галича вам покажут кольчугу то ли тринадцатого, то ли пятнадцатого века из щучьей чешуи. Ученые посчитали – всего три щуки пошло на изготовление этого доспеха, но каких! Зубами только одной щуки можно было загрызть медведя или изжевать в лохмотья лося вместе с рогами. Теперь таких гигантов в Галичском озере и в помине нет, а тогда их ловили голыми руками, поскольку удочки и багры они перекусывали сразу. Татарская стрела не только не пробивала чешую, но отскакивала от нее на десять саженей назад. Мало того, на солнце кольчуга нестерпимо сверкала, ослепляя врагов. Ее и сейчас держат в полутемной комнате, во избежание несчастных случаев среди экскурсантов. Одна беда – маловата кольчужка. Как ни старались нынешние галичане в нее влезть – не получается. В груди оно еще бы и ничего, а в животе... Такая же незадача с дамскими платьями и корсетами девятнадцатого века. Сотрудница музея ~~жаловалась~~ рассказывала мне, что и с ослабленной шнуровкой и даже вовсе без нее... одно расстройство. Только иногда, когда в музее бывают представления из прошлой жизни, в старинные платья наряжают худеньких пятнадцатилетних девушек и любуются ими до тех пор, пока девушки не запросятся из этих платьев на волю в джинсы и футболки.

Но вообще-то галичанки одеваются ярко, по-южному. Сколько ни есть у них колец, серег, браслетов – все надевают хоть бы и для похода за кефиром. А уж духов так не жалеют, что только держись, если пройдешь не то что рядом, но даже и по соседней улице. В музее меня и на этот счет просветили:

– Это все после татарских набегов началось, – с горестным вздохом сообщила мне та же сотрудница. В домонгольский период и одевались и душились гораздо скромнее.

Я представил себе стремительных татарских конников в цветастых халатах и шапках, в золотых кольцах, цепочках и кулонах, надушенных так, что защитники Галича падали без чувств со стен и башен крепости...

В музее собрана большая коллекция бытовых предметов из окрестных помещичьих усадеб. Их выставили для обозрения еще в двадцатых годах прошлого века – сразу после образования музея. Через какое-то время выставку закрыли – слишком нравилась она посетителям, и вместо слов классовой ненависти к угнетателям и мироедам они писали в книге отзывов совсем другие слова. Ну, а теперь, когда не осталось ни угнетателей, ни классовой ненависти, а есть только горестное недоумение – как же это все могло случиться – теперь можно любоваться... да вот хоть этой изящной японской кофейной парой. Стояла она в буфете у какого-то галичского помещика. Он был настолько беден, что жил в своем имении круглый год и на зиму не выезжал не только в Москву, но даже и в Кострому. Поначалу две японки на кофейной чашке часто простужались и болели от простывшего кофе, от холодной галичской воды, которой их мыли, от долгой морозной зимы, да и просто от тоски по своим теплым краям. Все же через какое-то время притерпелись, обвыкли. А уж когда хозяин чашки добавлял в утренний кофей изрядно рому или коньяку, то и вовсе было им хорошо.

Напротив витрины с кофейной парой стоит у стены американская фисгармония фирмы «Карпентер» из штата Вирджиния. Почему-то именно оттуда, из дикой Америки, возила эти инструменты компания «Юлій Генрихъ Циммерманъ» в наши уездные городки вроде Галича или Нерехты. Конечно, не сразу из Вирджинии в Галичский уезд, но сначала на «Северный складъ Р.Каатцъ» в Ярославле, на Власьевской улице, в собственный дом, а уж потом, обмотав рогожами и перетянув веревками, грузили на сани и везли инструмент в имение. На крыльце барского дома принимали его с рук на руки дюжие мужики и осторожно, наступая друг другу на ноги, чертыхаясь и стараясь не наследить, несли в жарко натопленную гостиную. Там с фисгармонии снимали упаковку, и она какое-то время согревалась, распространяя вокруг запах рогож и нагретого лака. Ближе к вечеру зажигали свечи и миниатюрная хозяйка в простеньком домашнем платье с четырьмя рядами во-

ланов на юбке и кружевной вставкой на волнующейся груди, глядя в запорошенное снегом окно, играла что-нибудь такое... или этакое, отчего из кабинета, оставивши трубку, выбегал ее супруг, отставной поручик или даже ротмистр, и «они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно было легко выкурить маленькую соломенную сигарку».

Кстати, о кружевных вставках. Галич всегда славился своими искусными кружевницами и вышивальщицами. Опытная вышивальщица могла украсить вышивкой все что угодно и кого угодно. Может быть поэтому в Галиче никогда особенно не обращали внимания на внешность. Отведут невесту или жениха перед свадьбой к такой вышивальщице, и выйдут они от нее писаными, вернее, вышитыми, красавцами. Ну, а потом, в семейной жизни, супруги уж сами друг друга украшают разными узорами собственного изготовления...

Выращивают в Галиче замечательные огурцы. Для этого собирают в больших количествах озерный ил вместе с рыбьими костями, хвостами и чешуей. Прямо на берегу делают из собранного большие гнезда и бросают туда огуречные семена. Огурцы вырастают просто удивительные. В засолке они, правда, не очень, но если их подкоптить и подать к пиву – пупырышки оближешь.

Что же до самого озера, на берегу которого стоит Галич вот уже восемьсот пятьдесят лет, то оно такое бескрайнее, что облака прячутся в нем на ночь от небесной непогоды. Лежат себе недвижно в тихой воде, и сквозь них снуют задиристые ерши, упитанные караси, вечно голодные окуни, а изредка проплывет, зевая зубастой пастью, щука. Случается, что и преогромная.

* * *

Чухлома – городок маленький. Такой маленький, что телефонные номера в нем едва ли не короче кода города. Понятное дело, Чухлома есть не на всех картах. Даже и на тех, которых есть, она то видна, то нет. Один раз глянешь – есть точка на берегу Чухломского озера, а стоит один глаз закрыть или прищурить – и нет ее. Городок маленький, но древний – в летописях, пусть и мелкими буквами, но упоминается с четырнадцатого века. А в незапамятные времена, когда никаких славян здесь и в помине не было, по берегам озера жили племена, называвшие себя «чудь». Поклонялись они озерным и речным духам, рыбам, водяным, русалкам... Дотошные археологи установили – местные чудики русалкам не только поклонялись. Говорят, что и сейчас случается... Ну, это я вам врать не буду – сам не видал, но доподлинно известно, что чухломские рыбаки могут приманивать окуней или щук, не говоря о карасях или плотве, по особенному шлепая губами. Мальчишки чухломичата плавают, как рыбы, а девочки медленные, задумчивые и любят сидеть на камнях у берега озера и мечтать ~~о том, как уехать отсюда или улететь, или уплыть, или уйти в одном платье на голую чешую~~ мечтать...

История Чухломы и обычная, и удивительная. Обычная в том смысле, что разоряли ее и казанские татары, и черемисы, и поляки, и, само собой, свои, а удивительная потому... Хоть убейте, не представляю, что можно разорить в городке, в котором первое гражданское каменное здание появилось только в середине девятнадцатого века. За одни только сто лет между четырнадцатым и пятнадцатым веками татары набегали на Чухлому полтора десятка раз! Сдается мне, что все эти завоеватели были пироманьяки. Им просто нравилось смотреть, как горят деревянные стены и башни чухломской крепости. А кроме набегов приходила в Чухлому не раз моровая язва, терзали ее княжеские междоусобицы, царь Петр увез десять наборов плотников для строительства своей новой столицы. Большинство из них не вернулось. Впрочем, была и от Петра Чухломе польза, даже две. С тех самых пор у многих чухломичей есть родственники в Петербурге, да после Северной войны сослали в Чухлому пленных шведов, числом не более дюжины, которые и остались здесь жить. Кстати, после войны двенадцатого года Чухломе подфартило еще раз таким же образом – несколько пленных французов и поляков обзавелись здесь семьями и приняли русское подданство, чем значительно увеличили городское население.

Как эти французы и поляки жили в этом затерянном краю – Бог весть. Может, выходили каждый вечер по Большой Проезжей улице к дороге на Галич и жадно смотрели на нее, а может, сидели у озера, обнимая уполовиненный штоф, и тоже смотрели на далекий западный берег с

растущим из него Авраамиевым Городецким монастырем, на лес и дальше, дальше на Варшаву и Париж... Маленькие белобрысые мальчонки дергали их за рукав и упрашивали: «Тятя, тятя – пошли домой. Мамка зовет щи хлебать...» Должно быть, чухломички были очень хороши собой, иначе все эти Жаны, Пьеры и Кшиштофы удавились бы в первую же зиму от тоски.

Но вернемся на сто лет назад. К середине семнадцатого века в городской крепости уже надобности не было – татар, черемисов и поляков замирили. Чухломской городовой приказчик доносил в Москву, что пушки, пищали и порох перевезли в Галич, а городскую стену жители ломают на дрова и продают в кабак. Пропивали-то быстро, но ломали медленно, а потому крепость простояла еще сто лет, после чего уже сама собой сгорела дотла в начале восемнадцатого века. Городские власти недолго думали, что делать с пепелищем – не прошло и ста лет после пожара, как отдали это место под капустные огороды. А еще через полвека капусту вырубили под корень и устроили на кремлевском холме городской парк. Должно отметить, что городские власти и всегда отличались быстротой реакции на события чухломской истории. К примеру, в царствование Екатерины Второй было указано городскую площадь застроить каменными зданиями. Крепко подумав и все рассчитав, через сорок, без малого, лет, в конце правления Александра Первого, чухломские городничий и городской голова таки попросили костромского губернатора ввиду бедности жителей и дороговизны стройматериалов позволить строить дома деревянные. Еще через два года такое разрешение им было дано. Между прочим, деревянные торговые ряды, построенные тогда же, простояли почти сто сорок лет. Ломали их уже по приказу Советской власти. Теперь на этом лугу стоит маленький и одинокий Ленин с протянутой рукой. Я заметил – чем меньше городок, тем меньше в нем Ленин. Чухломской Ильич и вовсе напоминает садового гномика на пьедестале. Ну, так маленького и не снесут, пожалеют. Еще сто лет простоит, а то и двести. Правда, кому он теперь протягивает руку – непонятно. Раньше, когда были торговые ряды, в базарные дни здесь толкался народ, и подать ему мог любой. Если не деньгами – так хоть выпивкой или закуской. А теперь...

Кстати, о деньгах. Они Чухлому не любят. Обходят ее стороной. Чухломичи, случается, и сейчас норовят заплатить за газ, электричество и телефон рыбой, пойманной в озере, грибами, которым несть числа в окрестных лесах, ягодами и дичью.

В последнее время стали замечать, что среди могучих сосен, берез и елей городского парка нет-нет, да и проглянет кочан капусты. Говорит ли это о том, что ручеек истории Чухломы обратился вспять, и через какое-то время на этом месте снова появятся огороды, а затем восстановят деревянную крепость и начнут обороняться от набегов татар и черемисов – не знаю. В такой дали от столиц, властей и железной дороги все может статься.

И вот еще что. К сведению проезжающих. В местном кафе, которое так и называется «Кафе», во все блюда добавляют майонез. Если не предупредить – и в чай бухнут. И все же вы не проезжайте мимо. Чухлома, конечно, маленькая и сонная. Зато маленькую легче обнять и прижать к себе вместе с затейливым кружевом резных наличников, цветами в палисадниках, полосатыми кошками на подоконниках и крошечным кинотеатром «Экран» на пять или шесть приставных мест, в котором, бывает, еще и диафильмы показывают. Уж какая она ни есть, а наша. И так долго нашей была, что теперь поздно менять ее на Варшаву или даже Париж.

Но насчет майонеза непременно предупредите заранее.

* * *

Разомлевшая от жары Волга течет издалека и долго. Сонная Кинешма не стоит не берегу реки – она отдыхает на нем. Да и куда ей торопиться... Здесь ходят медленно, перед тем, как сказать, долго подбирают слова, набирают в грудь воздуху и... так красноречиво разводят руками, что и без того все понятно. Даже молодежь целуется на улицах не по-московски впопыхах по дороге на работу или перед тем, как нырнуть в метро, а с чувством, толком и расстановкой. Еще и долго, со вкусом облизываются после.

В ресторане «Русская изба», возле речного вокзала, интерьер выполнен в русском стиле – самовары, скалки, гармони, ухваты, утюги на углях, косоворотки на официантах и сарафаны на

официантках. В меню – русская кухня. Черт его знает, как на первую строчку этого меню пролезла корейская морковка. Может, рука у составителя дрогнула. А, может, он и вовсе был кореец... Впрочем, со второй строчки идут обязательные «селедочки под водочку с отварной картошечкой и укропчиком», грибки маринованные, отварной язык с хреном и вездесущим кетчупом, винегрет... В тот самый момент, когда я заказывал молоденькому официанту все эти разносолы, из динамиков грянул оркестр балалаек и полный, грудной, в перетяжках от тесного сарафана, женский голос запел: «Полюбила я еврея...»

В местной картинной галерее вам покажут волшебную картину «Автопортрет художника», на которой красивый, молодой и жизнерадостный человек в белом жилете с цветочками и широкополой шляпе наливает вино из бутылки в рюмку. Рассказывают про нее вот какую историю. То ли при устройстве экспозиции повесили эту картину кривовато, то ли она сама как-то накренилась – теперь уж не припомнить. Утром приходят – а полная рюмка на картине опустела. Посмотрели – а на холсте дорожка липкая к раме тянется. Холст и раму потрогали – липкие, и вкус сладкий, портвейновый. Тут уж повесили прямо и по уровню проверили. На следующее утро пришли... И так около недели продолжалось. Стали присматриваться к художнику. А тому и горя мало – улыбается во весь холст. Ну, думают, от художника толку не добьешься. Оказалось – сторож всему причиной. Наклонял, подлец, как все уйдут, картину и до самого утра слизывал. К концу дежурства так налижется, что лыка не вяжет. Только по отсутствию вязаного лыка его и вычислили.

Вся эта удивительная история происходила в конце восьмидесятых годов. Художник к тому времени успел отсидеть в лагерях и отработать на строительстве канала «Москва – Волга». Потом исключили из союза художников, запретили преподавать, и он умер в начале семидесятых. Остались только картины, среди которых этот автопортрет, написанный в двадцать седьмом году, когда художнику было двадцать восемь. И уж этой печальной истории, увы, удивляться не приходится. Впрочем, почему печальной? Вот он, смотрит на нас смеющимися глазами. В руке у него полная рюмка. Не выпить с ним за компанию просто невозможно. Ну, если и не выпить, то хотя бы улыбнуться ему в ответ.

Улочки Кинешмы до того тихие, что услышишь, как звякает ложка о тарелку в окне второго этажа дома с затейливой резьбой по деревянным наличникам. Да что ложка – встань под окном какого-нибудь старинного купеческого дома и прислушайся. До тебя, по причине давно остановившегося здесь времени, донесется: «Вот я тебя высеку, и будешь знать, как потом и кровью нажитые деньги мотать на цыганок и лошадей. А ну марш в лавку, бездельник!»

На одной из улиц стоит самая первая в Кинешме аптека, основанная Петром Циглером в 1828 году. Что такое «вольная» в применении к аптеке, я не знаю. Может, это такая аптека, где можно было покупать любые лекарства по собственному выбору и с удовольствием заниматься самолечением. А уж потом правительство завело «невольные» аптеки, где лекарства продавались только по предписанию врача или государственных органов. К примеру, полиции. Пришел, купил по приказу квартального фунт касторки, заплакал и пошел домой ее пить. Теперь-то нам хорошо – все аптеки у нас вольные. Купишь что хочешь, выпьешь и окажется, что эффект такой же, как от касторки...

Под вечер, нагулявшись, можно спуститься на набережную и посидеть в ресторане плавучей гостиницы «Мирная пристань» с нарисованным одноглазым пиратом на фронтоне. Пока на кухне готовят заказанное, перед тобой по реке будет плавать в разные стороны крошечный прогулочный кораблик с мачтой, пластмассовым парусом и нахохлившимися от свежего ветра туристами. А не то проплывет мимо огромный танкер «Волгонефть», на корме которого развешено на веревках постиранное буфетчицей белье капитана или старпома, и тогда, в тарелке с принесенной тебе солянкой, закачается на приливной волне маслинка.

Когда совсем стемнеет, и течением Волги вынесет на небо луну, воздух на набережной наполнится ночным жарким шепотом и легким, перламутровым женским смехом, который, между прочим, совсем не то, что жирный женский визг, раздающийся под скрип уключин с проплывающих мимо круизных лайнеров.

* * *

Жара такая, что на асфальте отпечатываются даже воробьиные следы. В центре уездного города Вязники, на Соборной площади... нет никакого собора. То есть он сначала был и очень красивый, а потом решили ему не быть никогда и разрушили его до основания, чтобы затем из обломков построить дивный новый мир. С новым миром, однако, получилось как-то не очень, если не сказать, чтоб совсем. Впрочем, обломки старого добросовестно растащили по своим тесным и неновым, зато отдельным миркам. Словом, что тут рассказывать – история самая обычная. Таких историй у нас... Недавно, однако, наскучив старым новым миром, опять решили собору быть. Ну, если не всему собору, то хотя бы колокольне. Ну, если не колокольне, то хотя бы памятному камню с блестящей металлической табличкой, на которой написано, что колокольне и собору быть. А пока ни колокольни, ни собора нет, перед камнем нахально разлилась большая лужа, посреди которой стоит одуревшая от жары бездомная лохматая собака. Она стоит и думает быть свиньей, чтобы плюхнуться в прохладную лужу и лежать, лежать... Зарекся я писать предисловия – никогда ничего путного из них не выходит. Непременно вылезет какая-нибудь свинья, которая хоть и собака, но... Уйдем от нее поскорее и по улице Третьего Интернационала, бывшей Большой Благовещенской, дойдем до большого и старинного купеческого дома с колоннами, в котором помещается краеведческий музей.

История Вязников, как и всякая уважающая себя история провинциального русского города, начинается с бивня мамонта. Вот его-то как раз в музее и не оказалось. Экскурсовод, однако, клятвенно меня заверил, что он есть, но лежит в фондах. Мало того, кроме бивня есть еще два огромных зуба в таком хорошем состоянии, что хоть сейчас ими жуй. Бог с ним, с этим бивнем. Его с успехом заменяет чучело волка, которому восемьдесят пять лет. Не волку, конечно, а чучелу. Вместе-то им и вовсе за сто. Они еще застали расцвет Вязников с их богатыми льнопромышленниками, с их... Но не будем забегать вперед.

Лет восемьсот или даже больше стоял на высоком холме, километрах в семи от современных Вязников, городок Ярополч-Залесский, основанный... а вот и не угадали. Не Юрием Долгоруким, но его братом – Ярополком. Долго стоял. Больше ста лет. И в тринадцатом веке подступили к его деревянным стенам татаро-монголы... Какая-то часть жителей городка все же уцелела, но в Ярополч не вернулась, а поселилась вне старых стен. Вернее, вне их обгорелых остатков. Потом был новый город-крепость с земляными стенами и каменными башнями, построенными уже после Смуты по приказу Алексея Михайловича воеводой Субботой Семеновичем Чаадаевым*. В этот, по словам летописца, «велицый град» Ярополч однажды приезжал даже Государь Федор Алексеевич. Ну, не то, чтобы приезжал, а проезжал мимо на богомолье, но все же пожертвовал в местную Троицкую церковь крест с алмазом и Евангелие с дарственной надписью. Это одной рукой. А другой подписал указ о том, чтобы «камень, который брат на городовое строение и доныне лежит... и по нашему, великого государя указу, велено тот камень отдать в монастырь Успенья пресвятой Богородицы Флорищевых гор». Представляю себе, как он гневался на тогдашнего воеводу Антипа Хитрово: «Уж не токмо построить за столько-то лет, но даже и расхитить не сумели, бездельники!» И топал при этом царской ногой, обутой в красный сафьяновый сапог с наборным каблуком и серебряной подковкой.

Как бы там ни было, а стал Ярополч понемногу хиреть. Он и раньше-то не процветал, а тут и вовсе многие яропольчане-ремесленники стали спускаться с горы, на которой они жили, и селиться внизу, в слободе. Вот эта самая слобода и получила название Вязников. Место там было болотистое, вязкое. А может, потому так назвали слободу, что росло в округе много вязов. Кстати сказать, один вяз так и остался на гербе города.

Сводный брат царя Федора, Петр, в Вязники за нехваткой времени не приехал, а просто повелел, чтобы «во всех губерниях размножить льняные и пеньковые промысла, например, как обыч-

---

* *Суббота Семенович был человек хоть и набожный, и нрава не буйного, но очень не любил панибратства. Какому-то стольнику, который при нем пошутил на известную тему о том, что не человек для Субботы, а Суббота для человека, отсек саблей ухо... или нос... или горло... В летописях точно не говорится.*

но промышляют в Пскове и Вязниках». И понеслась слобода на всех парусах. В царствование Екатерины Вязники получили городской герб, а несчастливый Ярополч превратился в сельскую слободку с двумя сотнями крестьянских душ. Только в середине девятнадцатого века, после подачи многочисленных прошений, подкрепленных, как у нас принято, денежными суммами, ярополчане получили звание вязниковских мещан. К тому времени в Вязниках выделывали льняное полотно такого качества, что и во Франции с Италией завидовали. Одних медалей с международных промышленных выставок было привезено столько, что в пору каждому жителю на грудь, а которым и на две.

Особенно выделялись среди вязниковских промышленных воротил династии Елизаровых, Демидовых и Сеньковых. На фабрике Ефима Елизарова была установлена еще в 1863 году паровая машина Уатта на целых десять лошадиных сил. Хотите верьте, а хотите нет – стоит машина целехонькая во дворе музея. Даже возведен над ней деревянный павильон. Черной блестящей краской выкрашен каждый ее суставчик, каждый зуб ее шестеренок и огромное, едва ли не трехметровое в диаметре, маховое колесо. Такому механизму можно поклоняться и даже жертвовать ему домашних животных. Корову, конечно, жалко, а курицу или кролика легко. Между прочим, когда об этой машине стало известно широкой музейной общественности, то из Дублина, из самого богатого в мире музея паровых машин пришло письмо с просьбой продать им нашу за любые деньги. И тогда директор музея написал им письмо большими печатными ирландскими буквами, состоящее всего из двух слов. Тех самых, которые Ипполит Матвеевич Воробьянинов написал одному английскому филателисту.

Кстати сказать, купец Ефим Елизаров, бывший к тому же городским головой*, так успешно торговал с Персией, что сам персидский шах наградил его почетным орденом «Льва и солнца». В елизаровском доме и находится теперь вязниковский краеведческий музей. В музее есть отдельная комната, в которой устроен кабинет городского головы. За столом сидит макет городского головы в натуральную величину, одетый в строгий черный сюртук. Только без головы. Музейные старушки к нему привыкли, а раньше побаивались. В народе говорят, что раньше голова у макета была, но странным образом пропала. Искали ее, искали, но не нашли. Был слух, что кто-то из местных властей, надеясь, что даже и макет головы такого умного человека... Врут, все врут. Поставь они к себе на плечи хотя б макет – сразу бы стало заметно...

Со стен музейных залов смотрит на нас прекрасная коллекция картин, «вязниковская Третьяковка», собранная «королем льна» – потомственным почетным гражданином Сергеем Ивановичем Сеньковым. Род Сеньковых вышел из Вышнего Волочка. Еще в смутные годы семнадцатого века братья Сеньковы, Пахом и Иван, осели в окрестностях Вязников, в селе Мстёра. Осели, но не стали сидеть сложа руки. Завели полотняную фабрику. Сначала одну, а потом, когда за сто тысяч рублей выкупились из крепостной неволи у генеральши Тутолминой, и вторую, но уже не во Мстёре, а в Вязниках. Еще и породнились с другими вязниковскими фабрикантами, Демидовыми. Торговали Сеньковы льняным полотном по всей России. Даже в Чикаго продавались льняные ткани, произведенные на сеньковских мануфактурах. И город родной Сергей Иванович Сеньков не забывал. Устроил начальную школу при фабрике и приложил все силы к открытию в Вязниках мужской и женской гимназии, открыл первую во Владимирской губернии фабричную библиотеку... но про все это помнят лишь краеведы, историки, сотрудники музея и другие люди в очках и шляпах. Народное предание сохранило, однако, только то, что Сеньков построил в городе два дома для двух любовниц, да еще смотрел с башни своего шестидесятикомнатного дома в подзорную трубу на то, как в ближнем пруду купаются фабричные работницы. Эх, завистники... Любят у нас возвести напраслину на человека, особенно на богатого. Больно надо было ему смотреть на своих работниц. Да за его-то деньжищи ему самых лучших русалок из какой угодно заграницы выписывали для того, чтобы без всякой подзорной трубы они радовали глаз, плескаясь в его личном пруду.

---

* *Вот удивительное у нас сочетание – человек, бывший городским головой, действительно имел ее на плечах!*

Династии Сеньковых повезло. Сергей Иванович в двадцать четвертом году сумел вырваться за границу. Осел в Италии. Туда же подтянулась часть родственников. Теперь они Сеньковы-Чеккини. Часть из них в пятидесятые годы вернулась, но это уж отдельная, во многом печальная история, далеко выходящая за рамки моего короткого рассказа.

В одном из залов музея собраны старинные музыкальные инструменты. Один из них, музыкальная шкатулка «Фортуна», сделанная в Лейпциге в позапрошлом веке, еще работает. Если сесть в музейное кресло и отвернуться от окна, а потом завести шкатулку, то под тихий перезвон крошечных молоточков... нет, не застрелиться, но кусать локти. Не удастся себе – так хоть комунибудь, хоть экскурсоводу! Зачем у нас все было? Зачем нам эти воспоминания о том, что ушло безвозвратно и вряд ли вернется? Затем, чтобы они ныли, как тот единственный зуб из анекдота... Ну, да что об этом в который раз говорить. Уж лучше я скажу о знаменитых вязниковских огурцах. Вот факт, достойный книги рекордов Гиннеса. Еще в начале прошлого века одна вязниковская семья потомственных огуречников в сезон продавала по триста пудов огуречных семян. Заметьте – не огурцов, а семян! Жители Вязников клянутся, что такие семена, посаженные в грунт, всходят на целых два дня раньше семян хваленых Муромских огурцов и затаптывают те насмерть. А каков вкус... Клубника со сливками нервно киснет в тарелке. Я сам, как говорил один известный литературный герой, в продолжение обеда съел семнадцать преогромных огурцов. Ну, пусть не семнадцать и не преогромных. Но два и маленьких точно.

* * *

В Ростове Великом про эти события и не помнит, считай, никто, да и не мудрено – больше полусотни лет прошло. Документов, можно сказать, никаких не осталось, кроме одной бумажки в архивах ростовского райкома партии, которого теперь уж и нет, а может, и вовсе не было. Говорили-то разное, но веры этим разговорам нет. У нас и соврут – недорого возьмут.

В пятидесятых годах в Ростове даже и в кремле были коммуналки, и гусей с козами пасли, а уж за кремлевской стеной... В этой маленькой, приземистой церкви на краю города еще с конца двадцатых квартировала какая-то артель инвалидов, потом сельскохозяйственный техникум, потом он съехал в специально построенное для него здание, и она опустела. Думали сделать в ней ремонт, чтобы потом... но где-то наверху не выделили фонды и решили устроить овощной склад безо всякого ремонта. Завезли море капусты. Она лежала и тухла от тоски так, что проплывавшие над складом облака сворачивались в трубочку и норовили облететь здание десятой дорогой, а внутри, на фресках, ангелы и херувимы устали отмахиваться от этого невыносимого запаха и стояли грустные, с опущенными крыльями.

Главы с крестами все давно посносили, а там, где они были, все застелили кровельным железом и прибили его длинными и толстыми гвоздями. О колокольне, соединенной с церковью переходом, и говорить нечего – она и до смерча приказала долго жить. Все хотел ДОСААФ из нее парашютную вышку сделать, да не сделал, но два верхних яруса рабочие успели разломать.

В начале августа пятьдесят третьего года стала крыша протекать. Нет, капуста не жаловалось – ей было все равно, но завскладом Егорыч поймал одного из вечно слоняющихся без дела забулдыг-грузчиков, по фамилии Петров или Сидоров, а может даже Иванов, и велел залезть на крышу с целью ее осмотра и последующего ремонта.

На крыше было холодно, дул ветер с озера. Кузьмин (на самом деле его фамилия была именно Кузьмин) застегнул телогрейку и затопал к центру крыши, потому как именно оттуда в склад протекала вода. Под ногами гремело ржавое железо.

– Был бы капустой – обделался сейчас со страху, – подумал грузчик и хрипло засмеялся собственным мыслям.

Прореха... Нет, это была не прореха. Как будто кто-то надорвал или проклюнул в этом месте крышу изнутри, и железо разошлось рваными, красноватыми от ржавчины лепестками.

– Небось сварщика придется на крышу тащить, чтоб заварить дыру. По-другому никак – оторвет заплатку-то, – поскреб небритую щеку Кузьмин.

Он подошел к дыре близко и заглянул в нее. Оттуда на него смотрела маленькая, точно детская, луковка нежно-зеленого цвета. Луковка сидела на невысоком, не выше четверти метра, цилиндрическом, краснокирпичном основании. Кирпичики были маленькие, будто игрушечные, но по виду ничем не отличались от настоящих. На верхушке луковки блестел крошечный, чуть больше нательного, крестик.

Кузьмин присел перед луковкой, инстинктивно выдохнул в сторону и осторожно поскреб кривым и черным ногтем по луковке. Снизу нетерпеливо закричал Егорыч:

– Ну ты там уснул что ли? Смолой залить хватит или надо железом зашивать?

Кузьмин не ответил, но про себя подумал: «Я эту старую сволочь, у которой вчера купил самогон, удавлю голыми руками. Только узнаю, что за дрянь она туда намешала, а потом удавлю за милую душу. За рупь готова еще живому человеку мозг отравить, зараза».

– Да тут ерунда, – крикнул он завскладу. – Досками сам заколочу. Завтра и заколочу.

И стал медленно спускаться по лестнице.

Назавтра Егорыч укатил на грузовике в какой-то совхоз – должно быть за новой капустой, чтоб ее потом сгноить. Он вообще не любил капусту и безжалостно ее продавал налево. Какие-то у него были с ней личные счеты. Целый день Кузьмин не находил себе места, а после обеда отпросился у кладовщицы Веры по семейным обстоятельствам, которых у него отродясь не было. Вера хмыкнула и отпустила – она и сама в отсутствие Егорыча не собиралась долго задерживаться на работе. Кузьмин вышел из дверей склада, зашел за угол и полез на крышу.

Зеленый цвет маковки стал темнее, насыщеннее и сама она стала больше. Он присмотрелся к кирпичному основанию – как будто выше стало и чуть толще.

– Растет, – прошептал Кузьмин и тут же сам себя одернул, – да ты охренел совсем, Коля. Оно же кирпичное! Когда ты водку покупал в магазине как человек в последний раз? То-то и оно. Пьешь бормотуху всякую местной выделки. Так можно и до зеленых чертей...

Он стал регулярно лазить на крышу под предлогом починки. Кузьмин притащил туда старую телогрейку и закутал растущую маковку. Он и сам не знал зачем. Как будто кирпичи и крест могли замерзнуть. Понемногу на кирпичном цилиндре стали появляться тоненькие продольные щели – будущие окна, а на поверхность маковки стала покрываться чешуйками. Крест стал как будто ажурнее, и однажды утром Кузьмин увидел в его основании полумесяц. Что со всем этим делать он не знал. Это не умещалось ни в дыре на крыше, ни в его голове. Еще неделя-другая – и растущую церковную главу можно будет увидеть с земли. Пока хватало телогрейки, чтобы все скрыть. А потом? Ну как узнает городское начальство...

Вдруг за спиной загремели шаги – Кузьмин обернулся и увидел приближавшегося Егорыча. Тот подошел к дыре и вылупил свои и без того навыкате бесцветные глаза.

– Сам, что ли, выпилил? – спросил он.

– Ага, – кивнул, – Кузьмин. – Лобзиком, бля. В кружке умелые руки.

Сидели на крыше долго, почти час, пока не стало свежеть от набиравшего силу ветра. Уходя, грузчик прикрыл маковку с крестом своей старой телогрейкой и придавил ее кусками старых кирпичей, валявшихся на крыше. Егорыч сказал, что пойдет в музей. Пусть пришлют специалистов для осмотра. И на всякий случай напишет в райком. Вдруг это провокация. Отвечай потом. Кузьмин предложил вместо письма в райком выпить водки. Случайно у него оказалась с собой начатая поллитровка. Они слезли с крыши и пошли в вагончик, стоящий во дворе.

Ночью начался смерч. Тот самый знаменитый смерч августа пятьдесят третьего года, который сорвал не только церковные главы с церквей, но и крыши со стропилами. Само собой, потом все восстановили. Или почти все. Из той самой церкви на окраине убрали капустный склад и вернули ее прихожанам. Восстановили купол. Но это уж было лет через тридцать или сорок. Что же до Кузьмина, то он после смерча уволился со склада и пропал из города. Говорили, что подался чуть ли не в монахи. Как же, в монахи! Никуда он не пропал. Устроился грузчиком в промтоварный. Там и спился окончательно. Бывало за стакан такого понарасскажет... Да никто ему и не верил, алкашу.

* * *

Если ехать из Владимира в Гороховец, то справа от дороги, буквально в километре, есть старинное село с необычным названием Пожарницы. Живут там, в основном, женщины. Теперь уже пожилые и просто старые, поскольку девушки... Но лучше все по порядку. Еще в реестре ремесел Владимирской губернии, составленном в шестнадцатом веке, написано, что в этом селе бабы-пожарницы промышляли тем, что подбирали на пожарах не очень обгорелых мужиков, еще годных к семейной жизни, приводили их в порядок, счищали обгорелую корочку, откармливали, румянили водкой, скручивали спидометр и продавали как с небольшим пробегом. Расцвет этого промысла пришелся на вторую половину восемнадцатого века. В царствование Екатерины Второй на ярмарку горелых мужиков в Пожарницы съезжались сотни и даже тысячи баб не только из окрестных деревень, но и со всей губернии. С развитием каменного строительства и техники пожаротушения у баб-пожарниц становилось все меньше и меньше добычи. От безысходности они даже приноровились подбирать бесхозных и плохолежащих мужиков. Впрочем, и это все прекратилось в двадцать втором году указом советской власти, которая объявила промысел незаконным и, кроме того, обобществила всех мужиков. Теперь о былом богатстве села почти ничего и не напоминает, кроме, может быть, обветшалого двухэтажного каменного дома богатой пожарницы позапрошлого века Матрены Голосистой, в котором теперь находится сельсовет. Мало кто знает, но именно о Матрене великий русский поэт написал «в горящую избу войдет».

Цель моего рассказа, однако, не Пожарницы, а Гороховец, который, как известно, основал Юрий Долгорукий. Город по отцу доводится сводным братом Москве, хотя последняя родства этого не помнит или делает вид, что не помнит. Впрочем, Гороховец – родня гордая. Ничего он у Москвы не просит – ни денег, ни нефти с пряниками. Донашивает и доедает свое. А вот раньше...

До развития промышленного производства во второй половине девятнадцатого века город был известен, в основном, прекрасным горохом, который выращивали крестьяне Гороховецкого уезда. Самый мелкий калиброванный горох продавался в Европу на экспорт, как лучшее проверочное средство для принцесс. В гороховецком музее хранится жалованная грамота и золотая медаль, выданная в начале восемнадцатого века купцу первой гильдии Степану Пробке каким-то немецким курфюрстом за высокое качество поставленных горошин. С их помощью удалось разоблачить молодую авантюристку, раскинувшую свои брачные сети вокруг престарелого курфюрста.

Обычного размера горох шел в повседневную пищу. Крупные же ягоды сорта «пьяная горошина» вырастали до размеров спелой малороссийской вишни и предназначались для изысканных блюд русской кухни. Их долго размачивали в водке с перцем и использовали для украшения пирогов и кулебяк, а горошины-великаны, величиной с мандарин, фаршировали белужьей икрой и перепелиными яйцами.

Гороховую пересортицу до семнадцатого года в огромных количествах закупало министерство народного образования в учебные заведения для того, чтобы провинившиеся учащиеся стояли на коленях. Может потому знания, полученные в тогдашних гимназиях и реальных училищах, так долго не забывались.

Время в Гороховце течет неспешно, а местами просто образует стоячие пруды, болотца и даже омуты, в которых обитают аборигены, обставленные горшками с геранью, банками соленых рыжиков и с угревшимися кошками на коленях. Гороховчанки еще лет триста назад от скуки пристрастились к вышивке и вязанию. Опытная вязальщица могла связать варежку или носок буквально за минуту, а за четверть часа обвязать одного взрослого или нескольких детей с ног до головы так, что их потом развязать не могли. И все это – лишь одной спицей, буквально какой-то тонкой, гладко обструганной палочкой. Виртуозы вязания могли обходиться и вовсе без спицы, пользуясь для этих целей указательным или средним пальцем. Такие варежки и шерстяные кофты, пришив на них ярлычок «пальцем деланные», везли продавать втридорога на Макарьевскую ярмарку в Нижнем, в Москву, Петербург и даже Европу.

В девятнадцатом веке купец Иван Александрович Шорин устроил в Гороховце котельный судостроительный завод. На этом заводе гороховецкие котельщики склепали самую большую в России баржу «Марфа Посадница» для вывоза рекордного урожая гороха. Чтобы тянуть ее, со всей губернии собрались тысячи бурлаков. Одна бечева, за которую они тянули, была длиною несколько верст. Прижимистые купцы, чтобы не платить бурлакам пайковые, кормили их тем же горохом с баржи. «Выдь на Волгу: как аукнется – так и откликнется...» – писал великий русский поэт об этом событии. Клепали гороховецкие мастера и мосты. До сих пор в Сызрани стоит мост, на гороховецких заклепках. Приглашали артель клепальщиков и на постройку броненосца «Потемкин». Говорят, что во время известного мятежа именно гороховецкие заклепки были единственными, не изменившими присяге. Впрочем, это все в прошлом – нет теперь в Гороховце верфи. В годы перестройки приказала она своим рабочим и инженерам долго жить.

В те далекие времена, когда горох был гораздо крупнее нынешнего, Гороховец был маленьким и весь умещался на вершине холма, окруженного оврагами. Теперь на этом холме стоит Никольский монастырь, во дворе и у стен которого, кажется, больше художников с мольбертами, чем монахов. У свечного ящика в Троицком соборе монастыря приветливая женщина средних лет сказала мне доверительно: «Пишите у нас заздравные и поминальные записки – у нас имя всего по рублю, а внизу, в городе, с вас возьмут по пяти».

Если смотреть с монастырского холма на город внизу, на добротные дома гороховецких купцов, которые стоят по три сотни лет без ремонта и всё прочнее прочного, на высокие резные свечи колоколен, на буйные головы окрестных холмов, поросшие соснами, на тихую, умиротворенную Клязьму, на белеющий на другом берегу Знаменский монастырь, на воздух переливающийся разноцветным птичьим щебетом, то невольно думаешь... Впрочем, так не объяснить. Тут надо с другого конца зайти. У каждого человека есть своя малая родина – Серпухов или Кинешма, Владимир или Кострома. И глядя на Рязань или Зарайск, Ярославль или Кострому, на Оку или Клязьму, Волгу или Которосль, человек думает – вот она, моя родина... Нет, если так объяснять – еще длиннее выйдет. Короче говоря, если смотреть с монастырского холма на Гороховец – трудно удержаться от того, чтобы не подумать – вот она, моя родина. Пусть и приехал ты сюда на денек из Москвы или Вологды, Тулы или Мурома. И я не удержался – подумал.

P.S. Есть в Гороховце столб. Ему за три сотни лет перевалило. Он стоит, подпирая ворота купеческой усадьбы Сапожниковых. Теперь там музей. Его сотрудники утверждают – если за столб подержаться и при этом загадать желание, то оно непременно исполнится. Вот у одной женщины из Нижнего Новгорода или Казани девочка родилась. Она подержалась – и родилась. Все это совершенная правда. Женщина после родов перезвонила в музей. Так что приезжайте. В Гороховце есть за что подержаться.

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

* * *

Я за хмелем ходил в богадельню, где делают бога
старики и старухи забитые в серые стены,
я ячмень собирал на сгоревших под солнцем полях,
теперь пиво в подвале бормочет, и белая пена
летит в небеса, а внизу закипает земля:

в бочках крепкого дуба бродит нежное пиво прощенья
в бочках старого дуба пиво прощанья молчит,
оно ждёт не меня, оно ждёт своего воскресенья
среди дней мимолётных бросающих тёмные тени
будет тот, кто опустит в окошко подвала лучи.

Тогда пиво взойдет, для друзей становясь лучшим другом
даже бывших врагов за единым столом соберет
чтобы петь и плясать, разливая по кружкам, по кругу
горькую влагу прощания, прощения сладостный мед.

* * *

Сырое лето:
комары заставляют махать руками,
и я в облаках гудящих
плотной живой тучей
над травой взлетаю.
Комарам достанется моя кровь,
а вам останется моя тень:
наслаждайтесь прохладой
в жаркий день,
и скажите спасибо нам:
мне и комарам.

* * *

Девочка в шубе из кролика
вышла замуж за алкоголика,
а женщина в норковой шубе

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ родился в 1960 году. Окончил химический факультет Ленинградского университета. Работал лаборантом, бетонщиком, плотником, мозаичником, художником-оформителем, мойщиком окон, оператором газовой котельной, редактором, копирайтером. В 80-х публиковался в самиздате, в том числе в ведущих самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал» и др., с начала 90-х в журналах «Арион», «Воздух», «Черновик», «Нева», «Звезда», «Дружба народов», и др. Автор книг «Стихи разных лет» (1992), «Последний враг» (1994), «Перекрестки» (1995), «Сторож ночи» (1996), «Записки на обочине» (2000), «Господин Ветер» (2002), «Огненный дворник» (2005), «Другой фотограф» (2009) и др.

ждёт, что её полюбит
мужчина в куртке
с волчьим воротником,
но с ней он даже не знаком.
Человек в шапке из пыжика
из функционера стал чернокнижником,
а вот этот, в шубе из бобра,
был без шубы ещё вчера,
но теперь он, её надев,
ходит средь юных дев,
и они от него без ума...
А ты говоришь – зима!

* * *

Тьма увеличивает, свет уменьшает
ибо сам велик,
во тьме ты белая и большая,
а на свету – пылинка,

и мы сможем друг друга встретить
в каком-нибудь полусвете,
а после уйти как в тюрьму
в вечности полутьму.

Все цвета смерти

Сначала они говорили про белую смерть
один сказал: это сахар,
другой – это соль,
а третья к окну подошла, а на улице снег
всё засыпает, и всё засыпает
чтобы проснуться весной.

Потом речь зашла о чёрной смерти,
стали перечислять:
чёрный перец, кофе,
другие продукты чёрного цвета,
даже чёрный чай вспомнили –
вроде ничего не подходит.

– А почему бы не быть смерти цветной,
скажем, зелёной? – спросил один, –
как полынь или дурман ядовитый?
– Или синей как денатурат, – добавил другой.
А третья сказала: Смотрите, снег летит, и
смерти нет никакой...

В это время на диване под прозрачным одеялом
лежала бесцветная смерть
и над всеми беззвучно смеялась.

* * *

Ты долго смотрела в мои глаза
в поисках огненных искр,
но там только серый дым
и не понять что за ним,

а у тебя глаза карие,
в зрачках золотые следы.
Я смотрю в них,
но думаю не о пожаре,
а о глотке воды.

Старое зеркало

Старое зеркало рассыпает серебро,
становясь простым стеклом,
серебро сверкает как рыбья чешуя,
в которой были ты и я,
и кто в этой комнате до нас жил
тоже был.

Из чешуек ювелир выплавит кольцо,
Ты его наденешь, и в конце концов
вокруг пальца обведёшь в холодном серебре
всех, кто в омут зеркала твоего смотрел:

мёртвую старуху с бумажными цветами,
женщину с пустыми надеждами и светлыми мечтами,
девок, что гадали в святочный вечер,
их суженых с другой стороны,
маленькую девочку и дьявола, приходящего в её сны,
а ещё пустоту, в которой твоё колечко

вспыхнет белым пламенем, дотла сгорит,
и все они окажутся у тебя внутри.

* * *

В этой стране легче потеряться, чем умереть,
здесь не хоронят мёртвых, а заставляют гореть,
я выбрасываю сегодня, как выбросил вчера
слова на ветер
(пластиковый стаканчик хрустит в кулаке,
превращаясь в бабочку с белыми крыльями,
чтобы сквозь пламя вернуться к реке,
где мы вчера ещё были).

Андрей КОРОВИН

летающий остров: уходим

ты говоришь утоляя печаль
небо течёт по усам и плечам
лужи вздыхают устало
чьи это белые руки ко мне
что за певунья живёт на луне
что за эпоха настала

радостно жили любови плели
в царство харона ушли корабли
нашего взрослого детства
не умирай только не умирай
пусть этот маленький кухонный рай
теплится в сердце

пусть мы покинуты пусть мы одни
светят нам ангелы в чёрные дни
видишь летающий остров
это туда мы уходим потом
с волчьим билетом и чёрным котом
всё гениальное просто

мир: на волоске

голова обтекает небо травой рекой
неподъёмной нежностью маминою рукой
и куда ни посмотришь – везде моя голова
этот взгляд бездонный вечный как синева

и в моей голове живёт твоя голова
мета-коды её и мета-её-слова
дети птицы жрецы и боги твоей главы
в голове моей глаголят свои словы

в голове моей живёт настоящий Бог
он всё больше молчит и – никуда за порог
и когда укрывшись звездой он спокойно спит
мир на волоске моей головы висит

Андрей КОРОВИН родился в 1971 году в Тульской области. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Автор книги стихов «Поющее дерево» (М., 2007) и других, публиковался в журналах Дании, Германии, России, США, Украины. Участник литературных фестивалей в России, Украине и Беларуси. Организатор множества литературных проектов как в Москве, так и в других городах России и зарубежья: Международного литературного фестиваля им. М.А. Волошина (Коктебель), литературного салона «Булгаковский Дом» (Москва) и других.

не про испанию

сонет куртуазного опыта
любви апельсиновый цвет
какой камасутры и шёпота
под небом испании нет

а впрочем какая испания
зелёная ветка метро
я здесь на секретном задании
вот вот и начнётся оно

чайковский мотив междуцарствия
стравинский ночного коня
и я ваш единственный дарственный
я – ваш
берегите меня

детское порно

пишу печатными автограф и печать
слова как семечки достаточно зачать
за музой музыка четвёртый элемент
альгамбра тремолы критический кларнет

кровать прозаика – без отчества свеча
какая зайка эта линия плеча
любви ливония плацдармы простыней
оркестр оргазма зоология Линней

метро влечения горячки поезда
ночные танцы под созвездием шеста
шумеры шёпота и криков кострома
– что ты там смотришь?
– это детский мультик, ма

дождь на трассе

дождь на трассе
сумрачный зимний дождь
фары железных людей улыбаются мимо
ритмология жизни стучит в лобовое стекло
когда сегодня ночью
ты встретишься с Богом
расскажи ему
как гершвин на крышах машин
репетирует мокрый джаз

Марианна ПЛОТНИКОВА

* * *

обычное дело – начинаться и
быть, не быть, продолжаться, рождая
собирать запахи, интонации
прятать руки

в небе бог, в рукаве синица
поле чисто до урожая
ничего не изменится, не случится
мир не рухнет

* * *

как тонко ты чувствуешь пульс
будь беспристрастным врачом
если я не вернусь
если так и останусь точкой
пригляди за моим плечом
наблюдай мочку

кровь несет мои мысли или
мысли ее несут?
помнишь, вечером мы пролили
весь рябиновый сок в закат?
и над нами кружил спрут
и под нами кружил скат

но не было воды, вся вода ушла в нас
и стенки сосудов
сетчатки глаз
боялись ее потерять
а мы не боялись, смело теряли рассудок
время, кровь, вода – истекали вспять

* * *

липкий снег и мокрые варежки
выключатель в подъезде уже не так высоко
но лучше бежать в темноте

Марианна ПЛОТНИКОВА родилась в 1984 году в Уфе, окончила вуз в Санкт-Петербурге. По специальности дизайнер, занимается компьютерной графикой. Лонг-лист премии ЛитератуРРентген (2009), лауреат премии «Бельских просторов» в номинации «Поэзия» за 2009 год, автор книги стихов «Насекомия» (2009).

позвонить бабушке
28 февральских гудков и один високосный тонет в глазной воде

…

длинные черточки над и под
жизнь как этот учительский почерк
пропитала кожу бумаги

каждый исписанный год
хранит ее родинки зеницы точек
клетки узоры зигзаги

сеть линий петель узлов
тончайший сплетают наряд
последним штрихом в этюде

не растеряй не порви нити слов
письма умирают если с ними не говорят –
точно как люди

* * *

в черно-белом немом
титры ниточкой
света
тени ходят по ней, а потом
падают
трафаретом

падают прямо на
веки двух
пока темнота не выточит
слух
пока не накроет ажуром сна
вязанным звуками ночи
все шорохи тонкое ищут звено
беззащитные точки
спускаются с плотных гардин
вонзаются, точно спицы
но
мой сын темноты не боится
даже когда из двух остается один

от кровати до двери
давно сосчитал шаги

поэтому лучше не лги
говоря с ребенком
а вдруг поверит, что ночью
хищные звери
спят
крепко очень
и только овечки бродят стадами
они приводят всех заплутавших ребят
к маме
вот пойдет за ними
по мягкому, словно мох
ведь не ясно,
где кончается черный пол
и начинается черный космос
снимет
теплые носки, простудится, не дай бог
и будешь плакать потом –
чего не жилось просто?

на кухне разбуженный свет
работа и телевизор
на завтра компот, обед
усталость немногих лет...
и тени по краю карниза

* * *

в квартирах, домах и дачах
в джинсах, халатах, платьях
модной расцветки
женщины плачут
по каждой несбывшейся клетке
по каждой ушедшей зря
утонувшей в месячной краске
говорят –
гормоны. не признаются
верят в сказки
что овуляцию победит эволюция
врачи одолеют природу
что пить не захочется
что
одиночество — это свобода
другие ставят задачи:
не плодить нищету, не рожать уродов...
все верно
но
все равно
плачут...

Григор АТАНЕСЯН

Теория литературы

> ...Вот рядом, на соседней скамейке, сидит дура в коверкоте и читает «Теорию литературы», демонстративно подчеркивая на страницах карандашом. Дура!
> *Д. Хармс, из дневниковой записи*

Разделение целостности бытия на жизнь и литературу сродни раздвоению личности. Испытавшему такое несчастье следует готовиться к дальнейшим мукам. Надо сказать, что временные категории типа «дальнейшие» в этом вопросе могут употребляться лишь с некоторой долей условности. Я имею в виду злосчастную протяженность этих мук. Взять хотя бы первую из них, а именно ситуацию выбора. Выбор этот особенно тяжел, потому что, каким бы ни было решение, ему никогда не дорасти до статуса окончательного. Надо ли говорить, что никому еще не удавалось перестать жить, но продолжать писать? Беда еще вот в чем: обратная ситуация столь же невозможна для тех, кто по-настоящему ощутил призвание к писательскому творчеству. Таким образом, невозможно покончить с одним измерением бытия отдельно от второго. Всего вероятней, что писатель умирает вместе с человеком, в оболочку которого он был заключен.

Сам факт такой конечной нераздельности является не слишком большим утешением, хотя и говорит об онтологическом единстве творческого и человеческого. Ведь, несмотря на это, никто не застрахован от того, чтобы продолжать жить или писать по инерции. Здесь заключена непривлекательная перспектива жизни, сопровождаемой постоянными попреками, все равно, со стороны недовольной супруги или скопления неразобранных бумаг на столе. Вспоминается диалог из «Заповедника» Довлатова:

– Это слова. Бесконечные красивые слова... Надоело... У меня есть ребенок, за которого я отвечаю...

– У меня тоже есть ребенок.

– Которого ты месяцами игнорируешь. Мы для тебя – чужие...

Все, изложенное выше, столь известно и ясно, что останавливаться на этом не стоит. Но автор этих строк надеется, что, кроме повторения трюизмов, он может сказать нечто новое о муках подобного рода. Ведь если нечем похвастаться в смысле достижений, остается сетовать на неудачу...

Да, со мной случилась особенная мука из этого порядка. А именно – я потерял литературу. В такой ситуации более всего понимаешь, что литература не сводима к книгам. Как в том анекдоте, где милиционеры выбирают подарок сослуживцу... Шкаф, уставленный книгами в разноцветных обложках из серии «Всемирная литература», смотрел на меня осуждающе. Я открывал наугад тома, но прежней встречи с завораживающей красотой не случалось.

Обстоятельства восстановить не представляется возможным... Нет, потеря произошла не в один момент. Я закончил школу, поступил на исторический факультет университета, несколько раз неудачно влюбился... О литературе почти забыл. Но она еще приходила ко мне во сне, обычно в образе мягкой и теплой дамы, постепенно изменялась в мою большую маму, и уже казалось, что я сплю у мамы на плече. Проснувшись, я обнаруживал, что меня везет вагон метро и моя голова облокачивается о бок объемной незнакомой женщины.

Григор АТАНЕСЯН родился в 1991 году в Санкт-Петербурге. Учится на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Ранее не публиковался.

Со временем ее черты напрочь выветрились из памяти. То ли от объема исторического знания, то ли от количества выпитого. То есть вокруг образа литературы возникала дымка недоступности. Я сравнивал ее со своим окружением и обнаруживал, что сравнение не в пользу реальности.

И я решил искать литературу. В Петербурге начиналась осень. По улицам бродить становилось все холоднее, а вместо литературы я встречал рестораны, кафе и питейные заведения, носящие имена Пушкина, Грибоедова, Достоевского, Толстого, Лермонтова и других друзей детства. Вскоре на деревьях вдоль Менделеевской линии опали листья. Опоздания на занятия увеличивались. Частота посещений уменьшалась. Я не оставлял поисков. Вскоре они привели на собрание литкружка одного технического института, где каждый выступавший называл предыдущего гением в своем роде и подающим большие надежды, одаренным автором. Я догадался, что это подвох, и сбежал.

В конце ноября после четвертой пары уже было темно. То есть даже у самых несмелых обнаружился успешный предлог, чтобы провожать однокурсниц до дома или метро. По пути разговаривали о том, куда наша молодость катится. Девушек пугала атмосфера архивной пыли и чьей-то молодости, незаметно увядшей в дебрях социально-экономических отношений Боспорского царства. А также избыток алкоголя и разговоры о есаулах, коллективизации и летописях. Я от забав юных историков держался в стороне. Я искал литературу.

Следующим я посетил Пушкинский Дом. Меня манило его полное название – Институт русской литературы. Пробравшись туда не совсем законно, я поднялся по лестнице и оказался в большом зале. Там, вроде, шла конференция. По залу были рассеяны примерно десять наукоемких дам, кутавшихся в шали. Дама на кафедре вещала об источниковедческой проблематике составления библиографического указателя по «Оренбургским губернским ведомостям» за 1887–1897 года (за точность цитаты я отвечать не могу). Остальные с интересом слушали и задавали вопросы. Я догадался, что это подвох, и сбежал.

Я прилично отчаялся. Я прошел несколько раз весь переулок Щербакова, где Довлатов гулял с собакой. Купил в Доме книги самый дорогой блокнот. Нашел дом на Литейном, в котором жили сначала Гиппиус и Мережковский, а потом Бродский. Съездил на экскурсию по пушкинским местам. Отыскал башню Вячеслава Иванова. Приближался Новый год, и надо было купить всем какую-нибудь чепуху. Близилась сессия.

За это время я познакомился с самыми разными людьми. На Среднем проспекте меня заинтересовал мужчина с бородой по колено. Он представился Доброславом, рекомендовал изучать загадочную «Велесову книгу», в которой содержится тайное знание древних славян-ариев. У него оказалось с собой несколько экземпляров, которые он любезно предлагал уступить мне по сходной цене. Я отказался.

В другой раз меня отвели на чердак дома на Фонтанке, где жил поэт. За право жить на чердаке поэт ежедневно подметал двор. Поэт был очень высоким, с длинными волосами, в пальто и тапочках. В одном кармане пальто всегда лежал сборник его стихов, однажды напечатанный тиражом 50 экземпляров. В другом, разумеется, молескин. На чердаке было темно и грязно. По стенам висели черно-белые фотографии. По полу сидели девушки и непрестанно курили. Поэт оказался убежденным сторонником всеобъемлющей духовности. Так и сказал. Например, сообщил, что пьет только святую воду. Несколько раз напоминал собравшимся о том, что он постится. Рассказывал, что в продуктовом магазине у метро Чернышевская всегда в наличии маринованные огурцы с благословением раввината Галилеи. Весь вечер поэт непринужденно говорил о карме, освященной всеми религиями мира хлебобулочной продукции и обществе сознания Кришны. Девушки сочувственно вздыхали. Я понял, что меня одурачили, и незаметно ушел.

Литературы будто бы не было. Готовясь к экзамену по латыни, я читал занимательные рассказы старика Цезаря о человеческих жертвах кровожадных галльских друидов. Но не об этом я мечтал. Подозрительные мужчины, продающие на Сенной площади подержанные мобильные телефоны, о Раскольникове ничего сказать не могли.

Проходил январь. Проходил, что называется, мимо нас. Студенты перестали спать на месяц.

Хотя, обычно, если пренебрежение сном ставится кому-то в заслугу, я вспоминаю, что Сталин почти не спал. Зато все окончательно перезнакомились. Появилась тема для доверительных бесед. Я сдавал экзамен за экзаменом на тройки, поэтому обычно, замечая знакомое лицо возле факультета, начинал озабоченно вглядываться в небо. Нормальное петербургское небо большей частью затянуто аморфной дымкой, без цвета, вкуса и запаха. Ничего, отдаленно напоминающего литературу.

За сессией следовали короткие каникулы. Мы с друзьями съездили в Москву. Там литературу больше всех выразил таксист, который вез нас от вокзала до квартиры наших московских знакомых. Я люблю слушать язык экскурсоводов, на который невольно переходит всякий, показывающий приезжему родные места. Это очень искусственный язык, никто так в быту не разговаривает. Он полон штампов, например, «вашему вниманию представлен вид на...». Или же «вашему взору открывается панорама...». Деревянная казенность этого языка меня забавляет. Рассуждая о том, что правильнее приехать в Москву, конечно, летом, таксист произнес загадочные слова: «Летом погода способствует отдыху». В начале февраля погода отдыху не способствовала, и с отмороженными конечностями мы вернулись в Петербург.

Зима, израсходовав весь арсенал пыток, в последний раз, уже в конвульсиях, дрыгнулась, и на Петербург налетела эпидемия гриппа. В Средние века всерьез вырывавшая сотни жизней, теперь болезнь только нежно цепляла в свои липкие объятия всех, кого только могла достать. Сначала заболели знакомые, затем родители, а потом и я проснулся со звоном в голове. Живем мы, то есть сестра, родители и я, у Финского залива. Когда-то, еще до уплотнительной застройки, в солнечные дни в окне поблескивал купол Исаакиевского собора, а с балкона был виден порт, куда приходили изящные океанические крейсеры. Сейчас нам остались только ветер в окна и необозримые пустыри с автостоянками. Пустыри обычно спать не мешают, а ветер – еще как, причем в любое время года. Приходится накрываться очень теплым верблюжьим одеялом, которое родители моего отца, армяне, дарили им с мамой на свадьбу. Они беспокоились о том, что их русским внукам будет очень холодно жить. Так, в общем, и вышло. Но я быстро под этим одеялом потею, оно начинает путаться и липнуть ко мне, и приходится его сбрасывать. Тут на взопревшее тело налетает ветер. В этом смысле не кажется удивительным, что грипп посетил и нас.

Меня навещали друзья. Кое-кто из них даже стал выглядеть опрятно. Одни рассказывали про творческие планы. Другие торопились на какие-то встречи. Третьи организовывали совместные поездки на лето. Но никто не сочувствовал тому, как за время болезни я сильно отстал по латыни. Близилась итоговая контрольная. Я встречал весну развешенными по квартире гирляндами из латинских глаголов.

Контрольная миновала. Каждое утро я просыпался на 15 минут раньше, ожидая, что, наконец, выйдет солнце, улица высохнет и надо будет отмыть ботинки. Ходил в гости и театр. Вскоре стало тепло, и по городу зашагали туристы. Утром, по пути от метро Невский проспект до Университета, я замечал, что автобус разговаривает все больше на немецком и итальянском языках. А ярким апрельским днем мне на кафедре радостно сообщили, что через две недели защита курсовой работы. Так что неделю я прожил в Публичной библиотеке. За распахнутыми окнами читального зала было видно светло-голубое небо, а под ним площадь Островского. Из окон пахло весной, и доносился шум улицы. Стопка книг на столе передо мной едва уменьшалась. Было не до литературы.

Но одним струящимся субботним вечером мне позвонил друг Виктор и сказал, что если я насчет литературы, то это к нему. Что я просто обязан быть сегодня вечером в некоем кафе. Деловито сообщил, что там будут все. Я не понял, но переспрашивать не стал. Надел брюки, ботинки, рубашку. Потом задумался и под рубашку надел еще тельняшку, так, что если расстегнуть верхнюю пуговицу, она очень лихо выглядывает. Чтобы уж точно оказаться своим. Вышло, правда, по-дурацки, потому что через белую рубашку тельняшка просвечивает.

Встретился с Витенькой. Он пришел, вытер лоб платком и поинтересовался моими финансовыми средствами. Все в порядке, говорю. Тогда Витя привел меня в заведение под названием

«Закусочная». Мы сели, и Витенька попросил заказать два виски. Когда я вставал, рукава неохотно отлипали от стола. Девушка за стойкой любезно спросила у меня паспорт. Вместо того, чтобы признаться, что старше 21 года мы с Витей будем, если только сложим годы наших жизней, я оскорбился. Залез в карман, оттуда достал студенческий билет. Из него, как это бывает, начали высыпаться все бумажки, которых там быть не должно – даты по истории Древнего Рима, рекламы, вырванные из блокнота листы с номерами телефонов.

Тогда я ударил кулаком по столу. Да с какой стати я обязан! Из сигаретного дыма материализовался охранник, выпроводил нас с Витей на улицу и усадил в клумбу, наподобие садовых гномов. Витенька сказал, что это ничего, что он хотел аперитиву, но это совсем необязательно. Мы отряхнулись и пошли в кафе.

Заходим. Там уже что-то происходило. Импровизированная сцена. Стояли на ней человек пять. В зале сидели две девушки и разговаривали вполголоса. Люди на сцене замахали, увидев Витеньку, и потащили его к себе. Взглянув на них, я понял, зачем Вите надо было сначала в закусочную. Догнать их уже не представлялось возможным. Витя представил меня своим друзьям, сказал, делая руками в воздухе жест, напоминающий мертвую петлю, что это такой человек, такой человек, и вообще, его хороший приятель, Митя! Я про себя подумал, что родители меня Мишей назвали.

У одной из девушек зазвонил телефон. Она ответила, растягивая гласные:

– Да, я в арт-кафэ-э, я тебе перезвоню...

Потом обратилась ко мне:

– Я так люблю пина-колада. Это божественный коктейль. Только никак не могу понять, с чем его лучше пить. Как Вы думаете?

– С селедкой под шубой, – говорю.

Я обнаружил фальсификацию и покинул помещение.

Тогда я перестал ходить по следу литературы.

«Нас мало и очень много»
(Из Манифеста СМОГа)

В этом номере «Волга» открывает цикл публикаций, посвященный 45-летию образованию СМОГа – первой крупной неофициальной литературной группы. СМОГ не только объединил неподцензурных литераторов, захватил в свою орбиту художников и философов, но и создал определенное культурное пространство, задал вектор коллективного существования литературных единомышленников, дал опыт организационного оформления нонконформистов в условиях репрессивного государства. Пример СМОГа не мог не учитываться (как в его позитивных, так и негативных аспектах) множеством позднейших литературных группировок и объединений.

Хотя формально группа просуществовала недолго – с января 1965 по апрель 1966-го, ее влияние трудно переоценить. Вернее было бы говорить не о группе, а о культурном движении – формальные, цеховые задачи перед членами СМОГа не ставились, речь не шла о разработке новой поэтики, да и сама аббревиатура расшифровывалась (помимо традиционного – Самое Молодое Общество Гениев) множеством различных способов, а манифест вполне можно свести к требованию свободы слова. Весь пафос программного документа – дайте возможность высказаться, даже выкрикнуть, пока не заткнули рот.

Таким образом, и об участниках можно говорить как в узком смысле (четверо отцов-основателей и десятки примкнувших впоследствии), так и в широком смысле – те, кто были рядом, возле, и все равно – вместе.

Собственно, можно сказать, что этим циклом «Волга» продолжает многолетние публикации авторов СМОГа, начатые в конце 1980-х. Особо в этом ряду хочется отметить одну из первых публикаций в Советском Союзе прозы Саша Соколова – роман «Между собакой и волком», напечатанный в 1989 году в 8-9 номерах «Волги». Послесловие к роману тогдашнего зав. отделом прозы Владимира Потапова, озаглавленное «Очарованный точильщик», теперь неизменно включается в библиографии любой мало-мальски серьезной исследовательской работы о прозе Соколова. И замечание в этой работе о прозе Соколова, что она «скорее, ближе к мимолетности поэзии, чем к суровости прозы», можно, наверное, экстраполировать и на ту прозу круга СМОГа, которая будет появляться на страницах «Волги».

Поэт Владимир Алейников, который взялся вести эту рубрику, в последние годы пишет много мемуарной прозы – конечно, пристрастной и субъективной, какой только и может быть такая проза у человека, стоявшего у истоков СМОГа. Донести до читателя и внушить ему свой смысл событий, свой образ прошлого, свое слово о времени, людях и их делах – задача любого мемуариста. Но Алейников устремлен еще и к более полному раскрытию наследия своего времени – к сожалению, публикации многих интересных авторов не реализовались в достаточной степени полноты по ряду разных причин. Восполнению такого рода лакун и служит новая рубрика «Волги», в которой Владимир Алейников представит читателю публикации авторов круга СМОГа.

Олег Рогов

Наталия СЛЮСАРЕВА

Наталия Слюсарева – замечательная современная писательница. Точное слово, чувство меры, выразительность деталей, закономерность обобщений, лиризм и присутствие своеобразной эпичности, стиль, пластика, свободное и вместе с тем разумное движение речи говорят за себя и делают ее прозу значительным явлением русской литературы. Слюсарева – дочь летчика-героя, участника шести войн. Родилась в городе Дальнем. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в редакциях журналов. Переводчица с итальянского. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Дети Ра». С кругом СМОГа ее связывают давние дружеские и творческие отношения. Она – из плеяды тех, кто сумел. Наталия Слюсарева в непростые времена сумела состояться как настоящая писательница, чей голос мгновенно узнаваем, чист и неповторим.

Владимир Алейников

На Первой Мещанской

Часть I

На Первой Мещанской

Мы въехали в Москву на грузовике с высокими бортами, со скарбом, чтобы жить в ней и называться москвичами, спустя два года после проведения в столице первого международного фестиваля молодежи и студентов. Молодежь, вероятно, входила в одну группу, а студенты – в другую. Мы въехали в город с восточной стороны, какое-то время катили по Садовому кольцу и сразу же за зданием института Склифосовского (странноприимный дом графа Шереметьева) повернули направо на прямую широкую улицу – Первую Мещанскую. Мещанской она стала называться оттого, что на ней с конца XVII-го века стали селиться мещане, то есть горожане. В память о фестивале улица получила, в подарок, новое название – Проспект Мира. Но взрослые, по старинке, еще долго называли прямую улицу Мещанской. Переименованию подверглась и ближайшая станция метро «Ботанический сад». Все вокруг стало проспектом Мира.

Поселились мы в высоком доме с башней, толстыми стенами, потолками за три метра с лепниной, одним словом, сталинском. И понемногу стали изучать, теперь уже свой, проспект, то есть ходить по нему направо, налево, заходить во дворы, смотреть, что к чему, осваиваться. Исторические анналы повествуют о том, что первые дома по Мещанской принадлежали генералу-фельдмаршалу Якову Брюсу, сподвижнику Петра I и чародею. И якобы с Сухаревой башни, торчавшей в начале улицы, сей Якоб, разглядывая звезды на чистом небе Москвы, смешивал тайные составы в колбах и мензурках в поисках омолаживающих эликсиров и философских камней. В районе Грохольского переулка тем же Петром Первым был разбит огород. Вскопав грядки, он де собственноручно высадил семена редких растений. Огород существует и поныне. Можно зайти в него через калитку и понюхать что-нибудь с латинским названием, но для прогулок огород тесноват.

Гулять обычно мы отправлялись, пересекая мирный проспект, в парк, недавно вернувший себе свою девичью фамилию – Екатерининский. В те годы – распахивающий свои кованые ворота под вывеской парка ЦДСА (Центральный Дом Советской Армии имени Фрунзе). Перед домом – две артиллерийские пушки на лафетах. В середине парка – пруд. С прудом связано одно из первых воспоминаний. В один из периодов проживания нашей семьи в гостинице ЦДСА, когда отец учился в академии, вижу себя, передаваемую взрослыми с рук на руки в лодку, чтобы меня покатать и доставить удовольствие, и я, глядя в парковый пруд, в сущности, лужу, с ужасом восклицаю: «Ах! куда же мы приплыли, мы же к самому морю приплыли». Время летит быстро, и вот

я уже гребу, высоко вздымая весла, громко хлюпая ими по воде, катаю в крашеной зеленой лодке свою сестру. За парком и вокруг него все теснилось «московскими» двориками. Было много Екатерининских улиц и переулков, первых, вторых, много скамеечек, вынесенных за калитку, много деревьев с зелеными листьями, и вы не поверите, с конца мая – сколько соловьев. А уж сирени...

Из окон нашего дома, напротив, торчал двухэтажный неказистый магазинчик – «Рыба, овощи». И действительно, рыбы и овощей в нем всегда было, «что грязи». Все обреталось в бочках. Квашеная капуста, всевозможных квашений – в бочках, огурцы соленые – в бочках, грибы маринованные – в бочках, сельдь – крепко и мало соленая – в бочках. Икра, правда, в лотках.

– Наташа, возьми карандаш и записывай, – говорила мне мама. – Возьмешь в «овощах» напротив капусты «провансаль» один килограмм, с клюквой – полкило, моченых яблок – пять штук, пусть тетя тебе даст две жирные селедки с красными глазами, огурчиков малосольных – полкило, соленых черных груздей – полкило, брусники – триста грамм, икры черной паюсной – полкило.

На соседней Сретенке, в еще более тесном и маленьком магазинчике под вывеской «Лесная быль», лежало на прилавке, под бруснику и морошку, – то, что сейчас для многих – небыль, а тогда – быль. Белые куропатки, перепелки, бекасы с длинными носами, зайчатина, оленина, медвежатина. И, случалось, мы обедали, как какие-нибудь князья Милославские в пору, когда царь Петр еще не брил бород, и не за сундуками и лавками, а даже перед своим черно-белым телевизором с распухшей мордочкой экрана за линзой.

Так как наш папа родился в Тбилиси, а значит, был приучен – и нас приучил – к яркой грузинской кухне с большим количеством зелени, грецких орехов, гранатов и соусов, то немаловажным пунктом на трассе «мира» оказался для нашей семьи Рижский рынок. Обычный крытый рынок, летом – с помидорами, весной – с первыми зелеными огурчиками, что так хороши на черный хлеб, нежными цыплятами, из которых на нашей газовой плите под гнетом выходили отменные цыплята табака, а также – с гусями, утками, поросятами, зеркальными карпами и так далее.

Как-то с рынка отец принес домой трех живых желтеньких цыплят и пустил их на пол. Мы накрошили для цыплят крошек на газету, налили в блюдечко воды, а они бегали, как дурачки, прямо по этому блюдечку мимо крошек и отчаянно пищали с таким видом, как будто что-то потеряли. Взглянув на эту сцену, мама сказала: «Они ищут маму». Мы подняли глаза на отца. Он пожал плечами. И мы, тотчас усвоив, что мамы-курицы не дождемся, стали сооружать для них дом-интернат. Взяли узкую картонную коробку из-под обуви, смастерили из небольшого количества ваты три кроватки и вынесли интернат на балкон. И еще несколько дней из коробки слышалось слабое попискивание.

Стены школьного здания, в которое, начиная с понедельника, регулярно мы наведывались за знаниями, замечательно просматривались с нашего балкона. Нашим двором проходили учителя на работу. И однажды, когда мы группкой собрались на балконе и осмелели, то и бросили вслед врагам пару картофелин из домашних запасов, но, слава Богу, не попали. Звонок на урок был отлично слышен в нашей кухне при открытом балконе – и, бывало, по этому звонку мы с сестрой вылетали из квартиры, чтобы в два скока оказаться в школьном коридоре в хвосте нашей группы, заходящей в класс на занятия.

Знания раздавались на разных этажах. Кабинет физики этажом был ниже, нежели класс, где проходили занятия по русскому и литературе; спортивный зал был ниже кабинета физики, кабинет химии, как и полагается, (лаборатории, химичат) располагался в самом низу, в подвале. Это к тому, что много времени мы проводили на лестницах, меняя соответствующие классы. И мой первый поцелуй, мой первый поцелуй был сорван одноклассником-хулиганом как раз на лестнице, когда я спускалась, а он перепрыгивал через ступеньки вверх. На какую-то долю секунды и на какой-то волшебной ступеньке наши головы оказались совсем близко. И он стремительно чмокнул меня в щеку, как плюнул пулькой, и поскакал дальше, не сбавляя скорости. Я же, напротив, продолжала спускаться чрезвычайно медленно. Надо мной что-то такое распустилось, какой-то «шамаханный» шатер. Я больше не была крепкой девочкой, которая, освобождаясь от варежек,

съедала в соседней булочной сразу сто грамм соевых батончиков в суровом бумажном кульке. Оставшиеся метры, улыбаясь тонкой улыбкой, потупив взор, я спускалась в кабинет химии, по крайней мере, Натальей Николаевной Гончаровой, поднимающейся по мраморной лестнице на свой голубой бал. ...Но я отвлеклась.

Знания раздавались на разных этажах. Часть знаний была, к сожалению, мне недоступна. Так, я совершенно оказалась неспособной к черчению. И если на первом уроке чертеж проекции, вид сверху на спичечную коробку, вышел вполне прилично, то в последующем, как я ни старалась взмыть и, зависнув, окинуть взглядом композицию, допустим, из трех спичечных коробок, понять, как оно там сверху, ничего из этого уже не удалось. Понять не удалось. А я, что не понимаю, не отображаю. Пришлось на уроках черчения заниматься английским или заносить в альбом вольные композиции, рисовать бессмысленно профили учителей, лестницы, коридоры – в общем, свой авангард.

Другой обязательный предмет, входивший в программу среднего школьного образования, такой как химия, оказался для меня также недоступным. Заглавная буква моего имени, ну ладно, пусть даже «аш», каблучком которой торчит крохотная двойка, после нее заглавная «О», и все это почему-то течет водой. Зато на этих уроках нам раздавали на каждый стол по набору мензурок с набором препаратов в стеклянных пузырьках, и я, как истинная последовательница, взращенная на землях знаменитого алхимика, мешала и смешивала. Как только у меня ничего не взорвалось? Хранил Господь. Я плохо представляла, что добавляла в пробирки, не говоря уже о пропорциях. Всего всегда добавлялось щедро. Мне нравилось, когда при удачном смешении чего-то с чем-то за стеклом разноцветными дымами расцветал волшебный мир. Учебник по химии я так и не открыла, он остался частично с неразрезанными страницами, брак типографии, а на выпускном экзамене, когда классная заскочила к нам на минутку в кабинет, чтобы помочь с билетами, я выпросила про «удобрения». И мой ответ, за который я получила крепкую тройку, состоял из двух фраз: «Наша страна всегда уделяла большую роль химическим удобрениям». «Удобрения играли большую роль в хозяйственной жизни нашей страны».

На главные праздники страны, когда нам не надо было на занятия, почти весь световой день мы проводили на улице. Довольно рано нас будил гул проходящих демонстраций, а замесившая тесто мама непременно заходила в восемь часов утра в нашу комнату, чтобы, отдернув занавески, призвать всех к окну. В пижамах мы липли к стеклам и еще полчаса не могли оторвать взгляд от спешивших на Красную площадь и счастливых от этого демонстрантов. Кто-то обязательно шел с гармошкой. В наш проспект вливались с соседних улиц и переулков представители рабочих северных и восточных районов Москвы. Под лозунги и раскатистые выкрики «урра!» вырывались в небо непослушные воздушные шарики. То было, что называется, людское море.

Мы спешили сбежать по лестницам, без лифта, скорее на улицу. Ходили свободно по проезжей части проспекта, пересекая его, то за мороженым, то за лимонадом, зная, что никакой транспорт до обеда нам не грозит. Иногда, небольшой отрезок пути, шли вместе с демонстрантами до ближайшего метро за новым видом мороженого, которое продавалось только там. Когда наш проспект, проводив достойно процессию со шлейфом к кремлевским звездам, начинал приводить себя в порядок, мы перемещались в парк ЦДСА.

В парке ЦДСА проходили гуляния, то есть взрослые гуляли парами, под ручку, по аллеям парка. Главным образом ходили по одной широкой дорожке вокруг пруда. Много было военных. Военные отдавали друг другу честь. Иногда ходили компаниями по четыре и больше человека, такие компании мы обгоняли.

Забавным зрелищем были вечерние танцы старичков под живой оркестр с большой желтой трубой. Музыкант, который играл на трубе, сильнее всего надувал щеки. Он старался, и недаром. От звуков его трубы музыка становилась как бы жирнее и гуще. На воскресных танцах, которые разучивались старичками в будние дни, всегда собиралось много и танцующих, и зрителей. На тесной эстраде особенно нелегко приходилось парам, которые старались поразить зрителей сложными па. Случалось, что особо искусные пары, разлетевшись, сталкивались с соседними,

изысканно прогнувшись, улыбкой и кивком выспросив «пардон», летели по эстраде дальше, до следующего столкновения.

Нарумяненные, и даже слишком, и сильно припудренные барышни сидели на скамейках в ожидании приглашений. Наконец какой-нибудь живой пенсионер подлетал к даме, чуть ли не на колено «а ля учитель танцев», приглашать. Зардевшаяся избранница, передав сумочку соседке, быстренько хватала его за ручку, чтобы ту же встать с ним в фигуру кадрили. Танцевали по кругу кадрили, а также танго, фокстроты, танго, вальсы-бостоны, вальсы с нашим превеликим удовольствием.

По темпераменту танцоры делились на очень быстрых и весьма медленных. Шустрые «фигаро» мелькали то тут, то там, заверчивая и укручивая своих партнерш до головокружения. Медленные еле передвигали ногами. Скорее всего, к их пояснице периодически подступал радикулит, но всем своим видом они показывали, что тонко чувствуют музыку из желтой трубы. Были очень странные персонажи. Постоянно на танцы ходила одна очевидно настоящая балерина, настолько же настоящая, насколько и древняя, прямо елизаветинских времен. Ее прическа, чрезвычайно гладко уложенная, держалась неимоверным количеством заколочек, с осени – береткой. Балерина никогда не танцевала ни с кем в паре и не желала этого. Очертив вокруг себя невидимый магический круг, она кружилась в нем высохшей стрекозой. Несомненно, она бисировала свои тридцать два фуэте из «Дон Кихота». Ее верчение превосходило балетное и скорее относилось к растительному. Кружение листьев осенью. И я знаю, почему сегодня в Екатерининский парк больше никто не приходит танцевать на эстраде. Конечно, вы правы, просто потому, что после осени наступает зима.

Белый аист, черная курица и герцогиня де Шеврез

Я болею. Мама и так знает, что принести мне на кровать. А нужна мне, прежде всего, моя продолговатая коробка с цветными карандашами, сложные цвета воссоздаются путем наложения одного цвета на другой, к примеру, красного на желтый, явится непременно оранжевый – генеральный цвет столь ценимых мною кладов и сокровищ. К цветным карандашам – самый обычный альбом для рисования. Из книг выкладываются на кровать: толстый сборник славянских сказок, потоньше – китайских, отдельно – Андерсен, непременно – «Черная курица», а также ершовский «Конек-Горбунок», большая желтая книга с чудными иллюстрациями. Книга хороша еще и тем, что, при случае, ею можно треснуть муху, а то и сестру: «...средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Мы с сестрой – двойня, поэтому к нам это не относится. Ума нам не занимать, особенно сноровки, как в понедельник остаться дома, приложив градусник к горячей батарее. Серебряный градусник, вот кто «дурак», моментально делает смертельный бросок своим ртутно-змеиным телом на запредельную отметку в сорок три градуса – и его приходится долго трясти, чтобы скорректировать на приличествующие тридцать семь и две. Но сегодня я взаправду болею.

В обмен на царские дары – карандаши и книги – мне предлагается, залпом, без проволочек, стакан противного горячего молока и таблетка горчайшего на вкус стрептоцида. Не без отчаянного сопротивления гортани, вернуть все в стакан, справляюсь с питьем серией малюсеньких глотков, из которых самый последний – самый мерзкий. Сестра в коридоре медлит с одеждой. Завидует. Ей сегодня одной сиротствовать за партой. Сочувствую. А все-таки хорошо болеть простудой на маминой постели! На минутку откидываюсь на подушки, проверяя рукой: все ли на месте.

Начинаю я всегда с китайских сказок, вернее, всегда с одной китайской сказки – про бедного сочинителя Ли, его друга белого аиста и горы сокровищ. В крепком порыве, в котором весь пиратский бриз, я распахиваю книгу и держу паруса страниц наполненными, пока не мелькнет среди них «желанный парус» с горой сокровищ, на который я и устремляюсь взглядом, как на абордаж. Эти сокровища по хитрости вначале достаются старшему брату, но к концу сказки нарисованный черной тушью белый аист сходит с ширмы и разруливает ситуацию в пользу младшего брата.

Я долго рассматриваю гору сокровищ, отделяя взглядом тяжелые золотые цепи с медальонами от крупных драгоценных камней, которые, уже знаю, меряются каратами. Высокие жемчужные кокошники сползают по склону. Тяжелый скатный жемчуг рассыпан у подножья горы. Хотя кокошникам разве место на страницах китайских сказок? Приустав от золотого перелива, подтягиваю к себе Погорельского. Черная курица – министр? Волшебство и тайна. По ночам – ноги в тапки – сходят не только с резных ширм, но и с обычных кроватей – навстречу шкафчикам и тяжелым буфетам, с открывающимися дверцами, навстречу высоким китайским шкатулкам, как у мамы, облитым лунным перламутром. Да, попробовать ночью встать и – между пастушкой и трубочистом – в дверной проем, туда, откуда струится тонкий свет.

Интересно, что белый аист часто сходил с ширмы не только разобраться в проблемах поднебесной, но и просто навестить меня по дружбе. Он устраивался за моей спиной и внимательно наблюдал, как старательно я заштриховывала платье голого короля. Одобряя мое усердие, он тихонько, чтобы не мешать, постукивал клювом по моему плечу. Я любила срисовывать из книг полюбившихся мне персонажей. Покрасив сапоги Кота в Сапогах в ровный коричневый цвет, шляпу – в зеленый, я советовалась с аистом, какую краску пускать на кроликов, которых Кот в Сапогах, в свою очередь, крепко держал за длинные уши, сжимая в замшевых перчатках с отворотами. Как лучше: красить обоих кроликов розовым или одного оставить розовым, а другого – делать голубым? Немного подумав, аист останавливался на том, чтобы выпускать кроликов разноцветными. С министром проблем не было, он и так был заявлен в названии черным. Черная курица, голубая министерская лента и красный нос, он же клюв.

Как-то в один из рисовальных дней, не помню, болела я или нет, мне захотелось перенести к себе в альбом, то есть все равно, что пригласить в гости, андерсеновскую парочку, «пастушку и трубочиста». Интересно, представляла я, как же все-таки они поднимаются по печной трубе на крышу? Протягивает ли трубочист пастушке руку или пропускает ее первую на перекладину. Он, конечно, слегка придерживает ее сзади за талию, ободряя и подталкивая чуть вперед на следующую ступеньку. Но если она поднимается первой, то ее пышное платье должно мешать трубочисту. Так как, конечно, я и была той самой пастушкой, то я все время оборачивалась, ибо мне хотелось и не хотелось, чтобы оборки моей юбки щекотали трубочисту нос. В творчестве произошла заминка. Парочка так и не выбралась на крышу. На этот сюжет в альбоме появился рисунок одной остроугольной черепичной крыши, правда, с трубой, под ярким месяцем и звездами. Пастушка и трубочист, не понимая, как им лучше устроиться на лестнице, застряли где-то на половине пути, где и остаются до сих пор.

Не припомню, в каком по счету альбоме по рисованию, но довольно скоро за тесной Европой, теснившейся на старинном прабабушкином комоде, возник новый континент, с цветущими кактусами, саваннами и прериями. Исидора Каварубио де Лос Льянос в синем бархатном фигаро, под цвет глаз, бросающая тонкое лассо, и всадник без никакой головы. Белый аист с легким недоумением, осторожно переступая своими длинными ногами, обходил плантации огромных шляп сомбреро, как скопления грибов или черных солнц, заполнивших собой все страницы. «Ай, яй, яй, яй селита Линда...».

Но когда, очень вскоре после этого, я увидела на парижской мостовой батистовый платок с вензелем герцогини де Шеврез, отпирающегося Арамиса в окружении смеющихся мушкетеров, и мое сердце пронзило понимание того, что происходит и что меня ждет, белый аист, в отчаянии, закрыв глаза, громко захлопал крыльями, пятясь, спиной вошел в ширму, стал маленьким, седым, замер перламутровой каплей и больше никогда не приходил ко мне.

А я перестала рисовать. И теперь только читала, и долго не могла уснуть.

Как закалялась сталь

Классная руководительница нашего пятого класса была удивительно необаятельной. Толстые стекла очков, грубые тяжелые ботинки и длинная шерстяная кофта, цвета печной трубы, состав-

ляли ее облик. С пронзительным клекотом, пробегая между рядами парт, она вцеплялась порой цепкой когтистой лапкой в плечо ученика, передохнуть. На следующий год ее сменила руководить нами дама с еще более отталкивающей внешностью, с такой верхней губой, какая есть не у каждого верблюда. И водили они нас на экскурсии смотреть еще более безобразные вещи.

Тогда же я обзавелась синей общей тетрадью и решила записывать в нее все, что может мне пригодиться в дальнейшем, то есть самые разнообразные мысли по поводу моего места в жизни, философские рассуждения, а также впечатления о «прекрасном». В синюю тетрадь уже были вписаны, для почина, две философские мысли, которые я почерпнула из радиопередач для взрослых. «Все течет, все изменяется» и «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». Изречения древнегреческого философа Гераклита. По первому пункту – «все течет...» – у меня не было вопросов. После четверга – суббота. Воскресенье – не пятница. Что касается второго афоризма, то я пока не знала, как к нему подступиться, размышляя, порой, а ну, как войти еще раз? В общем, после внесения в дневник первых интеллектуальных посланий, делать мне было особо нечего, а мне хотелось рассуждать и искать свое место в жизни.

Нужны новые впечатления – решила я. И тут как раз наша классная руководительница, как обычно бывало в первых числах сентября, ознаменовала начало учебного года культурным мероприятием – на этот раз походом в музей Островского, того Островского, который написал «Как закалялась сталь». Она выстроила наш класс составом и застучала своими высокими каблуками через Мещанскую улицу на переход, на остановку троллейбуса, чтобы ехать с нами в центр на мемориальную квартиру писателя, отдавшего всего себя революции и гражданской войне. В музее лекторша так долго и смачно со всеми подробностями описывала его личный недуг – и усыхание скелета, и полная неподвижность, и абсолютная слепота. И сам вид с фотографии его лежащего кузнечиком тельца во френче на раскладушке был столь ужасен, что для меня это затмило содержание его книги, которую он писал чужой рукой. Нет, такой судьбы я не хотела. И рассуждать здесь было не о чем.

На следующий год новая классная завела нас в большой музей с широким крыльцом. Строгая экскурсоводша остановила нашу группу перед полотном, на котором нарумяненная столетняя карга смотрелась на себя в зеркало. И суть рассказа заключалась в том, что все это нам еще сполна предстоит. Напоследок нам предложили взглянуть на голого Давида в Греческом дворике. Я, конечно, для приличия посмотрела на его кудри и пращу с выражением, что мне все нипочем, так как рядом стояли мальчики. Они же не смотрели и на кудри, а исключительно в пол. В общем, записывать было нечего. Общая тетрадь с напоминанием «не входить другой раз в воду» пролежала без записей целый год.

В седьмом классе не первую четверть мы остались без классного руководителя, и завуч к октябрьским праздникам повел нас на Выставку Достижений Народного Хозяйства, в павильон угольной промышленности. На всякий случай я прихватила общую тетрадь с собой. В павильоне все было в макетах, таблицах, схемах и образцах отбойных молотков, все было по-настоящему, даже уголь. Я как-то сразу почувствовала там энергию, недаром уголь горит, и стала записывать за тетей с указкой всю экскурсию слово в слово. Через два часа у меня в общей тетради на всех ее сорока восьми страницах осели знания по добыче каменного угля. Теперь я знала – сколько нужно вагонеток, на каком уровне и какой пласт поднимать, какой маркировки требуется отбойный молоток, и сколько выйдет на гора при таких-то и таких-то параметрах. Наконец, я была удовлетворена, это были настоящие знания, которые вполне могли пригодиться мне в жизни. Я как-то даже повзрослела и обратной дорогой, проходя по просторной выставочной территории, чуть ли не с отбойным молотком на плече, подумывала о том, не перейти ли мне на будущую осень в школу рабочей молодежи. Очевидно, что если бы по разнарядке нас отправили в павильон скотоводства, я бы примеряла на себя коромысло и бидоны.

Но только недолго пребывала я в эйфории по поводу своего места в жизни. Пришлось признать тот факт, что в забой женщин не спускают. Стряхнула нехотя я угольную пыль с кос. Стала оглядываться по сторонам в поисках чего-то схожего с забойной романтикой, с тем же суровым

оттенком, чтобы сталь моя закалялась, чтобы я не только во второй раз в одну реку вошла, но и третий брод бы отыскала и по четвертому разу переправилась. И вспыхнули в сознании в ответ на мой душевный запрос две строчки из популярных песен: «Л-500 непростая линия» и «...о чем-то поет зеленое сердце тайги». Тут как раз на экраны подоспел фильм «Девчата». Приглянулся мне бригадир лесорубов, в исполнении Рыбникова, и упрямая курносая Тоня – та, что, перелезая через толстые стволы лиственниц, носила всей бригаде в судках обеды. Выбрала я тайгу. И чтобы быть к ней ближе, записалась в ближайший турпоход от класса.

Таежные трудности не заставили себя ждать. Долго мы шли с тяжелыми рюкзаками от станции по какому-то корявому полю. Еда состояла из кусков холодной каши. Но самой таежной трудностью в том походе оказались комары. Расчесанная, в укусах, я сразу смекнула, что в тайге этих комаров будет намного больше, но мне и подмосковных хватило. И кто нам только обещал увлекательный поход, с ориентацией на местности по компасу, со сбором ягод – черники и земляники? Нет, лучше я в школе, в буфете, стану есть наш вечный винегрет за семь копеек, без всякой черники, чем хлопать на себе комаров под земляничным соусом. Тайга начала отступать. Стала я поворачиваться на своем маяке в направлении норд. В холоде комары не живут. И как-то незаметно очутилась в Клондайке, на приисках, в чем мне много способствовал и член социалистической рабочей партии США товарищ Джек Лондон.

Страсти вокруг золота, вокруг самородков были не нашими, не советскими, но ведь золото можно было, используя тот же отбойный молоток, добывать и сдавать на гора, и на пользу стране. Здесь было о чем поразмышлять, к тому же комаров на севере нет, а собаки, верные друзья, с голубыми глазами и круглыми хвостами, у нарт вьются. Заманчиво. Как-то после уроков, дома, смотрела я на себя пристально в зеркало, что-то в себе изучала, что-то улучшала, ровняя портновскими ножницами челку, и вдруг меня осенило: а чего это я поеду по морозу за полярный круг, лучше я туда мужа своего пошлю, будущего, разумеется. Тут я его разом и представила, в крепком суровом свитере «а ля Хэмингуэй», и сразу у меня вся картинка сложилась. И все встало на свои места. Муж, в парке, в свитере, на упряжках с веселыми лайками летит по твердому насту, с проводником, местным каюром, а я ему письма пишу, тем более, мне нравится письма писать.

«Милый, дорогой, как ты там, один, без меня, в морозные ночи, под холодными звездами на снегу? Хватает ли вам провизии? Что вожак, не отморозил ли лапы? Пиши обо всем. Я заканчиваю тебе свитер вязать на смену»... Стоп, свитер здесь надо зачеркнуть. Вряд ли я научусь вязать свитер, с моим-то терпением и его проймами. Лучше шарф предложить. ...Да... «Вот я довязываю для тебя, мой дорогой, шарф. У нас все хорошо. Комаров нет. Пиши же, не забывай». Можно еще что-нибудь засохшее в конверт вложить, стебелек какой-нибудь летний, незабудку, например...

И так он у меня с тех пор все едет и едет по снегу на нартах, а я ему все письма пишу.

Ножи, ковбои и коридор

В конце шестого класса обнаружила я у себя дар: запоминать тембр и интонацию, с какой говорит любой актер, будь то мужчина или женщина, и воспроизводить их. Подражательный. В том же классе он оказался и востребованным. Тогда же из-за отсутствия слуха, сюда можно добавить – и голоса, меня попросили из детской группы районного хора, где я пела вторым голосом. А ведь вначале взяли. Значит, все-таки кое-что из голоса и слуха у меня было. Я обиделась на хор, который не допустил меня в актовом зале на концерте в честь чего-то петь «куст ракиты над рекой». Что есть такое растение «ракита», я и не подозревала, и на репетиции так и пела два слова вместе: та-та-та, та-та, та-та-та, «кустракиты» над рекой», в моем сознании это как-то сложилось в «кустраки» и потом почему-то «ты». Не страшно, я в любом случае знала, что над рекой разместилось что-то полезное, хорошее, наше, пионерское.

– Ну и ладно, – ухнула я про себя своим вторым голосом. – Обойдусь без спевок.

В общем, я прилично рассердилась на хор, за то, что они не дали мне распеться. В эту вынужденную паузу мое внимание переключилось на кинематограф, вернее, на один кинотеатр с

узким, не самым удобным для просмотров залом, но зато ближе всего к нашему дому – кинотеатр «Перекоп» на Грохольском переулке. К началу весны, когда во всей природе бродят соки и токи, на фасад «Перекопа» повесили афишу, информирующую всех проходящих мимо о том, что с ближайшего понедельника в кинотеатре начинается демонстрация двухсерийного американского фильма «Великолепная семерка».

Нашему шестому классу «Д» хватило двух первых сеансов, чтобы распознать на вкус, что это за необыкновенный такой фильм, в котором на первые ряды по диагонали экрана, ноги в стремена, кольты за поясом, в фетровых шляпах, под энергичного Бернстайна, мчатся семеро ковбоев выручать неуклюжих крестьян. И уже к среде, третьему учебному дню недели, в классах за партами не было ни одного из тех учеников, кто хотя бы один раз посмотрел «Великолепную семерку». Все они сидели в узком зале кинотеатра «Перекоп», проходя на сеанс через главные передние двери с билетом, в случае его приобретения – покупки в кассе или с рук, и – через задние, в противном случае.

Каждый зритель стремился довести цифру просмотра зарубежной ленты до астрономической. Лично я видела «Великолепную семерку около четырнадцати раз, но это была такая капля, по сравнению с тем, что я слышала от других. Директор, в очередь с завучем, в девять часов утра отправлялись к кинотеатру «Перекоп» выуживать своих учащихся.

– Черкасов, Фадеев, – окликали они, как по списку, перед началом сеанса, – выйти из зала.

Девочек, правда, не выкликали. Но какая же я – девочка. Я – Крис, Вин и Бритт. Переводя взгляд с одного экранного пастуха на другого, я выбирала свою звезду. Лысый Юл Бриннер был чрезвычайно хорош, но он нравился всем. Идти за толпой я не могла. Обаятельный Вин, он же Стив МакКуин, с прищуром и улыбкой, но – блондин. Ковбой не мог быть блондином. Стив, извини. Я остановила свой выбор на долговязом Бритте, в исполнении Джеймса Коберна. И начала заниматься тем же, чем и он, то есть метать ножи. На весну и лето, на весь пастуший сезон ножей в доме должно было хватить.

После первого же просмотра, дождавшись, когда все ушли из квартиры, я вывалила из плоского кухонного ящичка, где лежали столовые приборы, исключительно только ножи, и стала проверять их пальцем на предмет заточки. Острых столовых ножей я не обнаружила. Пришлось иметь дело с теми, которые оказались под рукой. Стянув с верхней полки гардероба шляпу отца, фетровую, к сожалению, со слишком короткими полями, я стала усиленно гнуть и мять ее, стараясь придать ей, неказистой, форму истинных головных уборов. Затем, пройдя в наш длинный коридор, чем-то напоминающий смотровой зал кинотеатра «Перекоп», уже в шляпе, то есть в роли, я выбрала себе нож, взяла его в руку точно тем же манером, как его брал Бритт – лезвием к ладони – и с расстояния, лихим броском от себя, швырнула прямо во входную дверь. Нож тупо стукнулся о дверное полотно и упал на пол. Упорства и упрямства мне не занимать. И если бы в фильме ковбои, перелетая на лошадях с крыши на крышу, одновременно доказывали теорему равнобедренного треугольника, я бы научилась делать то же самое.

Через две недели наша коридорная дверь на выход жестоко заболела оспой.

– Что это такое с нашей дверью? – как-то, приостановившись в коридоре, задумчиво спросила мама. – Откуда эти отметины?

– Это Наташка кидается ножами, – выдала меня моя сестра из детской.

Весны становилось все больше. А моя страсть, имея выход только в одном этом единственном упражнении, все никак не хотела проходить. Я метала и метала ножи. Но теперь («терпение и труд все перетрут», как правильно записывали мы за учительницей на уроке русского языка) практически все ножи попадали в цель, то есть все они вонзались в упругое дерево. Не потому что они стали острее. А потому что я научилась. Что ни бросок, то попадание. Нож торчал в двери, пока я не подходила и с истинно ковбойской безмятежностью не вынимала его, с тем, чтобы засунуть в воображаемое голенище. Я швыряла ножи, даже не дожидаясь, когда домочадцы покинут опасный полигон. Иногда под свист столового прибора, нагнув голову, мелкими солдатскими перебежками пробегала по коридору сестра.

Но не только у меня одной в ту весну блестели глаза и горели щеки. Одна из наших подруг, самая слезливая и влюбчивая, как раз обливалась слезами по фильму «Мой младший брат» и актеру Саше Збруеву, снявшемуся в главной роли. Как-то в очередной раз, прогуливая урок и обретаясь вместе со мной, в нашем подъезде около батареи, сморкаясь в клетчатый папин носовой платок, она пускала слюни по тому – какой он... и как она его любит.

– Людка, замолчи, – оборвала я ее сурово, взирая на такую безнадежность, – идем лучше к нам. У нас есть коридор, займемся делом.

Дома я вырядилась во все мужское, используя одежду отца, натянула на брови пониже откуда-то взявшуюся кепку, наверное, забытую слесарем, поставила Людку в конце коридора, который отныне стал сценой Малого театра, и произнесла первую реплику главного героя из кинофильма «Мой младший брат» по прозе Василия Аксенова. Текст я помнила практически наизусть, так как и этот фильм смотрела неоднократно. Когда я произнесла первую реплику голосом один в один со Збруевым, с подружкой тотчас случилась новая истерика. Репетиции были прерваны, и Людку пришлось волочь из коридора на кухню, чтобы отпаивать чаем. Но с тех пор все фильмы и спектакли, которые нашли резонанс в сердцах одноклассниц, были переиграны в нашем коридоре.

Мои роли были исключительно мужскими, да я никогда и не хотела женских ролей. Что в них – одно мяуканье, да слезы, то ли дело посыл датского принца голосом Смоктуновского: «А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный тон...Что ж вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя». В очередь за Гамлетом шел матрос Алексей из «Оптимистической трагедии».

Все были довольны. Девчонки – сестра и подруги, что я не отбирала у них женских ролей, я, развивающая свой второй голос вплоть до третьего, и, конечно, коридор. Чем он был до постановок – порожним пеналом. А тут его наполнили звуками, голосами, шумом передвигаемых декораций. Комнаты с мебелью, задекорированные, были обречены только на один акт. А в пустом пространстве коридора любой мир мог быть воссоздан заново.

Так продолжалось сезона два. Пока в Москве я не нашла свой театр и своего актера. И оставив осиротевший, простивший мне изуродованную дверь коридор, стала ездить в театральные кассы, стоять в очередях, заранее покупать билеты в театр, настоящий, с программкой, гаснущим светом перед началом представления, буфетом в подвале или на втором этаже и третьим звонком.

Ниночка

Во второй четверти моя сестра Лена сидела с Ниночкой за одной партой впереди меня. Этому обстоятельству, что впереди меня, я была чрезвычайно рада. Слава Богу, прошли те времена, когда мама, отведя нас в школу и представив школьной руководительнице, выражала ей свою материнскую просьбу в следующих выражениях: «Это – сестры-двойняшки, посадите, пожалуйста, их за одну парту». Не то, чтобы я не любила свою сестру, хотя мы и вели с ней долгие и жестокие бои без правил, кидаясь друг в друга пузырьками с чернилами, а просто я стеснялась: все люди как люди, а тут какие-то двойняшки. Поэтому тот факт, что в шестом классе сестра сидит не рядом, а впереди, меня вполне устраивал. И пихнуть в спину сподручно, и – на расстоянии, не сиамский вариант.

Ниночка была ладной и аккуратной девочкой с копной вьющихся волос. Носила, как и все девочки, школьную форму – шоколадное платье и черный фартук, в кармане которого всегда лежал свежий носовой платочек. Бант в косе у нее был особенно пышным, складки на форме – тщательно отглаженными, хотя семья ее жила отнюдь не в достатке. Жили втроем в крохотной комнатке, в полуподвальном помещении в самом начале Первой Мещанской. Отец, военный, разбился где-то на южных перевалах на мотоцикле, когда ей было лет десять, и ее мать брала шить на дому, чтобы поднять Ниночку и младшую сестру. Ее фигурка раньше других начала округляться, и это именно за ней гонялись мальчишки, чтобы толкнуть.

– Выпуклая! – кричал ей первый хулиган нашего шестого Д.
– Плоский! – парировала ему тотчас Ниночка.
– Дура!
– Сам дурак!

У нее был острый язычок. Шестые, седьмые, восьмые классы мы проводили во дворе. У нас была своя компания и свои мальчики. Мальчики из двора напротив были не наши, почти варягами. И мы не хотели, чтобы они заходили в наш двор. В те годы мы особенно любили праздники, весенние Первые Мая, дни рождения и обычные воскресенья.

По таким дням мы устраивали дома приемы. Приглашались на завтра мальчики по телефону к такому-то часу. На звонок дверь открывали с учащенным сердцебиением, приглашая пройти в комнату. Угощая одноклассников бутербродами с розовой колбасой и зелеными яблоками, мы, тем не менее, постоянно оставляли их на минутку, чтобы заскочить в ванную – уже не причесаться, а взглядом как-то пытаться улучшить комбинацию на голове. Перечесаться технически было невозможным. Модные в то время укладки под Бабетту вооружались в четкой последовательности – расчесать, начесать, взбить, накрутить, уложить, закрепить. По возвращении в комнату ухитриться глянуть на себя в карманное зеркальце, быстро отвернувшись, обязательно. Теперь можно продолжить разговор. «Да, вашей физичке до нашей химички далеко...» А как ведут себя чулки, точно уже морщатся, а шов? Подхватив тарелку из-под съеденных бутербродов, чтобы отнести на кухню, снова залетаешь в ванную, если та не занята уже подругой, и, завернув шею дальше некуда, пытаешься рассмотреть, куда убежал шов.

У Ниночки у первой появилась бесцветная гигиеническая помада, пахнущая тяжелым неприятным запахом. Движением пальчиков она устанавливала карандашик помады на нужную высоту и проводила им по своим красиво очерченным губкам. Она же первая делилась рецептами о том, как накручиваться на пиво, как вымыть волосы без воды, то есть посыпать их белой мукой, можно и блинной, а потом расчесать. Можно сказать, она вела среди нас свои женские программы, комментируя циклы дамских премудростей своим острым словцом.

Она в срок вышла замуж. Родила сына Вовку. Через год рассталась с мужем, который, по ее словам, не хотел работать, а хотел пить. И стала одна воспитывать ребенка. Тут ей пришлось несладко. Ей пришлось устроиться на две работы. На первой – в регистратуре районной поликлиники. На второй – мыть темные подъезды с перегоревшими электрическими лампочками, в которых гудит ветер по ночам, и каменные холодные ступени лестниц, вздрагивая от шороха газет.

Ее характер – «веселье с отчаинкой» – переменился. Она становилась тихой. Встречались уже реже, рассматривая друг друга, как под увеличительным стеклом, отмечая, насколько осунулись в замужестве. Ниночка еще доставала из сумочки губную помаду, но уже говорила, что краситься – грешно, и что она купила абонемент и с осени станет посещать лекторий при Политехническом музее. Цикл лекций по религии. Как-то, заехав в гости, – со временем вытащить ее становилось все труднее – она объявила, что вот сегодня наконец-то бросила работу секретаршей при своем начальнике-самодуре. На его предложение пересчитать знаки препинания на странице она хлопнула перед его носом дверью со словами: «Может, вам еще пересчитать и колючки с кактуса на подоконнике?» Мы посмеялись, уверив ее, что – такая как она, разумеется, быстро найдет себе другую работу. Мы удивились, узнав, что она стала продавать свечи и крестики в киоске.

Это она повела меня на мою первую пасхальную ночную службу в высокий кумачовый храм с темной старинной иконой «Знамение» в Переславской слободе. И указав на стайку женщин, разместившихся на полу в длинных юбках, по виду то ли цыганок, то ли из Индии, объявила, что это и есть «оглашенные». В смысле, что ничего не понимают. Я думаю, у нее это как-то ассоциировалось с понятием «оглушили», и что это им Господь и говорит – «оглашеннии, изыдите из храма», чтобы они вышли и не мешали вести службу дальше. Помню, что пасхальная ночь показалась мне очень долгой. Мы вернулись домой под утро уставшие, но довольные. Пили чай и ели заслуженный кулич.

Ее скоро шагающее православие, проклюнувшееся в застойные времена, обескураживало своей безысходностью. Любимой темой подруги стало прохождение мытарств.

– А знаете?.. – сидя на кухне за кофеем, вдруг, как бы ни к чему, начинала она, – что ждет молочниц на том свете, которые разбавляют молоко водой? – И немного переждав, потянув паузу, продолжала, – ...заставят грешниц на льдине лизать языком лед.

Добавляя сливки в кофе, признаюсь, мы переносили эту информацию легкомысленно. Все-таки маловероятно, что в ближайшем будущем мы станем проводить время на ферме, да и разбавлять молоко водой мы с сестрой, честно говоря, не собирались. Пребывание в грешном мире становилось для подруги тягостным. Вскоре все московские грешники стали лютыми Ниночкиными врагами. В конце концов, она так напугала себя, что окончательно перестала общаться с миром, значит и с нами. Она больше не приходила ни в гости, ни на Новый Год, ни на дни рождения.

Когда в конце восьмидесятых из Германии должна была приехать моя заветная подруга в Москву на короткую побывку, в свое время отбывшая семьей в эмиграцию, я решила все-таки позвонить Ниночке в надежде, что она захочет с нами повидаться. Пока шли гудки, я репетировала, как бы уговорить одноклассницу согласиться на общую встречу. Трубку взял сын Вовка и сказал, что мама умерла два года назад.

– Болезнь?

– Да, ну и вообще ей здесь больше стало не интересно.

– Да, конечно, – согласилась я, притихшая, и положила трубку.

А бывало, она первая названивала нам с утра с тем, чтобы вытащить нас в парк, в кино и просто погулять.

– Как это вы сидите в такой день дома? Кстати, что там в вашем «Перекопе»? ...Значит так, встречаемся у метро. Сначала звоним Мишке, а потом гуляем по проспекту.

Кавалеркино

Кинотеатров небольших и просто маленьких в Мещанском округе три или четыре. Самый маленький – пересечь Сухаревскую площадь – кинотеатр документального кино «Хроника». Напротив него, побольше и посолиднее, – кинотеатр «Уран». Самый близкий к дому – кинотеатр «Перекоп». Переехавший с Чистых прудов на Садовое – кинотеатр «Форум».

В кинотеатре «Хроника» я впервые смотрела ленту «В дебрях Амазонки» о настоящих джунглях – о девственных лесах, многоцветных попугаях, голых дикарях и клацающих челюстями и бьющих хвостами злющих крокодилах. До «Хроники» в Москве было два крокодила. Один – сонный в зоопарке. Другой, более энергичный, проглотивший солнце, на страницах Чуковского. Каждый новый увиденный фильм для меня по впечатлению был сильнее предыдущего. Когда в кинотеатре напротив «Уран» я посмотрела «Фанфан-Тюльпан», тотчас приняла присягу на верность вертлявому галльскому скоморошеству, в исполнении Жерара Филиппа, чью эстафетную палочку с большим успехом подхватил позднее Жан Поль Бельмондо.

В двухзальном кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной крутили в очередь совсем древние фильмы – с Максом Линдером, никогда не улыбающимся Бастером Китоном и, конечно, с Чарли Чаплиным. Любимым фильмом из очень старых был фильм «Леди Гамильтон».

Толпа – с которой и в который раз зажатая, я вплываю в кинозал – единственный вид толпы, который я приемлю, более того, в который стремлюсь. Я не беспокоюсь за временную нехватку прозрачного живительного воздуха, оттягивание шарфа, оттаптывание носка ботинка. Отдавшись потоку, я вообще ни о чем не думаю. Про себя знаю главное: меня ждет встреча с ним – долгожданным, единственным. Кавалер Кино, хотя и позволял себе иногда запаздывать, всегда являлся на свидание. Кино – лучше итальянское, знаменитого режиссера, лучше не виденное, самое лучшее – с Марчелло Мастроянни. Что ж, сознаюсь, имею дома карточку, вырезанную из «Советского экрана», единственного иллюстрированного журнала по этой отрасли, последние страницы которого неизменно предназначались зарубежному кино.

Спустя три года после окончания школы, когда в кругу не совсем еще растаявших одноклассников кто-то обронил: «Знаете, Наташа вышла замуж», – «А что? – удивились те мальчики, которые особенно больно дергали меня за косички, – разве Марчелло Мастроянни приехал в Москву?..» Нет, в том году он не приехал, он вообще долго не приезжал в Москву, во всяком случае тогда, когда был особенно востребован моим сердцем. «Один гектар неба», «Дни любви» – простой парень, будто с конвейера завода Ильича, в майке, в обнимку с велосипедом и моей соперницей Мариной Влади. Он приезжал много позже, уже после моего развода, дружить с Михалковым. Но и тогда мы не встретились. Он так и не узнал, что много-много московских ночей последнее, что я видела, прежде чем впасть в самый глубокий сон, были его черные, блестящие нефтью, самые итальянские глаза. Моя маленькая месть: позже в той же Москве, в год большого фестиваля я смотрела в бабочку-галстук самого Де Ниро после его фантастической игры в «Однажды в Америке»..., но об этом как-нибудь в другой раз.

«...в стране, где я прожил тридцать два года, прелюбодеяние и посещение кинотеатра суть единственные формы частного предпринимательства... мы явно вели вымышленную или вымороченную жизнь». И.Бродский.

Кажется, без особых потерь добираюсь до своего места. Проверяю еще раз по билету – да, мой одиннадцатый ряд, место – прилично с боку, но убеждаю себя тем, что фокус под углом точнее ложится на экран, кто-то мне объяснял. Откидывающееся сиденье опускается до упора вниз, теперь успеть придавить телом, чтоб не выскочило с грохотом в свою вертикаль. Еще вожусь, пристраиваюсь, ничего, без меня не начнут. Никакой форс-мажор не отменит сегодняшний утренний десятичасовой сеанс, раз я уже – в кинотеатре. Единственное, что осталось, выстроить персональную зрительскую дорожку к экрану. Тогдашние кинотеатры в большинстве своем не знали чудесных свойств амфитеатров, либо нарочно их игнорировали. У советских собственная гордость. Задние ряды почему-то всегда были намного ниже уровня любого из морей. Так, утопленная, примериваюсь к долговязому перед собой и к неудобной шляпке с предыдущего ряда. Бывало, в течение всего сеанса приходилось покачиваться уставшей кувшинкой, сохраняя прицел. «Девушка, не вертите головой, ребенок за вами ничего не видит»...

Есть еще пара секунд перед погружением, обвести взглядом зал: полон ли? Еще бы... Воздеть глаза люстре – хрустальная. Вот кто-то медленно начинает задувать свечи хрусталей. Почти физическое наслаждение. Историю предваряют титры, ползущей лентой с коробки печенья. Особенно остро впиваюсь взглядом. Мелькнувшая знакомая фамилия согревает, как двойной бурбон. О, Джанни ди Венанцо! Любимый оператор Антониони. Невероятно хорошо. Последним проплывает год выпуска... Нырнули...

Вскоре пришли времена строить новые просторные кинотеатры: «Космос», «Россия». В кинотеатре «Космос», занимая очередь в самом низу его эйзенштейновской лестницы, я с удовольствием по пять-шесть часов стояла в очередях за абонементом на международный кинофестиваль, который проходил в Москве всегда по нечетным годам. Всезнайки в очереди подкидывают информацию – в каких кинотеатрах уже прошли фильмы Трюффо или Бергмана, кого из заявленных звезд уже встречали в Шереметьево-2 (Софи Лорен и Жан Маре приземлились), кто к нам еще собирается, а кто и отказался.

Американские широкоформатные, как сейчас бы сказали, блокбастеры крутили в зимнем спортивном зале в Лужниках, не дублированные, под переводчика. Таким невероятно смешным американским фильмом в нашем прокате был «Этот безумный, безумный, безумный мир». На арене громовой хохот. Я тоже смеюсь до слез, поглядывая то на сестру, сидящую слева, то на маму – справа. После здорового смеха в теле еще надолго запас энергии, в душе – полета. Другим, замечательным, также американским оказался «В джазе только девушки». Досматривая его последние кадры, я уже знала про себя, что, выйдя из кинотеатра «Форум», непременно встану в очередь, чтобы взять билет на завтра на девять часов утра, потому что на другие сеансы билеты, конечно, уже давно распроданы.

Китайский мальчик

«Откуда столько здоровья?» – негодую я, перед выходом бросая взгляд на себя в зеркало. Вязаную шапку я тяну пониже, чтобы ее краями прикрыть круглые щеки.

Если перейти Проспект мира и на нашей остановке «Банный переулок» сесть на троллейбус номер сорок второй, сорок восьмой или красную двойку, то он потянет прямо, пересечет Садовое, на Лубянке повернет на Кузнецкий Мост и встанет, отдуваясь, на своей конечной остановке напротив «Детского мира». От его конечной мы – я и моя сестра – спускаемся вниз до ЦУМа, от ЦУМа идем направо до Художественного салона, а от него – вверх налево до Столешникова переулка. В начале переулка – кондитерская с вкуснейшими пирожными. Пирожные выставлены на лотках в витрине. Каждое из них имеет свое лицо и название. Хрустящие слоистые «наполеоны», чей верхний слой мохнатый от крошек и сахарной пудры, «эклеры», прячущие внутри своего торпедного тельца заварной крем, если повезет, шоколадного цвета, ребристые розочки корзиночек, снежки «безе» и моя любимая «картошка» – крепкие темно-коричневые кулачки, посыпанные какао или залитые глянцем, сверху два, три белых глазка.

Сегодня мне и моей сестре выдали деньги на посещение кондитерской на Столешниковом. Нас отпускают одних. Значит, мы совсем уже взрослые. Моя худая сестра с ключицами и острыми локтями, которая никогда не поправляется, демонстрирует столь же худосочный аппетит. Она выбирает один эклер с шоколадной начинкой, и я уговариваю ее еще на одну картошку. Она останавливает свой выбор на фруктовой корзиночке. Я уже по дороге в троллейбусе продумала свой кондитерский заказ. В магазине я сразу прошу положить в общую коробку, кроме десерта для сестры, две картошки для себя, посыпанные какао, два эклера и один наполеон. Есть пирожные, которые я не беру, вот корзиночка, например.

Многие покупатели лакомятся пирожными тут же, в кондитерской, за высокими одноногими столиками. Мы делаем то же самое. Ставим белую коробку на столик, освобождаем ее от путаной веревочки и открываем крышку. Бросаем последний взгляд на пирожные – я лично вздыхаю – теперь берем каждая по своему пирожному, надкусываем и смотрим сквозь большую стеклянную витрину на Столешников переулок, по которому спешат люди. Люди торопятся недаром. На дворе – вторая половина декабря. Предновогодняя стремнина увлекает за собой в водоворот все больше москвичей. Сестра довольно скоро справляется со своими пирожными и отходит к прилавку посмотреть на выставленные в нем торты и восточные сладости. Я одна за столиком. За большим окном медленно идет пушистый белый снег. Медленный снег подхватывают шапки и меховые воротники спешащих москвичей и несут на себе на большую красивую улицу Горького. Я смотрю на снег и плачу. На воротник и пуговицы моего пальто осыпается сахарная пудра с погон Бонапарта. Я плачу слезами. Я знаю, что мне теперь никогда не похудеть, во всяком случае, до Нового Года. Я буду носить свои круглые щеки и до Нового года и после него. «А как же мальчик?» – задаю я себе мысленно вопрос, доедая последнюю картошку. Я испытываю настоящее отчаяние.

«Эх. Зачем столько здоровья?» Очень редко, когда температура. А как было бы замечательно поболеть перед Новым Годом, поболеть, похудеть, побледнеть. Почитать книжки дома, порисовать. А потом выйти в школу сразу двадцать восьмого декабря на объявленный нам уже новогодний карнавал, объявленный заранее, чтобы мы приготовили себе маскарадные костюмы.

Возвращаясь тем же троллейбусом, обратным маршрутом, я думаю о карнавале. Я уже знаю, что Ниночка будет царицей Ночи, моя сестра Лена – второй царицей Ночи. Подруга Алена пока не решила, но я тоже еще не решила, кем быть, но склоняюсь к китайскому мальчику. У нас из Китая много фантастической одежды. Одни мамины халаты с вышивками райских птиц, пионов и бабочек могли бы затмить все театральные и карнавальные костюмы разом. Но халаты слишком длинны и слишком белоснежны для наших серых школьных коридоров. У меня есть шелковая китайская пижама красного цвета, тоже с вышивкой – штаны и кофта на вычурных петлях. Я вполне могу быть китайским мальчиком. Да, бледным китайским мальчиком в красном, при императорском дворце, в меру угнетенным, но умным, читающим много книг и рисующим черной

тушью белых аистов. Такой сложился у меня мой собственный карнавальный образ. Теперь остается его достичь, но чтобы его достичь, надо избавиться от некоторых вещей. Во-первых, убрать эту розовость щек. Похудеть. Не может быть угнетенный мальчик с розовыми круглыми щеками в красной пижаме...

Надо совершать поступки. Какие я могу совершать поступки, чтобы приблизиться к образу? Чтобы похудеть и побледнеть – для этого лучше нет, чем заболеть. Тогда как я могу заболеть? Очень просто. Я куплю шесть порций мороженого в стаканчиках. Три порции отдам подружке, чтобы она меня поддержала, потом она любит пломбир в стаканчиках – и с моим планом, думаю, согласится. Но чтобы по настоящему заболеть, мало съесть три порции мороженого, тут нужно добавить нечто особенное. И я уже знаю, в чем это особенное должно заключаться. Купив мороженое и зайдя в наш двор, надо будет снять обувь и ходить по двору босиком, как Зоя Космодемьянская, так ее водили немцы по двору, и мы будем как она, ходить босиком по снегу, но только с мороженым. Сверху – холод и снизу – холод. Я думаю, наступление с обоих фронтов должно подействовать. И уже назавтра я затемпературю... и буду лежать дома в кровати, бледнеть и хорошеть.

Вот так, прокрутив примерно такую схему под вязаной шапкой в троллейбусе, я начинаю ее осуществлять. С рублями, выпрошенными у мамы на подарок сестре на Новый Год, забегаю к подружке, благо, соседний подъезд, увлекаю ее идеей заболеть, одновременно поев мороженого. И вот мы уже едим мороженое и ходим, стянув ботинки и теплые носки, в одних чулках вокруг дворовой клумбы. В девять часов вечера я возвращаюсь домой с мокрыми ногами и, даже не переобувшись, первым делом гляжу на себя в зеркало с надеждой обнаружить первые признаки ОРЗ – острого респираторного заболевания. Но на меня из зеркала, очевидно дразня меня, пялится все то же несокрушимое, тотальное здоровье, облаченное в уже даже не розовые, а рдяные щеки и круглые блестящие не китайские глаза. Глядя на такую картину в раме, я понимаю, что ни о каком угнетенном мальчике речь идти уже не может, а изображать девочку с персиками было бы чересчур фигуративно.

Итак, я подвожу неутешительные итоги. Царицей Ночи я не могу быть, потому что их уже две. Чарли Чаплиным заявился наш самый балбесный Витька, китайским мальчиком я не могу быть, так как выпала из образа. Карнавал оказывается под угрозой. Сам Новый Год. Конечно, я могла бы еще порыться в наших шкафах и своем воображении и натянуть на какую-нибудь Красную шапочку или украинку с лентами, но все это было бы уже не то. В последнюю неделю я совсем пала духом и нарочно стала чаще заходить на кухню и есть больше ватрушек за чаем и пить вместо одного стакана молока два стакана, назло всем персонажам. Накануне новогоднего вечера я выглядела уже как самое большое красное яблоко, стукнувшее по голове Ньютона.

Двадцать восьмого декабря я поднималась по школьной лестнице в тесной красной китайской пижаме, низко опустив голову. Совсем не явиться на маскарад я не смогла. Я прятала свои щеки и свое здоровье за гармошкой китайского веера. Мимо, в дурацкой шляпе, заменившей котелок, с усиками, нарисованными жженой пробкой, задевая меня тросточкой, шмыгал глупый Витька.

– А ты кто?– спросил он меня на бегу.

– Мальчик, – буркнула я.

– А....

Это единственное, что было сказано по поводу меня и моего новогоднего персонажа. Цариц Ночи было не меньше пяти. У одной был даже серебряный полумесяц на лбу из фольги и марлевый туман по плечам. В общем, все вышло совсем даже неплохо. Взявшись за руки, мы быстро побежали хороводом вокруг большой елки. Потом полетели конфетти. Я отвлекалась и к концу вечера выглянула из скорлупки своего неудовлетворенного «я». Вернее, я сидела на краю своей скорлупки и уже почти без обиды глядела на кружившийся вокруг меня разноцветно-веселый мир. А в январе много ходила на лыжах, в феврале простыла на ветру, катаясь на катке в нашем парке. В марте проболела две недели. И в конце месяца, наткнувшись на забытый в углу гардероба красный узел, развернув и облачившись в шелковый китайский костюм с золотой вышивкой,

увидела, наконец, себя в зеркале похудевшим мальчиком с бледными щеками – кадетом, пажом, мальчиком особенной красоты, той, которая осталась для меня навсегда недостижимой.

Прикладное и изобразительное

Если не считать похода в цирк в Свердловске в возрасте шести лет, где во втором отделении я полезла на плечи отцу по той же траектории, что и львы за минуту до этого с истинно королевским рыком (а я не королевским) на стальные прутья ограждения, – похода, который лично для себя я считаю неудачным, – знакомство с искусством началось для меня довольно рано.

Сенсорный голод утоляли белые мыши, по звонку разбегающиеся по вагончикам из Уголка Дурова, долгие парады с гривастыми львами и зигзагообразными драконами в Китае, новогодние елки в Колонном Зале, на одной из которых мне – снежинке – отсидели ногу, очень больно, и промежуточные визиты в зоопарк, где скучали как мы, так и звери. К культурным мероприятиям относились также воскресные прогулки по всенародной Выставке Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) с обязательным, по настоянию отца, посещением дегустационного зала.

Местом встречи с «изобразительным» и «прикладным» искусствами долгое время служил комиссионный магазин, иногда целый ряд таких магазинов на Арбате и – улице Горького. В тур за искусством по субботам уводила нас из дома мама. Войдя внутрь магазина, она тотчас скрывалась за дверью с надписью «прием вещей на комиссию», откуда переходила в кассу, оставляя меня с сестрой на какое-то, часто долгое, время скучать в зале. Но я никогда не скучала. В такие минуты, сама Изобразительность, благожелательно взяв меня под руку, подводила к прилавку, который в те годы приходился как раз на уровне моих глаз. Абсолютно все вещи, выставленные на прилавке и расставленные на полках за ним, обладали музейной ценностью. Китайскими музейными экспонатами снабжала магазин мама. Вдосталь насмотревшись на чудесный мир под стеклом, подробно изучив ленивую аквариумную жизнь вещей, знающих себе цену, я поднимала глаза и обводила взглядом стены. В начале шестидесятых я видела много «левитанов», «поленовых» в тяжелых рамах, теснивших «айвазовских», и сколько еще на полу.

Да здравствует то обилие «камней», которое отец собрал в опасных зарубежных командировках (часто ему в виде посольских даров) и которое дало возможность маме разбрасывать их потом еще не один год по антикварным точкам и ломбардам. Со временем я научилась ценить самобытность серебряных сервизов поставщика двора Е.И.В. П. Овчинникова, различать истинную ноту «ля», которую эманировали вещи Фаберже, провидеть имперскую державность в частых алмазных лучах дворцовых брошей. Глубокие серебряные половники истинной пробы для бездонных супниц Гарднера чистотой формы говорили мне о достоинствах личности больше, нежели все уроки по эстетическому воспитанию.

Еще пару лет назад, зайдя по привычке в антикварный магазин на Мясницкой, я чудесным образом встретилась взглядом с нашими каминными часами с эмалью в форме беседки, которые помню, казалось, с рождения. На расстоянии вытянутой руки. Это было так чудесно и грустно одновременно. Как будто вместе с ними я попала внутрь стеклянного игрушечного шара с фигурками, стоит который потрясти, как начинает падать снег. Фигурками в ряд выстроились я, сестра, мама, папа, часы и пухлый голубой снег времени над нами.

Цена на ярлычке не позволила унести их с собой.

Вещи исчезают, конечно, не так быстро, как люди. Какое-то время они плавают кораблями по одним известным им морям, бросая якорь в чужих портах, откуда их разносят по резным горкам, угловым витринам, зеркальным трюмо – молчать. В сущности, ими никто не будет заниматься. Вряд ли кому-нибудь придет в голову остановиться, допустим, перед часами, чтобы с ними поболтать, как будто это не говорящие часы, а – немые камни. А я бы поговорила...

Часть II

Синдикатное хозяйство

Провидение, а возможно, волхование того же Брюса с Сухаревки привело меня на работу в здание, которое во время оно также принадлежало ученому мужу, дом на Мясницкой, она же улица Баумана, улица Кирова и – тпру, давай поворачивай вспять – снова Мясницкая. Номерок дома «тринадцать» без комментариев, и якобы неугомонный Якоб препарировал в доме номер тринадцать бородавчатых лягушек для своих опытов. Чудеса и чародейство.

В советские времена в доме номер тринадцать лягушек не препарировали. Издавали иллюстрированный журнал, посвященный профессиональным проблемам рабочих союзов, синдикатов в интернациональном смысле. В левом крыле нашего этажа размещалась редакция другого не менее славного журнала – «Рационализатор и изобретатель». Сюда на второй этаж поднимались и в дождь и в снег Кулибины, Черепановы, Левши – донести свои изобретения до народа. Частенько, ошибаясь дверью, они заглядывали в наш отдел, и тогда мы махали им рукой: «Ребята, вам туда, туда, в левое крыло», где они и пропадали. Возможно, там их препарировали или они сами... Русский народ изобретательный.

В год, когда я вылетела из престижного вуза многообещающих отношений за непосещаемость, а посещала я исключительно только утренние сеансы в кинотеатрах и дневные, кстати, тоже, мама взяла меня за руку и, проведя под арку в районе Чистых прудов, сдала своей знакомой в редакцию журнала на работу. Бабочки-инфанты на углу Мясницкой, как мне зацепиться за вас покрепче, я не хочу на работу. Я люблю гулять по улицам, вернее по бульварам, по Рождественскому, вниз к Трубной и дальше по Петровке...

О, работа, ты стоишь того, чтобы вспомнить тебя добрым словом. Сознаюсь, перед тобой я испытывала культурный шок. Ведь именно тебя следовало посещать регулярно с утра пять раз в неделю. Устраиваемая по протекции родителей, я выходила на новое место работы, и не один раз. Мне указывали на мое место. Обычно то был стул и стол, и на затравку давали почитать какие-то инструкции. В комнате находились еще сотрудники, но у меня никогда не хватало времени, чтобы сблизиться с ними, узнать их надежды и чаяния. Я знала, что мой отсек может продержаться максимум пару часов, иначе я задохнусь, иначе я задохнусь. Мысль работала только в одном направлении – выбираться, и немедленно. Может быть, я бы и задержалась на какой-нибудь службе, будь у меня свой личный кабинет (запершись в нем ото всех), но отсутствие навыков, стажа, партийного билета не давало мне преимущества претендовать на отдельное помещение. Я скользила глазами по инструкции, считая минуты, когда можно будет вполне естественно двинуться к коридору... «кстати, а где здесь у вас туалет»?.. Как-то попалась работа, на которой я досидела до обеденного перерыва. Оставив на спинке стула кофточку, мысленно прощаясь с ней навсегда, я небрежно бросила: «Я сейчас приду». Чем долее пребывание внутри учреждения, тем глубже с отдышкой – восстановление на крыльце. Бедная мама, ей приходилось на следующий день наезжать в отделы кадров с извинениями и шоколадными наборами, чтобы забрать мою трудовую книжку без неприятных записей.

И только в редакции невеликого журнала на Мясницкой я продержалась весь день и вышла на работу на следующий. Все-таки журналистский народ особый. Легкий. Определили меня в отдел писем их регистрировать, что было совсем не трудно, даже интересно: на картонной карточке проставить адрес отправителя, развернутый во всей административной полноте, и тему письма. Через месяц я лихо подмахивала адрес с указанием области, а через три знала на память уже такие вещи, которые в нашей семье мог знать только отец (отец был летчик, и у него была карта), но никак ни мама и ни сестра. Я знала, допустим, что поселок Козелец – это Черниговская область. В Козельце жила одна особо отчаянная жалобщица. Большинство отсылаемых трудящимися в нашу редакцию писем оказывались жалобами. Я так и ставила – «жалоба». Порой для отдела культуры слали примеры собственного творчества: «...луна, желтая, как дыня смотрела тускло на меня. Я ждал, когда мой конь остынет, чтоб напоить потом коня».

Отделы в нашей редакции делились на более и менее привилегированные. Отдел теории профсоюзного движения был самым путаным. В нем работали самые большие говоруны. Отдел ОПМР, что отнюдь не означало отдела производственно-механических работ, был по-настоящему деловым. Все его сотрудники носили складки на лбу. У начальника отдела их было две – поперечная и продольная. Экономика страны развивалась по-своему. В процентном отношении, практически всю жменю процентов, отдел обязан был посвящать промышленным успехам. Опэрэмовцам приходилось нелегко. Самым элитным и искушенным отделом слыл отдел международных отношений. Двое его сотрудников и выглядели не по-нашему: один, имея уже пиджак в клетку, а другой – замшевый, – они еще по два раза в неделю меняли галстуки и водолазки, чего не могли позволить себе, допустим, сотрудники отдела сельского хозяйства, так как международники грузились в командировку с Белорусского вокзала на синий поезд на Софию, а те, другие, грузились на площади трех вокзалов в серо-зеленые составы – на Пермь.

У международников была своя небольшая комнатка, как кают-компания, где на столе были разложены разноцветные вымпелы, флажки, сувениры из братских стран, в которые они наезжали делиться опытом. Они писали об успехах международного профсоюзного движения, будучи сами всегда в хорошем настроении. В шкафчике их кают-компании между справочниками всевозможных движений всегда был запрятан для своих веселый дружелюбный коньячок, подарок болгарских либо венгерских профсоюзов. Когда долго не случалось международных командировок, в угол шкафчика задвигали скромный армянский коньяк, очень качественный, под лимончик.

В редакции надо мной взяла шефство девушка из отдела напротив – то был уже серьезный отдел – то ли сельского хозяйства, то ли некоей промышленной отрасли, а то и всей промышленности сразу. Звали ее Тая. С глазами цвета лесных ягод, которые попадаются счастливчикам, рожденным на Дону или уже в Ирландии. Тая была казачкой. Она приоткрывала дверь в мой отдел писем и просила позволения у Тамары Георгиевны, начальницы отдела, добрейшей тетушки, державшей всегда на коленях под столом свой второй приработок – почту других редакций, и оттого вздрагивающей на каждую приоткрывающуюся дверь, просила позволения, чтобы я вышла в коридор. Все это время смотрела на меня своими веселыми блестящими глазами и улыбалась. В коридоре мы курили, посмеиваясь, перебирая приглашения на вечер. Она шила мне сарафаны, кормила мясом, запеченным в глиняных горшочках, у себя дома и давала читать неизвестную книжку своего мужа «Школа для дураков», который, кажется, в том же году, да просто осенью того же года, выехал за рубеж. Когда я прочитала эту тоненькую книжку в мягкой обложке, которая лежала у нее в тумбочке, я влюбилась в ее уехавшего мужа. И, кажется, на всю жизнь. Хорошо, что он уехал. Она оставляла на меня свою маленькую дочь, когда бегала на свидания, учила какой-то женской премудрости. Пожалуй, вся история на несколько лет.

Я уверенно ходила на работу в редакцию, часто пешком, по Первой Мещанской до пересечения с Садовым кольцом, после чего еще немного по Сретенке до Чистых прудов и свернуть узким переулком прямо во двор редакции. Я летела на весенний день субботника двадцать второго апреля, когда отмывалась вся редакция – никаких верстак, планерок, вычиток, макета, а только двери, стекла, полы, шкафы – отмыть деревянных друзей под репродуктор, под Магомаева, под Лещенко. «И на Марсе будут яблони цвести». Субботник следовало отметить у кого-нибудь дома, как полагается, подвести под общий знаменатель. И у кого, как не у моей хлебосольно-приветливой подруги. Я ликовала. Отмыть! Вечером я смогу погладить незаметно тумбочку. В стране набухала капель оттепели. Мы просто заливались вермутами на работе, теплея. И в самые холодные дни штат редакции напряженно прямо шагал по коридору с красными носами отнюдь не от мороза. Так и вижу одного нашего собкора, маленького, светлого, в волнистых кудрях, а ля Есенин. Его волосы имели особенность становиться навытяжку при поддаче. И бывало, когда он продвигался по коридору почти на ощупь с торчащими дыбом волосами, мы примерно знали, сколько он уже принял и каких марок. Оттепель была в батареях и на лицах.

Так как я носила для всех письма, то и отделы в свою очередь часто, почти каждый день, просили меня принести им с Мясницкой бандероли в виде бутылок.

– Ты, Кука, – так меня прозвали, думаю, за мою всеобщую безмятежность, – наставлял меня сотрудник отдела сельского хозяйства без десяти одиннадцать утра, – возьмешь в магазине напротив, у которого три ступеньки вниз – две бутылки водки. Тут голос второго сотрудника перебивал пожелание первого.

– Что ты ей водку. Сам возьмешь потом... Нет, возьми нам две бутылки портвейна.

– Евгений Михайлович, я уже для нас, «для писем» беру в магазине с тремя ступеньками вверх бутылку шампанского, две бутылки вина – для теоретиков и коньяк для девочек-машинисток. Мне тяжело будет столько вам нести.

– Ладно, бери одну. Но запомни, наш портвейн – только в магазине со ступеньками вниз. И давай, Кука, не мешкай. Уже одиннадцать. Мы тебя ждем.

– А сыру, колбасы на закуску? Я все равно беру.

– Не надо. У нас яблоки есть. Давай, главное помни, мы тебя ждем... Петрович, пойди пока сполосни стаканы...

Немаловажным знаком моей дружбы с девушкой из соседнего отдела было то, что мы легко могли перехватить друг у друга некоторую сумму денег до получки.

Вступали мы тогда, как все уже поговаривали вокруг, в эпоху – «от каждого по труду и способностям, каждому – по потребностям». По труду я честно старалась, но вот потребности неизменно оставались почему-то неудовлетворенными. Потребностей, сознаюсь, было много. В них входили: пара джинсов голубых, лучше две пары «Wrangler» или «Levi`s», других марок я не знала, сапожки итальянские одни замшевые, а другие на зиму или наоборот, первые – но всегда итальянские – осенние, а вторые замшевые на зиму, пальто демисезонное длинное со шлицей одно, можно на шесть, семь сезонов. Ну, и по мелочам – кофточки на работу, косметика польская.

Случались такие дни, когда, потупившись, несмело, подступалась я к книжным полкам.

– Федор, Михайлович, вот, эдак, не обессудьте, пора собираться.

– Что, опять? Нет, это положительно невозможно. Это что ж такое, полное разорение!

– Мне самой неловко, да в редакции у начальницы день рождения. Цветы надо и в довесок там сувенир.

– Сувенир? Знаю я твою редакцию. У вас на дню у каждого по три дня рождения. Никуда я не двинусь. Решительно никуда.

– Ну, голубчик, войди в положение, ты же – собрание, за тебя хорошо дадут.

– Льва возьми, за него больше дадут.

– Льва Николаевича я уже носила.

– Носила, носила... Его – один раз, а меня – в третий. Стыда у людей совсем нет!

– Но я же тебя всегда восстанавливаю.

– Доверие не восстановишь. Не любишь ты меня, Наталья. Небось, забыла, на какой странице Раскольников старуху угрохал?

– Как же можно Вас забыть. Я ведь, хоть это, ваше «наказание» семнадцать раз читала, а пересказать своими словами, что у Вас за чем, ни разу не смогла. Вот какой вы – мастер.

– Ладно, не подлизывайся... День рождения у них, пусть мужики тратятся.

– Они потратятся. Выпивку принесут.

– Конечно, принесут. Этого я как раз не опасаюсь, что они вас без разведенного спирта оставят. Эх, широк человек, сузить бы вас всех. Ну ладно, давай, пакуй. Но чтоб в последний раз, кости-то старые, по полкам прыгать. Куда понесешь, небось, в Замоскворечье, к купцам?

– Да что Вы, Федор Михайлович, Вас, как можно? Через проспект, к мещанам понесу, люди все молодые, грамотные.

Что ж, в одну осень носила в букинистический магазин собрания сочинений: Шекспира – один раз, Толстого – один раз, Достоевского Федора Михайловича – три раза.

Денежный вопрос был основополагающим для меня в тот период. «Удивительно, – часто размышляла я, – как это у моей сестры выходит сэкономить еще десять рублей до следующей получки, при том, что она всегда при маникюре, раз в полгода химия и пара чулок капроновых у

нее всегда в запасе, и блок сигарет непочатый в серванте». Нечто из разряда аттракциона Кио в цирке на Цветном бульваре. В своей реальности один только раз я встретилась взглядом с мятым выцветшим рублем под киоском с мороженым, и, сообразив, как это много, нежно подхватив его, побежала звонить подружке, чтобы тратить на сигареты и кофе.

Думала я, думала и, наконец, осознала, что на вопрос: «где мои деньги?» и «когда они ко мне придут?» может ответить мне только гадание, в лице представительницы этой профессии – цыганки. Цыган в Москве, в районе рынков, газонов и клумб видела я предостаточно. Обычно они стояли передо мной в очереди в ломбарде, куда я относила закладывать, перезакладывать свою тонкую золотую цепочку. И когда табор оказывался впереди, я уже знала, что это надолго. Мужчины их, кстати, никогда не стояли. Стояли женщины в многослойных юбках, суетливые, громкие, с тяжелыми золотыми серьгами в ушах. Цыганские бароны в обуженных пиджаках подходили, когда очередь была уже перед самым окошком, деловито доставая из-за пазухи увесистый шмат золота, завернутый в тряпицу. Цыган и на вокзалах всегда было много, но не пойду же я на вокзал. И потом должна быть рекомендация, что гадание качественное, без обмана. Но когда про что-то усиленно думаешь, оно к тебе тоже навстречу движется. Пошел по коридорам нашего здания среди женщин слушок, что есть в Москве на Маяковке квартира, где отменно гадает цыганка, а таксу за гадание берет в пять рублей. Если в то время сто граммов сыра стоили тридцать копеек, а сто граммов свежемолотого кофе «Арабика» – тридцать три копейки, то пять рублей – сытая неделя.

В первую же получку, отдав долги и заняв пять рублей на цыганку, я и еще одна журналистка, у которой были свои чаяния, отправились по указанному адресу. Встретила нас в подъезде вытянувшейся лентой очередь на пару маршей, которая нас даже вдохновила. «Ага, – решили мы, – к плохонькой цыганке, которая врет, – очередь стоять не будет». Заняли мы последними, думая, пройдем до обеда или нет? Отлучались во двор покурить.

Долго ли, коротко, но вот я уже и сижу перед цыганкой за круглым, накрытым шалью столиком. Атмосфера мистическая. На столе свеча пламенем дергается, в руках гадальщицы карты скоростными лифтами носятся из одной смуглой ладони в другую. Все по чину. Цыганка худая, волосы жесткие смоляные, пальцы длинные, глаза черные быстрые, и тоже курит, как и мы, журналистки. С виду так настоящая гитана. Ну, раскинула она на меня и в начале гадания смутное что-то сказала про трефового короля, что, мол, он на пороге. На что и я про себя миролюбиво отметила: «очень хорошо, пусть себе ждет на этом пороге, мне пока не к спеху». Мне соседка юбку как раз заканчивает дошивать и, может, в следующем месяце я с квартальной премии подходящий шифон в ГУМе себе на платье подберу. На шаль дальше гляжу, прокуренные пальцы так и мелькают перед глазами, гадание быстро идет. «Болеть будешь, – вещает смуглая, – выздоровеешь». «Ладно, ничего поболеем, – смиряюсь я, – тем более, выздоровею». Жду главного, чувствую, что гадание к концу идет, а сокровенное, из-за чего я пришла, чтобы мне на потребности, о нем еще ничего не слышу. И понемногу нервничаю. Приостановилась цыганка и уже шалью карты хочет накрывать. Тут я осмелела. Решила – что мне – я ее вижу в первый и последний раз. Она на планерку не придет к нам в редакцию, не скажет, что советские журналисты разговор о деньгах ведут. Да, вот это слово произнести. Осмелела я. Когда еще займу пять рублей?

– А деньги у меня будут? – спрашиваю.

Удивительно, что она карты и не перетасовала, и не взглянула в них. На меня быстро взглянула своими черными глазами, один еще косил, ну настоящая цыганка, и с некоторой даже злостью бросила в ответ.

– Деньги надо заработать!

И закашлялась. Кашель курильщика, понятно. Признаюсь, я на секунду опешила. «Хорошо это или плохо для меня – такое гадание?» И уже спускаясь по лестнице, решила, что для меня все вышло очень хорошо. «Надо же, и в карты не посмотрела. С какой убежденностью она мне это гадание выдала, с какой энергией. Надо заработать! Здорово». Не помню, как подружка, но я уходила с площади Маяковского очень довольная. Значит, они есть, эти деньги, то есть они

существуют. Это не миф, просто их надо заработать. И часто, сортируя почту, надписывая адреса на конвертах в своем теплом отделе писем, я на разные лады перебирала про себя это гадательное слово «заработать». Как и чем заработать, оставалось пока не ясно. Ясным оставалось пока одно, что надо сперва получить получку, отдать вместе с другими долгами цыганский долг, а потом занять еще пять рублей, чтобы идти уточнять детали, пусть бы она раскинула в другой раз гадание своими прокуренными пальцами. Правда, через месяц я уже на какую-то другую потребность, духовную, конечно, занимала, но глагол «заработать» не забыла.

А тем временем все вокруг стало как-то меняться: слова новые появились – «кооперация», «защита прав». В Варшаве профсоюзы забузили, наш журнал на своих страницах на это по-братски откликался не один раз. Но самый громкий отклик прозвучал, когда один из наших сотрудников из экономического отдела, то есть хорошо знавший экономику нашей страны, приобретя туристическую поездку, уехал на автобусе за границу. До Голландии не доехал, сошел в Германии и пошел пешком на их местную радиостанцию свободы, там и остался. Мы всем нашим редакционным коридором за очередной выпивкой единодушно сошлись на том, что это у него психическое. Действительно, многие наши журналистки отмечали, что когда Володька перебирал, то быстро становился невменяемым и даже диким, особенно по отношению к литературным работницам, корректоршам и машинисткам.

Однако, времена хоть и застойные, но тоже по-своему продвигаются. Дни, все рабочие, идут один за другим. Как-то тоже днем открывается дверь и заходит в отдел Лариса – девушка, которая перепечатывала нам ответы на письма, работая на дому. Кладет она начальнице на стол пачку перепечатанных писем, а мне знак показывает: «Выйди, мол, в коридор, кое-что сказать тебе хочу». Я вышла и слушаю ее.

– Мне сегодня идея одна пришла в голову... наконец-то, – говорит Лариска. – Предлагаю после работы пойти прямо к тебе. Купим по дороге муки, соли, в кране вода у тебя есть. Наделаем драконов. Наступающий ведь год – дракона?

– Да, вроде, дракона, – неуверенно отвечаю я.

– Ну вот, налепим драконов, раскрасим, продадим и заработаем.

Я быстро согласилась. Даже пораньше у начальницы отпросилась домой, вроде мне надо в ЖЭК зайти справку взять, а ЖЭК наш только до пяти часов работает. Дома мы все так и сделали. Только мои драконы по сравнению с Ларискиными вышли какие-то вялые, сонные. В духовке не хотели закаляться, трещины давали по хвосту. Не знаю, может, я их мало в жизни видела. Может, я только с натуры леплю. Но зато у подружки, мамочки мои, какие же у нее замечательные драконы вышли: с рожками, с хвостами. Она как-то так грамотно распорядилась своим килограммом муки и соли, что у нее, кроме драконов, вышла еще и цыганка-копилка, и турок-копилка, и свинки-копилки. И все такие веселые яркие.

– Ларка, – говорю я ей, – талант не пропьешь.

Но в последнем пункте, идти продавать, она как раз засмущалась, но тут я ей подмогла, решительно предложив:

– Пойдем в первое же воскресенье на Рижский рынок с драконами, станем где-нибудь с боку у входа, если милиционер покажется, мы драконов в сумку спрячем.

В общем, объединили мы наши творческие энергии. Как решили, так и сделали, так и заработали. Ну конечно, от каждого по способностям. Я только одного из своих четырех драконов продала, а Лариска – всю коллекцию с турком и поросятами. И так у нее это дело пошло. Очень скоро она на Измайловском рынке весело зарабатывала по воскресеньям, потом в салоне на ВДНХ выставляла свою лепку и в других художественных салонах. И даже в Париж какой-то коллекционер повез, что называется, ее «работы». Пришло, значит, такое время – зарабатывать.

Психодром

Четыре часа ночи. Двигать или не двигать? Все, успокоиться и ложиться спать. Но ведь всегда находила. Где-нибудь он да есть – под батареей, например. Нет, под батареей я смотрела. Так, пятый час. Это что, порядок? Распорядок дня? Но ведь не усну... И нервы успокоить. А вдруг под холодильником не один бычок, а два. Какое тут спать. Ведь хотела еще три билета почитать. Не смеши окружающих, какие три билета, когда из шестидесяти восьми или семидесяти трех экзаменационных билетов ты всегда знаешь хорошо только один билет, максимум полтора. И этот один билет тебе никогда не попадается. Да, а что если я увлекаюсь. Вот я беру учить, ну допустим, про времена Ивана Грозного, ну и вот, и увлекаюсь. И я уж про этого Грозного все узнаю, и как он шведскому королю писал, что тот чухонский сын, а королеве Елизавете в Англию, на какое-то послание, что она даром что девка – дура и таких же дураков слушает, как ее окружение. Но это у меня никогда не спрашивают, какое было настроение у Грозного. А мне всегда интересно про настроение.

Эти экзамены, когда они только уже закончатся в моей жизни. Даже если я уже на каникулах, на море, весь день на пляже, в виноградах и сливах, ночью мне непременно приснится, что я сижу в классе за партой. И это непременно шестой класс. И вот я за этой партой сижу и обдумываю, что мне в очередной раз надо пересдавать какое-нибудь марксистско-ленинское учение, лишенное всякого настроения, или иную какую-нибудь суровую дисциплину. Как же, рассуждаю я во сне, – мне ведь еще школу надо закончить, перейти в седьмой класс, а тут параллельно еще и пересдача на третьем курсе. Вы уже что-нибудь одно, товарищи фашисты. Но какова реальность, таковы и сны. Это я тоже понимаю. И не ропщу.

...Так, успокоились. Будем действовать по порядку. Во-первых, холодильник я подвину. Если отыщу под ним бычок, то я его докурю и лягу спокойно спать. Больше мучить себя не буду. Чего я не знаю, я не знаю, тут – как фишка ляжет. (Практически я ничего не знаю.) Но тут надо признать, есть много предметов, которые не требуют, как бы точнее выразить свою мысль, скрупулезных знаний. Я не на хирургическом факультете, а все-таки – на журналистике. «Мели, Емеля, твоя неделя». Есть такие предметы, где о многом можно догадаться, многое расцвести своим словами и так далее. Да вот пример. В прошлую сессию сдавали мы западную литературу. Попался мне Лопе де Вега. По его поводу в моей памяти крутились только два испанских слова, оба назывные – Эстрелья и Эстремадура. Ну и что, и не пропала же я. И от кого-то я слышала у психодрома (площадка с двумя скамейками у памятника Ломоносову, напротив факультета журналистики на Моховой), что де Вега – поэт плаща и шпаги. И начала я вкруг той шпаги плащ наверчивать.

– Все героини великого испанского драматурга, – начала я, – своего рода Эстрельи, такие черноглазые живые плутовки, за сердце которой сражаются под окнами Эстремадуры испанские же идальго, – вот, пожалуйста, уже и третье слово, правда, то больше от Сервантеса.

Меня с ответом моим никто не перебивает. Плащ развевается, шпага колет. А ночь у них, как нам еще Александр Сергеевич (невыездной) подсказывал, лимоном и лавром пахнет, а не каким-нибудь зеленым крыжовником. И если Лопе де Веге с его драматургических гонораров и не хватало иногда на курево и приходилось ему порой двигать свою кобылу, чтобы вытащить из-под ее копыт свежий окурок, то он отнюдь не становился от этого печальнее и грустнее, как какой-нибудь немецкий романтик, а напротив, приземлившись на крылечке Эстремадуры, поев лукового супа, строчил дальше свои искрометные пьесы.

Вот преимущества такого предмета, как литература. Литературу при желании всегда можно сдать, не то, что исторические предметы. Когда на вопрос, когда был подписан акт Соборного Уложения, встает из позиции лежа всегда один только пылающий 1941 год. Нет, даты пусть выкладывают на железнодорожных насыпях по харьковскому направлению, как – HOLLYWOOD, тогда я их буду запоминать, стоя в тамбуре.

Трудно предугадать результат экзамена. Бывает, все гладко идет, а бывает – по правилу перевертыша. Идешь на экзамен, ничего не зная, то есть, зная, что ничего не знаешь. И идешь так

просто, на случай, если попадется у «психодрома» Сидоров, отобрать у него перепечатанного Набокова, что брал он на день, или идешь, как просил де Кубертен, «не побеждать, а участвовать». И вот у тебя в пальцах уже медузой Горгоной покачивается билет с вопросом «ассолюто инкогнито», но в эту минуту преподаватель, спохватившись, отлучается из аудитории минут на пятнадцать. Ты за это немалое время учебник на коленях листаешь, и многое по этому предмету тебе открывается, и ряд нужных фамилий ты уже запомнила, и факты осознала, и даже одну дату на первые семь минут в памяти схоронила. Отвечаешь профессору по его возвращении эдаким бакалавром. И своим ответом даже демонстрируешь углубление и развитие темы. И растроганный преподаватель совсем уже готов выставить тебе высший бал, но так как ты ни на одном семинаре не была, то выше четверки не получаешь. И с легким разочарованием спускаешься в буфет, заесть экзамен обгоревшей котлетой, к которой гарниром идет тушеная капуста, даже двумя обгоревшими котлетами. А потом с легким сердцем выходишь на крыльцо, на котором и Лермонтов стоял, жмурился, и Толстой щурился, стоя. Спускаешься к «психодрому», где все читают, как безумные, свои и чужие записки. И дальше идешь, и знаешь про себя, что ты и шестой класс закончила, а после него седьмой, следом восьмой, и в Университете зимнюю сессию почти закрыла.

А бывает, напротив, думаешь, это я сдам. И преподаватель сам еще из студентов, молодой не жесткий. Да и предмет, только языком плести. В голове уже прокручиваешь, что за чем, выстраиваешь диспозицию – войду с первой группой в аудиторию, а потом оттуда в буфет, котлету горелую возьму, коржик и из бака стакан черного кофе налью. А после буфета сразу домой спать. Вот с такими примерно мыслями входишь, билет тянешь, в него глядишь и через три минуты руку тянешь отвечать, потому что оттуда в буфет, а потом сразу домой спать. Так было и в тот раз. А вопрос в моем билете был выведен следующим образом: «Отношения КПСС с дружественными странами».

И трех минут не прошло, как я руку тяну, так мне отвечать не терпится. Ибо знаю я про отношения с дружественными странами достаточно, во всяком случае, чтобы огласить их, выстроив фразу минимум в четырех вариантах. И вот я – перед экзаменационным столом, с чувством собственного достоинства. В комиссии – два молодых экзаменатора. С места в карьер строю я свою первую короткую, но значительную фразу:

– КПСС всегда находился в дружественных отношениях с дружественными странами.

И в моем воображении КПСС этот – в твидовой кепке, а страны –такими крепенькими, в накрахмаленных юбках, польскими, чехословацкими, барышнями, надушенными дружественными же духами – болгарской розой. Ну, в каких отношениях они могут быть друг с другом? Ну, разумеется – в самых дружественных. Произношу я эту сентенцию и даже улыбаюсь сама от удовольствия. Но тут, как гром среди ясного неба, именно ясного, вдруг прозвучало от экзаменационного стола решительное:

– Стоп!

Прервали мой ответ. И на меня – быстрый и почти суровый взгляд, с построением вопроса совсем не рифмующийся. А за взглядом – даже легкий окрик:

– А ну-ка, повторите, что вы сказали?

Я даже глазами от удивления заморгала, захлопала. Неужели за ночь наш КПСС перестал находиться в дружественных отношениях, тем более – ясно же написано – с дружественными странами. Это было бы слишком сильно и неожиданно. Нет, такому не бывать, – решила я. Повторю-ка я все, как было. Куда ему деваться?

– КПСС, – очень отчетливо выговариваю, – всегда находился в дружественных отношениях с дружественными странами.

О том, что он будет находиться с ними в тех же отношениях в будущем, правда, промолчала. Кто его знает? Лучше не зарекаться. И что я слышу в ответ?

– Может, стоит выйти в коридор, подумать.

Ого, – забеспокоилась я. Здесь точно уже что-то не так. У меня в голове, конечно, много разных молоточков при разных работах. Но тут они все разом всполошились, застучали. В филоло-

гический сектор ринулись на подмогу. Друг на друга напирают, советы друг другу дают. «Давай, – стучат – вспять поворачивай, к этому КПСС, к буквам этим. Давай соображай, аббревиатуру разворачивай...». Так-то она мне не по надобности – КПСС и КПСС.

Ну, соображаю я следом за молоточками своими. КПСС?.. «Матушка родная, дай воды холодной». В момент у меня все стало ясно. Как же КПСС– он, когда это – оно. Комитато Чентрале. Я уже с полгода как ходила на курсы по итальянскому языку. У них, что и у нас, – КПСС одно в одно, то же самое – КПЧ – «Комитато чентрале партито». Ну, конечно – Оно.

Сообразила я и по лбу себя хлопаю.

– Ой, ну как же это я? Господи. Извините. Значит, так. Оно у нас всегда находилось в дружественных отношениях с дружественными странами.

Комиссия на меня тамбовскими товарищами уже не глядит, а сверлит меня тамбовской стаей в четыре зрачка. Вытребовали они у меня зачетку. Озвучили фамилию. И со мной уже, как с декабристкой, – «пройдите, мол, на эшафот». «Сдайте зачетку» – сорвать, значит, эполеты – выйти из аудитории. – И в Сибирь, на вечное поселение. Придете на следующий год. И все это, заметьте, – за дружественные отношения. Я чуть не зарыдала. Правда, ведь, тоже на моей стороне. Но кто же ты такой, КПСС? – возопила я к Небесам.

Просто угореть можно без подготовки. Но ежели КПСС – не он и не оно, неужели это – она...? Черепаха Тортилла на лотосе в пруду? Замерла я в полном недоумении. Но из аудитории пока не вышла. Еще борюсь за жизнь, за высшее образование. Ухватилась за край стола, как Ломоносов за телегу с мороженой рыбой, упираюсь. Не хочу на следующий год приходить. И тут один из моих молоточков, самый слабенький, мне в ухо раздельно пискнул тоненьким голоском:

– Коммунистическая партия Советского Союза.

Ой, я чуть на колени не грохнулась.

– Она это, она. Товарищи, не погубите. Затмение вышло...

Не стала со мной комиссия связываться. Не стала и дослушивать – в каких таких отношениях наша партия состоит с дружественными странами. Черкнули тамбовские гуманисты мне в зачетку росчерк. Главное – чтобы духу моего глумливого в университетском здании не было. А я даже за котлетой обгорелой в тот раз не забежала, и – мимо буфета, мимо «психодрома», Ломоносову только кивнула – и домой, спать. Заспать это высшее образование.

Улей

– Наталья, это тебя.

– Кто?

– Откуда я знаю?

– Скажи, что меня нет.

– Сама скажи.

– Але, да. Слушаю... Алик? Привет. Давно в Москве? Нет, не хочу. В другой раз. Сегодня нет. Просто так. Слушай, я, вроде, тебе уже ответила. Пока, пока.

– Лен, сколько раз я тебя просила не звать меня к телефону, особенно если Алик.

– Тебя к телефону. Не делай страшные глаза. Это, кажется, из вашей же редакции, Высоковский.

– Але! Димуля? Да, все хорошо, просто прекрасно. Подработать? Конечно. А что конкретно? Перевести статью про спорт, конечно, смогу. А с кем говорить? Подожди, ручку возьму, писать. Так... как они называются? Редакция «Советский спорт»? Кажется, они где-то поблизости от нас, спросить Николая Борисенко. Да, да, пишу. Спасибо. Ты один обо мне только и думаешь. Гонорар, конечно, отметим, какие разговоры.

– Алло. Редакция «Советский Спорт»? Попросите, пожалуйста, Николая Борисенко из общего отдела. Николай, здравствуйте, Мне ваш телефон дал Дмитрий, я с ним в одной редакции. Да, язык знаю, хорошо. Конечно, переведем. В двух словах, о чем там? Знаменитая итальянская

прыгунья в высоту, чемпионка Олимпийских игр? Нет, не слышала о такой, но это неважно. К какому сроку? Когда можно зайти, взять перевод? Завтра к одиннадцати часам удобно? Диктуйте адрес. Да, спасибо. Всего хорошего. До завтра.

– Лена, мне вчера никто не звонил, когда я выходила? Ты уверена? Нет, ты мне просто скажи, звонил мне кто-нибудь, ну там из редакции «Советский спорт»? Это точно? Точно, точно, что «нет», или ты не уверена? Знаешь, если ты не уверена, то лучше так и скажи. Ты могла быть в ванной или спускалась за сигаретами. С балкона, между прочим, вообще ничего не слышно, когда у нас в квартире звонят. Я к тебе не пристаю, ради Бога. Ответить, что ли, трудно.

– Лен, мне сегодня звонил кто-нибудь, когда я была на работе? Никто не звонил? То есть абсолютно и точно, что «нет», да? Нет, я перевод ему уже отнесла два дня назад. Конечно, заплатил. В общем, не звонил. Ладно, нормально, переживем.

– Ален, я сейчас ухожу в гости, если мне кто-нибудь позвонит, да любой, кто бы ни позвонил, ты по голосу можешь ошибиться, дашь вот этот номер. Скажи, Наташа находится по этому телефону и можешь еще добавить, что к десяти часам вечера я буду дома. Покажи, как ты переписала, чтобы правильно. Да, к десяти буду. А что там сидеть. Мы за три часа с девчонками все обговорим. Значит, с десяти часов мне спокойно могут звонить сюда, домой. Поняла? Я знаю, что ты не дура, ну давай, пока...

– Да, понятно. Да. Слышала. Можешь не орать... «мне никто не звонил». Успокойся, сама припадочная... пойди перекури, от такой же и слышу.

– Але, дядя Ваня? Иван Петрович? Как вы там? Да я... а у меня отгул сегодня, я к вам завтра зайду чай пить. Да все прекрасно, я что звоню... в общем, только вы, дядя Ваня, мне можете посодействовать. Да нет, ничего страшного. Просто тут одна, в некотором роде, история. Представьте, один сотрудник редакции «Советский спорт» привез и оставил у меня на балконе улей с пчелами. Нет, еще не покусали. Странно, что он сказал, что на следующий день их заберет. А прошло уже два дня. А он не забирает. И все бы ничего, но пчелы летают, сами понимаете. А я не могу выйти на балкон полить цветы. Не могли бы вы перезвонить к ним в редакцию, попросить их завхоза, ну да, соартельника вашего, чтобы он навел порядок. Пусть бы он обязал своего сотрудника, Борисенко его фамилия, чтобы он приехал и забрал с моего балкона свой улей с пчелами, или, по крайней мере, перезвонил мне. Да, дядя Ваня, только на вас одного и надежда. Да, хорошо бы поскорее, они же летают.

– Да, Але! Кто? Борис Петрович? ...брат Ивана Петровича. А! У вас пасека. Забрать пчел? Ой, нет, спасибо, пока не беспокойтесь. Нет, ну конечно, мешают, но мы этот вопрос решаем. Да, если что, я скажу дяде Ване, непременно. Спасибо большое.

– Да, кто? Не слышу... плохо слышно? Это – я. Да. Откуда? Штаб пчеловодческого хозяйства подмосковной области? ...Нет, у меня не два улья, у меня один. И один готовы забрать? Очень любезно с вашей стороны. Знаете, хозяин вроде обещался за ними приехать, но если сегодня к вечеру не заберут, я вам сама перезвоню. Оставьте ваш номер телефона, да, да записала. Наберу, не беспокойтесь.

– Да, Але. Коля? Это вы? ...А вы что, испугались даже? Подождите, я сигарету возьму. Да. ...А что же вы третий день не звоните? Я еще и не такое придумать могу. Встретиться? Сегодня? ...Ну, вообще-то свободна. А на этой станции один выход или два? Значит, через час, лучше полтора, на Таганке у последнего вагона из центра. О'кей, договорились.

– Лен, я – в душ. Если мне кто позвонит, меня дома нет, особенно, если Алик.

Александр Сергеевич и Михаил Юрьевич

Как и персонаж булгаковского романа, который Пушкина не читал, но знал его лично, «а за квартиру Пушкин платить будет?», мы в нашей семье также знали Пушкина лично. Но почитывали, конечно. Мама знала еще лично и Михаила Юрьевича Лермонтова и любила последнего верной женской любовью. Частному знакомству с поэтами мы во многом были обязаны маме,

которая, ценя их творчество, не могла спокойно обойти факты их личных биографий, а именно столь раннюю гибель обоих. Всю жизнь она сокрушалась о Пушкине, о дуэли, о неотвратимости, неизбежности ее. «А что ж ты хочешь, при таком темпераменте?!» В сущности, оба поэта – и Пушкин, и Лермонтов – входили в состав нашей семьи. Разговор о них начинался спонтанно в любое время и по любому поводу. Типа того, Вася-то наш чего учудил. Если, бывало, мама на кухне бросала реплику: «Подумай, такой молодой и – «Демона»?» – мы с сестрой, отложив другие дела, спешили на кухню, чтобы вместе с ней за блинчиками поразиться этому факту и, запив блинчики компотом, разделить восторг и удивление от наличия столь необыкновенного таланта. Как истинная актриса, мама всегда имела, чем поразить наше воображение под занавес: «А «Маскарад» в двадцать шесть лет?» В ответ, с набитым ртом, мы только мычали.

Мой первый Пушкин из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» – королевич Елисей на гривастом Бурке, с запрокинутой головой в небо. Белобокий сивка на задние ноги оседает, старается... Повыше королевичу в стременах приподняться надо, чтобы заглянуть в лицо месяцу. Когда в глаза глядишь, только тогда тебе и откликаются. «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок! Ты встаешь во тьме глубокой, круглолицый, светлоокий, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя». ....Так и влюбилась я тогда еще, в свои шесть лет, в эту пушкинскую запрокинутость, в месяц, ветер, звезды. Как Марина Цветаева написала: влюбилась, как дура, в Татьяну с Онегиным. И я, как дура, – в запрокинутость... и в кинутость Пушкина. А королевич-то оказался не прост. Собрал все свои силы, расколотил стеклянный гроб. «И о гроб невесты милой он ударился всей силой». Через страсть новую природу себе стяжал. А силы откуда взял? А вот когда на месяц глядел, звезды, лучами их одевался.

Моя прабабушка Наталья, не умевшая много грамоте, тем не менее, всю жизнь читала одну книжку – «Евгений Онегин». Умерла во сне. На постели, где умерла, рядом лежал томик, дешевое издание для всех, «Евгений Онегин».

В июне, купив туристическую путевку, я, моя дочь Аня и десятилетний внук Алеша едем любоваться на белые ночи в Петербург. Перед гостиницей сфинксы. Высокая вода. Чижик с канала. На второй день мы – на последней квартире Пушкина, на Мойке. Вслед за экскурсоводом проходим по комнатам. На трюмо пустой флакончик для духов Наталии Николаевны, неказистый, зеленого стекла, прямо аптекарский. В библиотеке толчок в грудь, невидимый, но ощущаемый. Взгляд по книгам, которым он – «прощайте, друзья». Перед портретом Дантеса останавливаемся. Рассказ о карьере кавалергарда в России, о нагаданном Пушкину роковом блондине, от чьей руки, о Черной речке. На прощание – экскурсовод, на портрет Дантеса: «Вот смотрите!» – Алеша, громко, с чувством: «Я на него и смотреть не хочу!!!»

Галка. Моя подруга, фотограф, зимой поехала в Святогорский монастырь. Пришла на могилу поэта. Там дворничиха с метлой готовится убирать. Галина ей: «Дайте мне, пожалуйста, можно я?» С мольбой в голосе: а вдруг не даст?.. Дворничиха охотно дает. И вот она в упоении метет снег, метет в хороводе падающих хлопьев. От счастья и жары вся раскраснелась на морозе.

Услышала от экскурсовода в музее Достоевского, что на Божедомке. «Федор Михайлович за свою речь в день открытия памятника Пушкину был увенчан лавровым венком. Вернулся домой страшно взволнованный. Всю ночь не спал, не мог уснуть. Ночью же поднялся, оделся и пошел пешком через всю Москву на Страстной бульвар, где и оставил свой лавровый венок у подножья памятника Александру Сергеевичу».

Еду на электричке осенью в Переделкино. Сыро. Зябко, тоскливо как-то. Уже прошли все продавцы ножичков, фонариков и другого мелкого имущества. Промозгло и уныло. И вдруг из

тамбура – неказистый мужичок, и прежде – его голос, и пошли строки чеканные из «Полтавы». «...Жар пылает. Как пахарь, битва отдыхает. Кой-где гарцуют казаки. Равняясь, строятся полки». И как в наш вагон вошел, громко так: «Далече грянуло ура: Полки увидели Петра». На этой фразе вся хмарь с меня как будто соскочила. Как будто колодезной воды мне дали умыться. Бодрость. Сила пошла. Выпрямилась я на своей скамейке, и остаток пути так было славно и весело у меня на душе.

Как кто-то сказал в одной из передач: «У нас в России, слава Богу, герой еще – Пушкин, а не какой-нибудь Цезарь».

Михаил Михайлович Рощин рассказывал. В Греции сидят они на чьей-то вилле, во время гастролей МХАТа. Жара страшная. В доме никого нет. Они вдвоем с Олегом Ефремовым попивают вино, и делать абсолютно нечего. День свободный от спектаклей. Жарко куда-то ехать. И Мих. Мих. предложил Пушкина читать. И Ефремов стал на память читать. И серьезно так, и с таким вдохновением, как будто самое важное дело в своей жизни делал. И никто его не видел.

Из Раневской:
– Жалко иностранцев!.
– Что так, Фаина Георгиевна?
– Ну, как же, у них ведь нет нашего Пушкина.

У Кати Толстой – внучки Алексея Толстого и Натальи Крандиевской – одним из лучших ее портретов был портрет Фаины Георгиевны Раневской. Катерина что-то техническое заканчивала, но никогда этим не занималась, а рисовала пастелью портреты, большие, как и она сама, считая себя ученицей театрального режиссера Акимова из Петербурга, который отлично рисовал. В ее квартире висело очень много хороших портретов – Марии Степановны Волошиной, Анастасии Цветаевой, Фаины Раневской. Екатерина была очень гостеприимна, остроумна и весела. Всегда заворачивала с собой на прощание пироги. Когда на нее накатывала меланхолия, сидела дома и не хотела общаться. Я написала для нашего журнала о ее портретах. Материал был принят, но на страницы, что называется, не пошел. Обычная история. Мы подружились.

Как-то сижу я у Кати Толстой, грызу ее черные сухарики к чаю. Вдруг звонок в дверь. Катя – открывать. В коридоре смех, небольшой шум, потом заходят двое пожилых, живописных. Тот, кто пониже, знаю его, это Катин дядя – Михаил. Дядя Миша из Питера. Тот, кто повыше – сразу «к ручке», со сноровкой, выдержке которой сотни лет. «Князь Васильчиков». «Ой», громко, но беззвучно екнуло у меня внутри. Я от князей, конечно, обмираю, но тогда обмерла на фамилию его. Вспыхнуло у меня моментально белым огнем – секундант Лермонтова. Вскочил Васильчиков на лошадь и поскакал коменданту сообщать, что убит сейчас Лермонтов у Машука...

Дядя Миша с князем Васильчиковым разговор ведут. В роду Васильчиковых много лет подряд только два мужских имени Василий и Илларион в очередь переходили, но этот Георгий.

– Как ты, Георгий?

– Отлично. Отлично. А, что Миша, как дела у тебя?

– Ну, какие могут быть дела. Ты же знаешь, после того как царевич Алексей проклял наш род до тринадцатого колена, какие могут быть у нас дела.

(Для непосвященных: посол Остерман-Толстой был отправлен Петром Первым за границу, дабы уговорить и вывезти в Россию наследника царского престола, царевича Алексея).

– Ты лучше расскажи, как ты доехал?

– Немного растрясло (легкое грассирование князя).

Вскочил Васильчиков на лошадь и погнал ее что было силы

Есть у Лермонтова рисунки карандашные: «Черкес, стреляющий на скаку», «Конный казак, берущий препятствие», «Всадники, спускающиеся с крутого склона». Если вспомнить галопиру-

ющего Д`Артаньяна, то что его трушение на бокастой кобыле по сравнению с тем, как лермонтовский седок летит. Как летит, очертя карандаш и судьбу. Куда летит? Только на погибель свою так летят...

Запись в книге Пятигорской Скорбящинской церкви за 1841 год: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15-го июля...». Это можно пером записать, можно кометой по ночному бархатному руну. А лучше пустить скачущих всадников, донских казаков, из одной точки во все стороны света, пусть еще и вольтижируют с пиками наперевес. На пиках знамена. Знаменами писать на всех небесах, на утренней заре и на вечерней:

«Убит Лермонтов поручик на склоне горы».

Вы, наверное, не знаете: для чего знамена? Думаете, чтобы свисать с водосточной трубы. Раньше, когда не было связистов и связисток, знаменами приказы отдавали, как-то их там поворачивали особенным образом, под разными углами – древко и плат – и по тому приказы читали. Какому отряду наступать, с какого фланга.

Так вот, пустил Васильчиков лошадь свою во весь мах по склону горы. Влетает в штаб-квартиру полка, прямо к коменданту полковнику Ильяшенкову Василию Ивановичу. Задыхается.

– Василий Иванович, Лермонтов... на дуэли ... вот только...

– Двадцати семи лет который?

– Двадцати семи, точно...

Ох, не так это было, не к коменданту он поскакал, а за врачом, конечно, за ним, да только из-за сильного ненастья Васильчиков вернулся ни с чем. 15 июля в округе обрушились ливневые дожди, во время дуэли гроза началась, продолжалась и после. Никто не поехал.

«Расставив противников (из объяснительной записки князя Васильчикова) мы, секунданты, зарядили пистолеты. Были использованы дальнобойные, крупнокалиберные дуэльные пистолеты Кухенройтера с кремнево-ударными залпами и нарезным стволом, принадлежавшие Столыпину. Дойдя до барьера, они стали. Майор Мартынов выстрелил. Поручик Лермонтов упал без чувств и не успел дать своего выстрела...»

Есть такие, Мишенька, писатели... парфюмеры, препараторы. Мы их с тобой отлично знаем. Но что они в сравнении с тобой? Что они все противу сердца твоего.

«От избытка сердца говорят уста мои».

А что я люблю в тебе? Самое простое... «...В тот самый час, когда заря на строй гусаров полусонных и на бивак их у костра наводит луч исподтишка...» ... «И теперь, здесь, в этой скучной крепости...»

Золотое мое сечение, изумруд ты мой, на котором отдыхает взор и душа моя. На груди утеса твоего высыпаюсь я. По словам Марины к Рильке, «все, что никогда не спит во мне, высыпается с тобой». Последнее высказывание Достоевского за полгода до смерти... «Какое дарование!.. Двадцати пяти лет не было, он уже пишет «Демона». Да и все его стихи словно нежная чудесная музыка. Произнося их, испытываешь даже как будто физическое наслаждение».

Понимание

Я была молодая мама и единственная понимала абсолютно все, что мне говорила моя трехлетняя дочка.

– Наташа, что она говорит? – переспрашивала меня, в свою очередь, мама, которая, в общем, хорошо понимала Анечку.

– Асика ать...

– Масик хочет идти гулять, – объясняла я.

– ...етели...

– На качели, – снова поясняла я.

– Ах, мое солнышко, – понимала уже мама. – Пойдем, пойдем на качели. Сейчас бабушка повяжет масику шарфик, чтобы не надуло, наденет варежки на веревочках и... на «етели».

Но в тот раз случилось все как раз наоборот, мама сразу поняла, а я как раз ничего понять из того, что говорила Анечка, не могла. А говорила она немного, только одно слово: «ши». Ее как раз завели в дом с холодной погоды. Привела ее из садика мама. Только я оттянула шарфик с ее ротика, тут она и произнесла свое первое – ши. Щи, что ли, она хочет, удивилась я про себя столь сложному кулинарному понятию. Но не стала уточнять, а стала ее быстро распаковывать, снимать шапочку, расстегивать комбинезончик. Вынимать ее, потненькую, из одежек. «Ши», – еще раз сказала она, давая мне свою крепкую ножку в ладонь, чтобы я стянула сапожок. Не успели мы Анечку раздеть и отвести сначала в туалет, а потом мыть ручки, как в дверь позвонили.

– Оп ля... – стоит передо мной старинный приятель Володя, или лучше даже Вовка, с бутылкой шампанского и букетом роз. В костюме, рукой галстук поправляет, загадочный, то ли клинья ко мне подбивать, пока непонятно.

Веду я его на кухню, которая у нас вместо приемной, и туда же мама заводит Анечку с вымытыми ручками из ванной. Малышка увидела его и говорит, точно к нему обращаясь, громко и радостно.

– Ши!

Мама закатилась смехом.

«О, так она понимает», – обрадовалась я.

– Мама, что она говорит?

– Ой, да ладно, – отмахивается мама, – не важно. И начинает Анечку причесывать, перевязывать у нее на головке огромный голубой воздушный бант.

– Ши, ши... – настойчиво возвещает Анечка, подпрыгивая у бабушки на коленях, обращая эту тираду, в основном, к гостю, к Вовке.

– Тамара Петровна, что она такое нам говорит? – интересуется он. – Ну, скажите.

– Ой, – опять машет на него рукой мама и смеется, – я не могу.

– Мам, ну, действительно скажи нам, что это такое за «ши», –карандаши, мыши...?

– Идите лучше в комнату, поговорите, а мы тут с Анечкой побудем.

И только мы зашли в комнату, и Вовка внутренне к чему-то приготовился, и взял меня нежно за руку, продолжая глядеть в глаза (а я хоть и была матерью, но женщиной – свободной и молодой), и только он открыл рот, чтобы сказать что-то свое, как, оторвавшись от бабушки, с устроенным по-новому, еще более пышным бантом, вбежала Анечка – и сразу к нему, как к распорядителю всех парадов, – мол, такое-то отделение к построению готово, товарищ маршал. «Ши», и баста!

– Господи, да что же это такое? – не выдерживаю я и, оставляя своего кавалера с Анечкой наедине, спешу на кухню к маме, чтобы расставить, наконец, все точки над «и».

Я не вернулась к Вовке. Я сидела на кухне и тряслась от смеха. «Ши, ши...» – доносилось из комнаты. Через пять минут Вовка сам появился на кухне, держа Анечку на руках.

– Ну, скажите же мне, в конце концов, что же это такое?

– Ой, уйди ты, ради Бога, в свою очередь замахала я на него руками. – Уйди с глаз, а то я умру от смеха, ...мне в ванную надо, у меня тушь течет. Мама, закрой за ним дверь.

Вовка больше так и не вернулся и не перезвонил. Наверное, подумал, что женщин понять нелегко и вообще с ними трудно.

А Анечка хотела нас всех обрадовать. Оказывается, в детском садике, в их группе, нашли вшей, о чем им сказала воспитательница. И Анечка, придя домой, хотела донести нам всем, что как же хорошо и замечательно, что обнаружены вши у некоторых детей в их детском саду «Солнышко».

Линда

У Линды была узкая мордочка и белый воротничок, переходящий в галстук. Она была небольшая, вся черная и в тот день на ней был ошейник без поводка. Вначале я ее не хотела, не захотела. Потому что она – собака, дворняжка, но даже если бы она была и не дворняжка, а собака

какой-нибудь редкой породы – борзая там или китайский пекинес, все равно, животные в доме – это недопустимо.

Только что я вышла на наш проспект из радиального выхода и повернула налево к дому, как откуда-то прямо перед моим носом из темного двора вывернулась небольшая собачка. Она бежала чуть левее от меня, немного впереди. Когда я поравнялась с ней, она повернула ко мне свою узкую мордочку и улыбнулась, да, именно, так. «Надо же, какая славная собачка, – подумала я. А вслух ей сказала: «Ну что, бежишь? Ну, беги, беги...» И все. Потом я углубилась в свои мысли и в свой воротник, потому что на улице стоял не то что сильный мороз, а прямо таки лютый мороз – за минус двадцать. До дома от радиального метро пешком – две остановки, и на светофоре – на переход. Я перешла проспект и почти сразу же наткнулась на свою сестру, которая вышла из нашего подъезда за сигаретами. Я столкнулась с ней у табачного киоска рядом со светофором.

– А что это за собачка? – спросила она меня.

– Собачка? – в свою очередь переспросила я. – Какая собачка?

– Да вот...

И сестра взглядом показала мне под ноги. Я высвободила лицо из высокого воротника шубы и глянула вниз. Рядом с подолом моей серой шубки из лисьих хвостиков стояла та самая черная собачка, которую я встретила у метро, глядела на меня снизу и улыбалась.

– Надо же, действительно собачка, – ответствовала я, сама удивляясь, – что ж это получается, она, выходит, за мной от метро две остановки бежала и даже проспект перебежала.

– Так откуда она взялась? – допытывается Елена.

– Да не знаю я. Я из метро вышла, а она уже впереди меня бежит.

– Видишь, на ней ошейник, – продолжает сестра. – У нее хозяин есть. Она точно потерялась.

– Ой, ну ладно, – тороплю я сестру, в свою очередь. – Ты что, теперь будешь ее хозяина искать? Ты сигареты купила? Гляди, какой мороз. Давай домой, нечего нам тут мерзнуть.

Все это я, конечно, быстро говорю, потому что одновременно вижу взгляд Ленкин, а взгляд у нее уже просящий и умоляющий. Вижу я, что хочет она эту собачку взять. Но, с другой стороны, сестра на меня глядит, как на старшую, и знает, что я точно, как и мама, совершенно окончательно и бесповоротно против животных в доме. Мы уже тогда с сестрой вдвоем жили в нашей квартире.

– Лен, – начинаю я сверхстрогим голосом. Ты представляешь, что такое животные в квартире? Кошки воняют, царапают когтями обои. Собаки лают, пачкают после улиц лапами в коридоре дорожки, шерсть кругом. Их надо выводить каждый день, кормить, смотреть. Нет, нет и нет. Жа мэ!...

Лена на мою тираду секунду молчит, гладя собачку, а потом воздействует на мой всеобщий гуманизм следующим предложением.

– Знаешь, сейчас уже десять часов вечера. Давай ее возьмем только на одну ночь, накормим, дадим ей что-нибудь поесть. А завтра уже отпустим. Холод-то какой. Жалко.

Мне тоже жалко такую славную собачку. И холод декабрьский я чувствую. И понимаю, как это – в собачьей шкуре, хотя сама – в лисьей.

– Ладно, – соглашаюсь я. – На одну ночь можно. И, обращаясь к собачке, говорю ей, как старшая здесь всего. – Пойдем, собачка, с нами.

Ленка на радостях купила вторую пачку сигарет. И мы втроем вошли в подъезд, вызвали лифт и также втроем вошли в квартиру.

Пока на кухне черненькая ела и согревалась, мы стали думать, как ее назвать, пока она у нас. Не можем же мы ей все время говорить – собачка. Решили дать ей имя Линда в память о нашей бестолковой лайке Линде, которая жила с нами в подмосковном гарнизоне Монино, и, заметим, не в доме, а во дворе, в собачьей конуре, как и положено. Но все равно однажды она вырвалась и убежала. После ужина Лена забрала Линду в свою комнату и закрыла дверь, чтобы мне не мешать.

Утром я выпила свой кофе со сливками. Вошла в комнату сестры, забрала собачку и, посвистав что-то вроде... «Линда, идем, идем», вывела ее во двор. Потом вернулась домой и занялась

своими делами. Ближе к вечеру Лена собралась выходить за сигаретами. Она распахнула дверь и наткнулась на Линду, которая сидела на половике под нашей дверью.

«Ничего себе, – удивилась я, подходя к двери – сколько же она тут сидит под дверью? И не лает...»

– Слушай, – затянула свою вчерашнюю шарманку сестра, – холодно на дворе. Давай мы ее сегодня покормим, а завтра уже...

– Ну ладно, давай... – соглашаюсь я, я ж не Гитлер какой, тем более против моего тезиса «не жить с животными под одной крышей» никто не возражает. – Но только до завтра.

На следующий день ударили такие морозы, что, разумеется, выпускать Линду в такой холод было бы верхом всякого бессердечия. Прошло три дня. На четвертый день пошел мягкий пушистый снег. Началась оттепель. И я вошла в комнату сестры. Сестра все время молчала и только лупилась на меня своими серыми глазищами. Я приладила к ошейнику из веревки что-то вроде поводка и повела крутящуюся у моих ног веселую сытую собачку, повела ее, совсем не сопротивляющуюся, как мачеха падчерицу, подальше в темный лес, чтобы привязать ее к темному стволу, на съедение злым зверям.

Мы вышли из подъезда, и я оглянулась, раздумывая, куда бы подальше свести Линду, чтобы она не вернулась. Я завернула на Капельский переулок и пошла с ней в сторону Каланчевки, шла, наверное, где-то остановки три или даже четыре, и, в конце концов, зашла с ней в какой-то путаный двор. Выбрала подъезд с тяжелой дверью, которую при выходе открывают на себя, вошла с ней в лифт и поехала на самый последний девятый этаж. Выпустила Линду на площадку, а сама на лифте вниз. Выскочила пулей из подъезда, дверь за собой плотно закрыла, и тут же, на ближайшей остановке, села на троллейбус и вернулась домой. Дома я занялась хозяйством, потом собралась ехать в центр. И по делам прокрутилась практически весь день в городе. Вернулась домой, когда уже смеркалось. Поужинали мы с сестрой, включили телевизор, стали смотреть. Передачи шли уже предновогодние, с юмором, призванные создавать особый настрой, но сестра молчит. Я ей не мешаю. Ничего, переживет, зато в доме будет порядок, и дорожки останутся целыми. Хотя, сознаюсь, такой интеллигентной собачки я не видела. Не так я их много и видела. Но Линда?.. Где-то уже в десятом часу вечера, мы уже и программу «Время» посмотрели, звонок в дверь. Ленка не поднимается, я иду на звонок открывать.

– Кто там? – спрашиваю.

Голос соседки:

– Это я.

– А, Валюша, – сейчас открою.

– Это не ваша собачка тут сидит, она уже давно здесь сидит, я второй раз в магазин спускаюсь.

Я молча пялюсь на черную собачку. Сзади из-за моей спины Ленка к ней дрожащие руки тянет. А Линда, вы бы ее видели: на ушах снег, сидит на половичке, как мейсеновская статуэтка, и нам улыбается, и любит нас всех до невозможности.

– Боже мой, – восклицаю я голосом распорядительницы всего. – Срочно в ванную. Да разве можно! Холод-то какой. Ленка, тащи полотенце, и где наш немецкий шампунь? Полный беспорядок. Боже ты мой...

Линда прожила с нами весь свой срок, четырнадцать лет, и заменила моей сестре, у которой не было своей семьи, – эту семью. Как-то она сорвалась с поводка и бросилась через проспект на другую сторону, вдруг, ни с того ни с сего. В ту же секунду наш Мещанский округ огласил такой громовой вопль: «Линда!!!», что все большое движение машин, кажется, встало на дыбы. Ленка, падая, теряя сумку, перчатки, добежала до своей дони, подхватила ту на руки и понесла на руках домой. Конечно, это неправильно – переводить всю любовь на собаку. Но если бы вы знали, сколько этой самой, бескорыстной любви мы получали от нашей Линды. О, мы едва возвращали ей сотую часть. И не только мы. Она обескураживала восторгом всех и каждого по поводу просто вашего существования на свете. Она лезла целоваться и давать лапку, как в знаменитом есенин-

ском стихотворении, именно не спросив, обрушивая свою любовь на входящего с такой щедростью, что тот буквально замирал на пороге.

«Нет, нет», – казалось, говорила она, вставая на задние лапки, пританцовывая, чтобы дотянуться до гостя, целоваться, – «неужели это Вы пришли к нам сегодня? Неужели именно Вы? Не может быть. Какое счастье. Какая радость для всех нас. Нет, мы не перенесем этого восторга. Ну, проходите же, проходите, вот за мной, сюда, в эту комнату, на диван. Ну давайте же поздороваемся, да нет же, обнимемся, обнимемся, наконец. Какое невероятное счастье».

И каждый уже непременно гладил ее по спинке и приговаривал: «Ой, ну что же это за собачка. Линда, Линда, хорошая, хорошая...» А если у нас бывал сбор, то, само собой разумеется, что каждый опускал руку, передавая ей под столом самые вкусные кусочки, только что бутерброды с икрой не передавали, а может и передавали, кто теперь знает. Я объявляла всем строгим голосом – «собаку не кормить». И предлагала пока ее вывести в коридор. «Давайте-ка, я ее выведу», – говорила я. «Нет, нет, – восклицали друзья, – пусть она останется с нами. Мы не будем ее кормить, честное слово». Но если бы кто-нибудь приподнял скатерть, то увидел бы лес рук, ищущих под столом ее влажный нос.

Один раз она сорвалась с поводка и попала в объятья какого-то здоровенного кобеля. У нее родились очень крупные щенки, которых назвали – Гладиатор, Геракл, Пир, и пока их не раздали, она, осознавая себя матерью, посматривала на всех с некоторой степенной важностью.

Она прожила с нами всю свою обычную собачью жизнь, но то, чем она делилась с нами, в сущности, было таким человечным, таким благородным... Потому что она была, как я и говорила, небольшая, с узкой изысканной мордочкой и белым воротничком по черной, если вымыть шампунем, совсем шелковой шерсти.

Правнучка Врубеля

В тот год, когда у нас появилась Линда, я получила третье письмо из-за границы. Из-за той самой заграницы, в которую навсегда уехала моя лучшая подруга и из-за которой меня не допустили работать в Интуристе переводчиком. «А у вас переписка, да еще с диссидентами». Мне дали от ворот поворот. И повторив за темным Данте: «Нель меццо дель камин ди ностра вита ми ритровай пер уна селва оскура», что означает – «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» ...и, постояв на крыльце «Интуриста», я занялась чем-то другим, особо, кажется, ничем.

Алена носила челку, очки, белыми крыльями бабочки воротничок, и – на уроке литературы на предложение учительницы почитать из Пушкина не по программе – единственная, кто подняла руку, и читала перед всеми: «Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир», слегка запнувшись на «Гвадалквивир».

Они были из дворян. В Алене было намешано много разных кровей – немецкой, польской самой высокой и достойной пробы. Их род по материнской линии уходил корнями в древний рыцарский дом, который имел даже свое название, «Бобровый камень», на реке Рейне. Когда генеалогическое древо их рода дало могучие ветви, одна из них зацепилась за ветку Врубелей. Как-то у них в гостях, а жили они в соседнем подъезде, на предпоследнем этаже, я впервые увидела Алениного дедушку, державшегося за столом исключительно прямо, и бабушку с гладко зачесанными волосами и небольшой бледной камеей, замкнувшей узкий пролив выреза. В присутствии дедушки все, казалось, оцепенели. Дедушка, бывший адмирал, молчал, даже и тогда, когда молчать было трудно. На вопрос детей и внуков: «Дедушка, какого хлеба вам передать, белого или черного?» – следовало молчание. Он был, как одинокий утес, на который больше не садились чайки.

Участник русско-японской войны, адмирал Немитц, из того самого «Бобрового камня», ходил на эсминцах и крейсерах по всем морям, омывающим нашу державу. Душою знавший одну добродетель – силу флота, он остался, в конце концов, в семнадцатом году с одной лодкой, на которой и переправлял, как тот Харон по Стиксу, – то Максимилиана Волошина, то Николая Гумилева, то каких-то генералов.

Алена с домочадцами, а это – мама, брат, три сестры и примкнувший к ним по судьбе одинокий дядька, которого они взяли к себе жить, переехали на Первую Мещанскую с Сивцева Вражка. На Вражке у их семьи еще до всяческих революционных подселений был собственный трехэтажный особняк с высокими филенчатыми дверями и окнами бального зала. То, что Алена родственница Врубелю, я узнала после того, как случайно у нее дома открыла альбом Врубеля, и про это пошел разговор. У них была прекрасная библиотека. У нас тоже была приличная библиотека с очень качественными послевоенными изданиями, но у Алены было особенно много книг по искусству. И что немаловажно, в их доме, без отказа, всегда давали почитать на вынос любую книгу. Могучие фолианты – стоило открыть которые, и ты встречался с «Ночью» Микеланджело, «Весной» и «Поцелуем» Родена – стояли впритык на деревянных, строганных умелым дядькой, полках, вытянувшихся от пола до потолка. Обычно мы рассматривали альбомы, сидя рядом на диване, терпеливо держа их на коленях, давая возможность друг дружке насладиться изображением.

Так мы долго изучали зеленый том по египетскому искусству, издания ГММИ, задерживаясь взглядом на фаюмском портрете зеленоглазого молодого человека и, конечно, на маске юного Тутанхамона. Абсолютное сияние золотого фараона с бровями из лазурита, зрачками из обсидиана и кварцевыми белками удерживало руку, чтобы уйти с этой страницы. Говорить про это, то есть, про искусство, мы еще не умели, но нам хотелось уже видеть оригиналы. И, выпросив у родителей деньги на билет в Третьяковку, мы отправились туда вдвоем в ближайшее воскресенье.

Переходя из одного зала галереи в другой с новым ощущением свободы, без сопровождения взрослых, мы останавливались перед теми картинами, которые привлекали наше внимание. Мы не прошли мимо безумного Ивана, убивающего своего старшего сына, зеленой луны Куинджи, Незнакомки Крамского, у которой было чему поучиться. И уже как родственники навестили Михаила Александровича Врубеля. Воспитание, те же родственные связи обязывали задержаться в его зале подольше. Ничто не остается без ответа. Незаметно мы вплыли в дом Сирени, лежа на траве, снизу заглядывали в голубиные глаза Пана, переводя взгляд на рогатый месяц и, наконец, на лицо отсутствующего для всех Демона.

Михаил Александрович рад был встретиться со своей правнучкой, и чтобы загладить суровое молчание своего внука, выболтал нам так много. Он выболтал нам то, что самая большая любовь заключена в сердце. А сердце всегда пребывает в том, что ему дороже всего. Любящее и страдающее его сердце билось в оперении Лебеди и соцветьях Сирени.

Мы с Аленой были как пьяные и после Третьяковки пошли к ним домой, запить опьянение искусством чаем и заесть его пирогами с черникой, которые так отменно готовил дядька. Отныне, как две соучастницы некой тайны, мы уже не могли обходиться друг без друга, вызывая справедливую ревность у моей сестры и другой близкой подружки Ниночки. Все свободное время мы проводили вместе, то у них дома, то в нашем дворе, напоминавшем внутренний дворик тюрьмы кисти Ван-Гога, то под разноцветной листвой рождественских и гоголевских бульваров. Как будто сам Врубель, пока мы смотрели на его полотна, смешал нас, как две краски и положил уже одной на свежий, только начатый холст.

Мы так и сверкали, переливаясь оттенками, радуя друг друга, пока другой художник, взяв в руки мастихин, не отделил Аленин тон и не перенес его поближе к «бобровому гнезду», на берега Рейна.

Через восемь лет после окончания нами средней школы они всей семьей (без дядьки, умершего к тому времени) отбыли в эмиграцию второй волной, унося подальше из России (не захотевшей в который раз) свой талант, нравственную безупречность и самые высокие достоинства их древней и благородной крови.

Елена Прекрасная

Мы спускались к подъезду постоять на крыльце. Что означало и погулять. Стоя гулять долго неудобно, но другого варианта не было. Такое гуляние заменяло нам легкомысленное сидение за

круглыми столиками, допустим, в Париже на Елисейских полях или во Флоренции на площади Синьории. Настоящее удовольствие – бессмысленно глазами по толпе. Открытых кафе с выносом столиков на тротуар под парусиновыми тентами в Москве еще не было. В городе было мало от иностранного – никаких: «бутс», «хот», «фреш и других догов».... Хотя кое-что (даже приличное «кое-что») все-таки было. По Москве стайками, порой даже небольшой толпой ходили негры. Зимой – в завязанных под подбородок ушанках и серых ватных пальто на вырост. Их тоже можно было понять. «Здравствуй, мама. Здесь всегда зима, – писал африканский студент на родину, – зеленой зимой еще ничего, а вот белой – совсем плохо».

Когда мы с сестрой подросли и вошли в чудесный возраст, который так легко выкликать на всех переулках и перекрестках земли, – семнадцать, восемнадцать лет – негров в Москве было очень много. Вполне вероятно, что на те годы приходился как раз пик дружбы с африканским континентом. Это выражалось в усиленном наборе представителей данного континента в высшие учебные заведения нашей страны. Первые, отдающие глянцем, черные мужчины появились в столице, когда нам минуло шестнадцать лет. К тому времени мы были уже наслышаны об институте Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в котором учились посланники из Сенегала, Эфиопии, Гвинеи-Бисау, Берега Слоновой Кости. И хотели попасть туда на вечера, даже можно сказать, мечтали. И попали.

Тетя Леля, родная тетя моей лучшей подруги, преподавала русский язык иностранцам, как раз в этом учебном заведении. На один из студенческих вечеров, приуроченный к какой-то торжественной дате, с танцами, она достала своей племяннице приглашение на два лица. Вторым лицом была я.

Я оделась в красивое, то есть в бирюзовое, что шло к моим глазам, особенно вечером, накрутилась на бигуди, положила в маленькую сумочку вместе с бесцветной помадой маленький же носовой платок, авторучку, на случай записать адрес иностранного студента, с тем, чтобы с ним в дальнейшем переписываться, подушилась польскими духами и спустилась к нашему подъезду, чтобы встретиться с подругой, которая жила в соседнем.

Нас впустил овальный актовый зал с колоннами. Не помню точного адреса, возможно, все происходило на Ленинских (Воробьевых) горах, в главном здании МГУ. Я плохо помню все, кроме сыновей Африки. Меня сокрушило зрелище студенческих лиц. Надо сказать, что идеалом моего мужчины долгое время оставался адмирал Нельсон из фильма «Леди Гамильтон», пусть даже с повязкой на глазу, то есть – Лоуренс Оливье с черной повязкой на глазу, но с таким взглядом другого глаза, с такой формой рук и головы, да что тут долго говорить. Трудно было не быть влюбленной в адмирала Нельсона.

Та группа, которая была выделена на танцы, – не знаю, откуда их спустили на каноэ, с берегов ли Гвинеи-Бисау или сразу со Слоновой Кости, – также имела отметины на лицах. Все посланцы, зачисленные в институт Дружбы, были изуродованы шрамами, как будто по ним провели граблями, с чувством и очень глубоко. Борозды от грабель были у каждого на щеках и на лбу. Задавив первое неприятное эстетическое впечатление, – так мне хотелось переписываться с настоящим иностранцем и писать ему долгой белой зимой о том, что и сегодня я спускалась в самое красивое метро, станции которого украшены мрамором и мозаикой, – я прошла в актовый зал.

Продвинулась вглубь к большому овальному окну, где и устроилась рядом с колонной. Уже играла музыка. Должна была подойти тетя Леля, но вместо нее подошел сильно татуированный африканец – приглашать меня на танец. Уже через пару тактов мне не хотелось желанной переписки. От моего партнера шел такой запах, о котором я и не представляла, что таковые существуют. Если бы сгнил весь флот адмирала Нельсона, с крабами, водорослями и рапанами, то и от него не могло бы быть столь ужасного запаха. Я закончила тур вальса досрочно. Единственное, чего мне хотелось по-настоящему в тот момент, так это вернуться быстрее к окну. Мой кавалер с розовыми шрамами на черном, чьи круглые белые глаза и белые же прямоугольные зубы маячили перед моим напудренным носиком, к которому я поднесла платок, тяжело стиснув мою руку черными влажными пальцами, с удовольствием теснил меня в угол, к колонне.

Когда первая мысль «убегать», недолго боровшаяся со второй мыслью – «прилично ли это?» – окончательно оформилась, сразу стало легко. Тут стали подходить какие-то третьи и четвертые с других берегов. Рванувшись, как в рукопашную, напролом, мы дали деру из овального зала – и скоро были в вестибюле самого красивого метрополитена в мире.

Через два года нам исполнилось уже по восемнадцать лет, и мы стояли на ступеньках крыльца нашего подъезда. Так мы гуляли. Мы – это я и моя родная сестра Лена. Я была старше ее (не Бог весть на сколько – пятнадцать минут), но она была намного храбрее. О первых явленных примерах ее мужества лично я не помню. Но существовали рассказы свидетелей – мамы. Нам было по пяти лет, когда умные родители, умные стоит поставить в кавычки, решили спрятаться и посмотреть, как мы будем реагировать на пограничную ситуацию. Из того же рассказа следует, что первое, что я незамедлительно сделала, когда обнаружила, что рядом нет мамы – расплакалась, и довольно сильно. Да, я всегда была эмоциональной, ну и что? А будто бы моя младшая сестра, взяв меня за руку, сказала: «Не реви! Вот смотри – столбы. Мы пойдем по проводам и придем к людям». Каково? Действительно, достаточно доблестно для человека в пять лет.

В другой раз, в том же возрасте, уже по-настоящему, мы потерялись в метро. И сестра объявила, не обращая внимания на меня – кривившуюся, готовую зареветь, упреждая тот рев: «Поднимемся по эскалатору наверх!» Не знаю, было ли это хорошо для нас тогда – подниматься по эскалатору или спускаться, – в конце концов, нас обнаружили крепко держащимися за руки, – но в ту минуту угрожавшему нам миру была предъявлена самая настоящая деятельность.

Все эпизоды, связанные с грозой, также говорили не в мою пользу. Заслышав гром, – кстати, не обращая внимания на молнии, – я тут же старалась прижаться к чему-то деревянному. Это означало, что к тому времени мне уже объяснили, что во время грозы дерево для человека лучше, нежели железо, – хотя под высокое дерево во время грозы...?

Но мы все еще стоим на ступеньках крыльца, выходящего тогда еще не на столь шумный проспект, и гуляем. И нам по восемнадцать лет, вернее, мне восемнадцать лет и пятнадцать минут, а сестре – только восемнадцать. И видим, как по тротуару к нам приближается высокий негр, очень высокий. Негр для баскетбольной команды, может быть, даже для сборной. Негров на улицах Москвы мы видели предостаточно – и поэтому особенно на него не реагируем, отмечая про себя только его рост. Баскетболист останавливается у нашего подъезда и пытается что-то говорить на нашем языке – и из того, что он говорит, становится понятно, что он желает познакомиться. Нам совсем не хочется с ним гулять – и мы, не без напряжения толкая от себя тяжелую дверь внутрь подъезда, спешим к лифту, чтобы ехать домой. Негр быстро устремляется за нами – и уже у лифта неожиданно цепко и сильно хватает меня за руку своей ручищей. Достав улыбку на лицо, стараясь как-то шутить и показать, что мы дружим, я предлагаю ему отпустить руку, но он, что называется, не внемлет. Я замираю кроликом и не знаю, что делать.

И тут моя худенькая младшая сестра начинает колотить по его черным бицепсам своими острыми кулачками с такой яростью и частотой, выкрикивая команды, как самый главный рефери, – «отпусти, мол, мяч, кому говорят», – что тот дылда на секунду растерялся и действительно разжал свои тиски. И мы бросились с ней, уже без всякого лифта, по лестнице, – наверх, через пролеты, на наш шестой этаж. ...И я даже не сказала ей «спасибо».

И никогда, за всю свою жизнь, я не защитила ее. А она сделала это, по крайней мере, три раза.

Позапрошлое, прошлое, настоящее

От редакции:

Как есть градообразующие предприятия, так есть и люди, чье присутствие и творческая активность надолго определяют особенности культурной жизни города, даже если эти люди покинули место обитания – уехали или «ушли», как говорят об умерших.

«Волга» предлагает вниманию читателей блок материалов, связанных с двумя значимыми для Саратова именами – художника Николая Гущина (1888–1965) и литератора Бориса Белова (1928–1991, умер в США). Известный художник, современник Серебряного века, приехавший в Саратов в конце 1940-х после эмиграции, создал вокруг себя мощное поле притяжения, втянувшее в свою орбиту многих молодых, нестандартно мыслящих людей. Одним из них был Борис Белов, чьи воспоминания о Гущине подготовлены Людмилой Викторовной Пашковой, заместителем генерального директора по научной работе Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Эту публикацию сопровождает мемуарный очерк Александра Белова: его воспоминания об отце доносят до нас незабываемый вкус времени, как 40-х, с их подспудными культурными открытиями, так и 80-х, с их выморочной паранойей спецслужб. Желающие подробнее узнать о Борисе Белове могут обратиться к книге Виктора Селезнева «Кто выбирает свободу. Саратов: хроника инакомыслия. 1920–1980 годы» (Борисоглебск, 2010. С. 52-56).

Борис БЕЛОВ

Художник Н. М. Гущин

Для саратовцев старшего и среднего поколения художник Николай Михайлович Гущин (1888–1965) – личность почти легендарная. Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества по мастерской Константина Коровина, он сложился как оригинальный мастер, проповедующий образную систему символизма, еще в дореволюционное время. В нашем городе Гущин оказался в период послевоенной сталинской кампании за возвращение эмигрантов, после почти тридцати лет жизни вдали от Родины. В течение последующих пятнадцати лет он работал художником-реставратором Радищевского музея.

«Надо было знать этого пылкого, чистейшего человека, в котором священные понятия, как искусство, родина, честь, светились неизменным светом. Не остыло это свечение и в той страшной саратовской коммуналке, куда упекли его после репатриации...» – вспоминала о встречах с художником одна из его современниц[*]. Крошечная 8-метровая комната Гущина, от пола до потолка увешанная необычными, полными символических образов и светящихся красок, картинами, недопустимыми, невозможными в то подцензурное время, стала центром притяжения для интеллигенции города. Здесь велись разговоры и жаркие споры об искусстве, читали стихи, слушали пластинки. Для многих художников, учащихся Саратовского художественного училища, а также молодых филологов, физиков, музыкантов, артистов, искусствоведов, Гущин стал духовным лидером, учителем, открывшим новые горизонты для реализации личности, человеком, след от общения с которым остался на всю жизнь.

В другие времена, на заре «перестройки» (январь-февраль 1987 года), в Радищевском музее состоялась первая полномасштабная выставка произведений Николая Гущина, собравшая более 160

** Н. Роскина. Четыре главы. Из литературных воспоминаний. Paris. YMCA-PRESS.1980.*

произведений. Посвященную столетию со дня рождения художника выставку поспешили открыть на год раньше юбилея в опасении, что все вновь может измениться, и имя Н.М. Гущина опять останется закрытым для любителей искусства. Безусловно, лучшую часть экспозиции составили немногие произведения, хранившиеся тогда в собрании Радищевского музея, но она была бы невозможна без работ, принадлежавших тем самым саратовцам, которые входили в круг общения Гущина. Многие из них жили уже не в Саратове, а в Москве, Ленинграде, Омске, Свердловске, Алма-Ате.

Одним из первых откликнулся из Москвы Борис Белов, выпускник филологического факультета Саратовского университета, автор ряда серьезных литературоведческих исследований. Из пяти принадлежавших ему живописных произведений, подаренных автором, особенно ценными были «Осенняя оргия» (из серии «Времена года») и эскиз-вариант картины «Вечность», украсившие экспозицию выставки.*

Выступление Б.С. Белова на вечере памяти Н.М. Гущина, организованном накануне закрытия выставки, стало одним из самых запоминающихся. Оно захватывало своей бьющей через край эмоциональностью, при этом автор мог в пылу рассказа поступиться точностью фактов, несколько преувеличить масштаб событий и личностей, «беллетризировать» те моменты общения с Н.М. Гущиным, о которых он так ярко вспоминал.

Предлагаемые читателю воспоминания о Гущине являются расширенным вариантом этого выступления Б.С. Белова. Фигура одинокого художника, яркой неординарной личности предстает в них на фоне жизни провинциального города эпохи сталинизма и времени «оттепели». Автор вносит новые черты в образ Н. Гущина, великолепного мастера, оказавшего сильное влияние на саратовских художников-нонконформистов: М. Аржанова, В. Чудина, В. Солянова, В. Лопатина и др.

Воспоминания Б. Белова, безусловно, будут интересны и тем, кто помнит Н.М. Гущина, и тем, кто впервые узнал его, позволят оценить роль художника в культурной жизни нашего города.

С удивлением думаю всегда, что впервые увидел Н.М. Гущина почти сорок лет назад.

Сорок Лет.

Двадцать два года прошло со дня его смерти и похорон на осеннем саратовском кладбище.

И не было дня за все это время, чтобы я не вспоминал о нем, не беседовал с ним мысленно, не проверял по нему себя.

Это тем удивительней, что судьба была щедра: подарила мне еще в юности отличных друзей, благородных и мудрых наставников. Спасибо им. Я их тоже люблю и вспоминаю, но реже.

Почему?

За годы войны в Саратове сложился удивительный нравственный климат, о котором расскажу чуть подробней.

Сначала казалось, что наш тихий провинциальный город, славный своим университетом, консерваторией, театрами и художественным музеем, – глубокий тыл. К нам за короткое время съехалось множество беженцев из Украины, эвакуированных из прифронтовых городов, из Ленинградского университета, из Московской консерватории

Квартиры, разгороженные фанерными переборками и ситцевыми занавесками, превратились в шумные общежития. По вечерам их освещали коптилки, карбидные горелки и пламя чугунных «буржуек». Мы ели подгорелые солоноватые лепешки из отрубей и мороженую картошку.

В школьных классах у нас шел пар изо ртов и замерзали чернила в «непроливайках». По ночам нужно было дежурить: напилить и натаскать дрова, топить до утра, а в случае налета лезть на крышу.

За два дня до начала войны я перенес тяжелую операцию. Видимо, с голодухи и от нервных потрясений рана моя долго не заживала. Но я прыгал на своих костылях и старался не отстать от товарищей.

** Сейчас все произведения хранятся в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева.*

Однажды во время налета я залез на крышу, по которой стучали падающие с неба осколки. Немцы сбросили осветительную ракету. Она висела над Волгой, как люстра. По небу шарили лучи прожекторов. Где-то рядом трассирующими пулями стрелял зенитный пулемет. В эту ночь немцы бомбили крекинг-завод и разрушили один из цехов. Много людей погибло. Больше таких налетов не было, а может, мы, ребята, просто не знали о них. Мы сидели по ночам в промерзших классах, тесно прижавшись друг к другу, голодные, немытые, вшивые, топили «буржуйку» и рассказывали для храбрости страшные истории. Спасибо нашим учителям Е.П. Каменской, Кряжимской, Шахматову. Это были люди высокой и светлой мудрости. Они согревали нас дружеским участием. Они заслонили от нас тьму своей добротой.

Е.П. Каменская, учительница литературы в старших классах, человек огромной культуры и щедрого сердца, вела драматический кружок. Мы ставили «Маскарад», «Горе от ума», «Бесприданницу». Из этого кружка выросли потом народная артистка РСФСР Л. Толмачева, заслуженная артистка РСФСР Е. Захарова, С. Скворцова.

«Маскарад» мы играли в госпитальных коридорах. Я – Арбенин.

Изувеченные, забинтованные солдаты сидели прямо на полу.

В одном госпитале я видел однажды, как в перевязочную везли нечто странное. Это была... живая человеческая голова. Голова смотрела на мир ясным взглядом. Когда сняли покрывало, под ним оказался обрубок – туловище без рук и ног. Парень обгорел в танке.

Фронт приближался. Уже попахивало гарью из близкого Сталинграда. По Радищевской улице, от Волги на вокзал двигались воинские части, видимо, вчера еще вышедшие из боя. На них было страшно смотреть: закопченные лица, обгоревшие ватники, сбитая обувь.

А рядом продолжалась удивительная жизнь.

В консерватории филармонический оркестр впервые исполнил «Седьмую симфонию» Шостаковича. Я слушал ее на галерке, а моим соседом был солдат польской Армии народовой, поэт, написавший потом отличное стихотворение о «зеленом мясте» Саратове, приютившем поляков в трудную годину.

В помещении ТЮЗа располагался эвакуированный из Москвы МХАТ. Мы простаивали ночи напролет на морозе у театральной кассы, чтобы увидеть «Три сестры», «Царя Федора», «На дне», «Мертвые души». Ершов, Тарханов, Еланская, Гошева, Топорков – имена, овеянные легендами, вдруг стали близкими и доступными.

На трех сестрах я плакал. Финал – «Мы отдохнем»... «небо в алмазах»... звучали с неслыханной, пронзительной актуальностью.

Однажды Е.П. Каменская зазвала нас на лекцию профессора Г.А. Гуковского. Мы впервые пришли в знаменитую Горьковскую аудиторию Саратовского университета и заполнили ее чашу до самой галерки. Наши драные локти и шмыгающие носы никого не шокировали.

Лектор, известный ученый-ленинградец, автор прекрасных книг о Пушкине и о русской литературе XVIII века, цитировал Радищева: «Я взглянул окрест меня, и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»... Профессор был очень серьезен. Голос его, бархатистый баритон человека, привыкшего говорить перед большим собранием, дрожал от сдержанного волнения.

После лекции я подошел к нему, что-то промычал, потом порылся в своем глубоком пиджачном кармане и протянул тетрадку – вот. Профессор сразу все понял. Конечно, перед ним стоял провинциальный рифмоплет. В тетрадке наверняка поэма о войне.

Так оно и было. Поэма называлась «Свинцовый ветер», была написана под влиянием А. Блока и «Войны и мира» В. Маяковского. Однако, через неделю, когда я пришел за ней на квартиру к профессору, он, лично знавший и Э. Багрицкого, и А. Прокофьева, и О. Мандельштама, и А. Ахматову, не выругал меня; нашел в поэме какие-то две строчки, похвалил и сказал, что работать над стихами – стоит. Мы потом вместе с Е. Колмановским зачастили к нему, подружились с его дочкой Наташей, будущей известной писательницей Н. Долининой.

На главной улице – Кировском проспекте – тогда можно было встретить и академика Тарле, и В.Е. Евгеньева-Максимова, и проф. Бялого, и знаменитого «формалиста» Эйхенбаума. В буки-

нистическом магазине часами сидел и рассказывал невероятные истории из своей жизни светленький, чистенький старичок И.А. Маневич, брат известного художника. Он бывал у Толстого в Ясной Поляне, Чехов щупал ему пульс, Станиславский и Качалов дарили ему свои фотографии с надписями. Мы и с ним стали друзьями. Он мне показывал удивительную коллекцию редчайших книг и подлинных рисунков Репина, Брюллова, Теребенева, Дени.

Слабенький, больной, смешной и по-своему очаровательный Маневич стал потом героем многих полуанекдотических историй, в которых он всегда представал как добрый, наивный и по-детски неловкий человек.

Хорошо мне бывало в маленькой хибарке, где снимал комнату замечательный театральный педагог, ученик Е.Б. Вахтангова, ныне заслуженный деятель искусств А.С. Чертов. Он учил меня театру, искусству произнесения слова, тому, что называют правдой в работе актера.

Война кончилась. Ленинградцы и москвичи помчались к родным гнездам. Осенью 1945 года я поступил на филологический факультет Саратовского университета имени Н.Г. Чернышевского.

Времена менялись.

Однажды во время лекции один полузнакомый парень подсунул мне тетрадку: «Напиши свои стихи».

Я, ни о чем не подозревая, написал какой-то подражательный сонет. В перерыве ко мне подошел товарищ с другого курса, который узнал обо всем неизвестно каким образом:

– Ты что, с ума сошел?

Товарищ был бледен. Он сочувствовал мне, видимо, считал обреченным на гибель. Гибель и вправду ходила за мной по пятам. В детстве я перенес полиомиелит, в юности – туберкулез. Но страшнее всего было то отчаяние, те травмы, которые каждый день наносила жизнь.

Девочка, с которой я дружил, была дочерью репрессированных родителей. Она всегда ходила в длинных платьях и чулках. Однажды она позвала меня на пляж, велела отойти, чтобы переодеться. Когда по ее зову я вернулся, я не поверил глазам: вся ее нежнейшая прозрачно-матовая кожа, так характерная для рыжеволосых, была покрыта страшными красными струпьями. Это была реакция на нервное потрясение. Что же тогда я мог испытывать, кроме жалости, боли и ужаса? Я поцеловал свою подружку, как умел, и понял, что не оставлю ее никогда. Жизнь потом разлучила нас. А на сердце остался ожог. Он болит до сих пор.

Среди товарищей по курсу у меня нашелся один журналист, который решил начать карьеру с жанра доноса. Он состряпал обо мне статейку в областную молодежную газету. В его изображении я представал как студент знающий, однако сомнительный с точки зрения идейной: интересуюсь почему-то только историей, стихи пишу о прошлом, а современность меня не волнует. По тем временам такая статья, опубликованная в газете, могла стать основанием для исключения из университета. Статейку даже набрали. Потом все-таки решили оттиск показать моему прямому научному руководителю Ю.Г. Оксману. Профессор, крупнейший в стране ученый-пушкинист, сам недавно вернувшийся из мест весьма отдаленных, высмеял доносчика. Дело прекратили. Я потом четыре года занимался Пушкиным в семинаре Юлиана Григорьевича, держал в руках автографы поэта, написал большую работу о «Медном всаднике», напечатал в «Литературном наследии» (органе Академии наук СССР) две статьи о В.Г. Белинском. Проф. Ю.Г. Оксман, ученый с мировым именем, бывший директор Пушкинского Дома, человек с головой Сократа и насмешливой улыбкой сатира, потом вел меня по жизни еще четыре года, учил служить истине и не бояться ничего.

Зима 1946-47 годов[1] была снежной.

На улицах стояли высокие сугробы, мимо которых с трудом пробирались люди в ватниках и валенках еще военного времени. Однажды среди них я увидел странного человека. Это был старик и юноша одновременно. Одет он был в короткую темную куртку явно не нашего покроя. На седых развевающихся волосах красовался берет Лоэнгрина. Он шел походкой взлетающей птицы, чуть сутулясь, но легко и быстро. Удивительно было его лицо: от него исходил какой-то северный свет. Человек, видимо, думал о своем и, казалось, не совсем понимал, по какой ступает земле.

– Кто это? – спросил я почти с испугом.

– Художник, приехал из Франции, – ответили мне. – Сейчас многие эмигранты возвращаются...

...Прошло время. Однажды я забрел в гости к Н.В. Огаревой[2], сотруднице художественного музея. Она жила тогда в знаменитом «Доме коммуны» на Провиантской улице. Квартиры в доме были двухэтажные: одна комната располагалась над другой и соединялась с ней лесенкой. Хозяйка была в верхней комнате «на антресолях». Рядом с ней сидела Альдона Митюшина[3], тогда студентка художественного училища, ныне – известный московский скульптор. Альдона в воздухе водила карандашом, как бы повторяя ритмы линий изображенного на репродукции лица. Лицо было сильно приближено к зрителю и словно выглядывало из левого верхнего угла рамы. Молодые кудри непринужденно падали на высокий юношеский лоб.

Большие глаза, обращенные к зрителю, вглядывались то ли в мир, то ли в себя. Но особенно удивляла сама живопись. В ней не было ничего от скучной бытовщины, от того пошлого натурализма, который многими в ту пору выдавался за реализм. Плотная зеленоватая гамма, мерцающая отзвуками голубого, желтого, пунцово-красного создавала ощущение то ли вечернего света, то ли отблеска нездешних миров. Портрет излучал какую-то странную энергию и властно притягивал взгляд.

– Что это? Откуда?

– Это репродукции работ нашего нового реставратора.

– Да ведь он большой художник!

– Конечно. Он выставлялся в Париже рядом с Матиссом и Пикассо.

Я сразу же вспомнил юношу-старца с походкой взлетающей птицы и решил познакомиться с ним.

Назавтра я уже был в музее и попросил из подвала, где была тогда реставрационная мастерская, вызвать художника Гущина. Он вышел. Я представился, сказал о том сильном впечатлении, которое произвели на меня его работы. Он промолвил: «Подождите!» и ушел к себе в подвал. Потом он вернулся, держа в руках такие же две репродукции, какие я видел у Н. Огаревой. На одной была даже дарственная надпись. Я ошалел от счастья, набрался наглости и попросил разрешения увидеть все его работы. Так началась наша дружба. Она длилась почти восемнадцать лет.

Мы виделись почти ежедневно или через день. Или я заходил в музейный реставрационный подвал, где тогда работал Николай Михайлович, или он, пройдя пешком через весь город, являлся ко мне поиграть в шахматы. Я откладывал свои книжки и писания. Начинался молчаливый «разговор» за шахматной доской или разговор об искусстве. Потом я шел его провожать. Мы вспоминали стихи, имена, события. Я читал ему Мандельштама, но старался больше слушать. Так я узнал о его жизни и понял, что она могла бы стать одной из самых прекрасных и трагических легенд нашего времени.

Николай Михайлович Гущин родом из Перми[4]. Отец его – сельский учитель. Мать – из крестьян. (Сохранилась фотография прекрасного карандашного портрета, где художник изобразил свою мать. Перед нами лицо простой доброй русской женщины, погруженной в ежедневные заботы, в свою любовь к сыну.)

Первоначальное художественное образование Гущин получил в Пермском художественном училище[5]. (В запаснике городского художественного музея в Перми хранятся две работы юного студента. Одну из них я видел. Это пейзаж в духе поздних передвижников.) Потом художник поступил в московскую «Школу живописи, ваяния и зодчества»[6] (позднее – ВХУТЕМАС). Годы его студенчества в этой школе совпали с годами пребывания там В. Маяковского и Д. Бурлюка. Юноша быстро сошелся с этими могучими «Задирами» и с их друзьями-футуристами: В. Хлебниковым, В. Каменским, Н. Бурлюком, А. Крученых. Эта дружба, видимо, не была случайной.

Д. Бурлюк, который сыграл такую заметную роль в становлении В. Маяковского-поэта, первый, кто назвал его «гениальным» и оказывал ему материальную помощь, обратил внимание на лохматого парня, неутомимого в своей страсти к холсту и краске. Вскоре он представлял его, как

и Маяковского, знакомым так: «Мой гениальный друг Николай Гущин», и давал ему полтинник в день на пропитание.

Племянница художника, чьи воспоминания мне удалось записать на пленку в 1965 году, рассказывает, что друзья приезжали даже в Пермь, и пытались организовать здесь футуристическую сельскохозяйственную коммуну, за что жестоко были побиты местными мужиками. Этот факт, не известный биографам В. Маяковского, любопытен как выразительный штрих в истории русского футуризма и нашел отражение в поэзии. Кто-то из участников этой «коммуны», скорее всего, В. Каменский написал даже большую поэму «Землянка», где воспроизвел быт незадачливых пахарей[7].

О том, что представляла собой художественная жизнь Москвы в годы перед началом Первой мировой войны написано очень много. Это было время поисков новых форм и средств выразительности, нового художественного языка. Многие воспринимали это как «бунт» молодежи, увлеченной достижениями французских импрессионистов. Против «стариков» передвижников. Передвижники, дескать, отвергли классицизм, Академию, итальянщину, но и создали новую рутину, избрав образцом фламандскую школу с ее жанровыми сюжетами и натурализмом.

В стихотворении «Верлен и Сезанн», написанном позднее, под впечатлением от поездки во Францию, В. Маяковский, обращаясь к Сезанну, говорит о влиянии французской школы на тогдашнюю художественную молодежь:

Он пишет.
Смотрю, как краска свежа.
Месье,
Простите Вы меня.
У нас старикам
Как под хвост вожжа
Бывало
От Вашего имени.
Бывало –
сезон
наш бог – Ван Гог
Другой сезон –
Сезанн.
Теперь ушли от искусства вбок,
Не краску любят,
а сан.

В Хлебников в блистательном стихотворении, посвященном Д. Бурлюку, так описывает знаменитого футуриста и его мастерскую:

С широкой кистью в руке ты бегал рысью
и кумачовой рубахой
улицы Мюнхена долго смущал.
Краски учитель
прозвал тебя
«Буйной кобылой
с черноземов России» (...)
через рабочее окно галка влетала, увидев в чем дело,
и стекла широко звенели
на бурлюков «хо-хо-хо»!
Горы полотен могучих стояли по стенам

кругами, горами, кольцами
светились они; черный ворон блестел синим клюва углом,
тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые висели холсты.
Другие ходили буграми, как черные овцы, волнуясь
своей поверхностью шероховато, неровной, –
в них блестели кусочки зеркал и железа.
Краску запекшейся крови
кисть отлагала холмами, оспой цветною.
То была выставка приемов и способов письма
и трудолюбья уроки ...

Все, сказанное В. Хлебниковым о Д. Бурлюке, можно было бы отнести и к Творчеству Н. Гущина. Те, кто бывал в Саратове в его маленькой семиметровой комнатенке, где стены были завешены от пола до потолка работами художника, могли видеть эти «горы полотен могучих», где «краску запекшейся крови кисть отлагала холмами, оспой цветною». А под всем этим великолепием стояла солдатская кровать, крытая разрисованной мешковиной. (Как тут не вспомнить кровать В. Хлебникова, единственную деталь, как теперь говорят, интерьера его комнаты.) На ней художник ночью спал, а днем сидели мы, завороженные близостью к великому, прикосновением к самой истории нашего искусства. С помощью старшего друга, такого непринужденного, доброжелательного, иногда по-мальчишески озорного, мы не только учились понимать живопись, но становились современниками великих событий. Стены комнаты раздвигались и вмещали в себя весь мир с его кипением страстей, революциями, войнами, любовью, борьбой художественных направлений.

Россия расширенный материк
И голос Запада громадно увеличила,
как будто донесся крик
чудовища, что больше в тысячи раз.
Ты жирный великан, твой хохот прозвучал по всей России.
Борец за право народа в искусстве титанов,
душе России дал морские берега.
Странная ломка миров живописных
Была предтечею свободы, освобожденья от цепей.
Так ты шагало, искусство, к песне молчанья великой
(В. Хлебников. «Бурлюк»)

Позднее я задумывался, какое место занимал Н.М. Гущин в этой борьбе? Что характеризовало его как личность? Что давало ему возможность выносить любые жизненные передряги с такой сравнительной легкостью?

Да, конечно, он был очень талантлив. Изумительно и до конца талантлив. Счастливым его делал труд. Как бы ни было тяжело и одиноко, стоило ему только сесть работать, как он забывал все и полностью погружался в ту музыку, которая начинала петь в нем. (В юности он даже играл на скрипке. От тех времен у него остался только смычок, который, как талисман, всегда висел у него на стене.)[8]

Какая же это была музыка?

Тот, кому приходилось видеть работы Д. Бурлюка, описанные В. Хлебниковым (несколько полотен висят в Казанском художественном музее), могли бы сразу почувствовать и сходство, и различие этих художников. Бурлюк – аналитик, экспериментатор, изобретатель. Гущин – лирик. Вот четыре темы, которые волновали его всю жизнь: природа как первозданный источник истины, красоты и художественных впечатлений; творческая личность художника, создателя «второй

реальности»; женщина – олицетворение добра, страстей и некого всемирного, почти божественного начала, властно зовущего к творчеству; музыка, перевоплощенная в красках.

Все это, конечно, было далеко от интересов, например, В. Маяковского, который, навестив старого товарища в Париже, даже не упоминает его в своих очерках о французском искусстве. Однако эти четыре свои основные темы Н. Гущин пронес через такие испытания, через огонь и кровь войн и революций, через вынужденную эмиграцию, через одиночество, искушение успехом и т.д., что стоило бы глубже вникнуть в их сущность. Это тем более необходимо, что зрителя не покидает ощущение значительности и необходимости для нашей духовной жизни всего того, что создано Н.М. Гущиным. Все эти пейзажи, портреты и девичьи лица, так таинственно мерцающие на его холстах, таят в себе некий отблеск – отблеск времени, и объективно свидетельствуют о нем.

В этой связи хочется вспомнить эпизод, похожий на легенду или галлюцинацию, который, однако, имел место в жизни Н.М. и оказал значительное влияние на его судьбу. По словам художника, в детстве он отличался особой чувствительностью и даже пережил несколько раз припадки сомнамбулизма. Он вставал во сне по ночам, и обеспокоенные взрослые принуждены были осторожно следовать за ним, чтобы не испугать и не навредить ему. Когда он подрос и стал юношей, судьба сделала его свидетелем и участником событий, которые с головой окунули его в окружающую действительность и едва не стоили ему жизни.

Это был трагический и бурный 1905 год.

В Перми, на знаменитой Мотовилихе, известной своим казенным орудийным заводом, были рабочие волнения. Для их усмирения власти вызвали казаков. По словам Н.М., сам он не принимал активного участия в событиях, однако его товарищ, тоже студент, был революционером и однажды позвал его на рабочую сходку. Собрались в домике где-то на окраине. Сходка постепенно превращалась в вечеринку молодежи с песнями и танцами. Вдруг ночью в дом ввалилась компания пьяных казаков. Казаки испортили всем настроение и ушли. Через некоторое время заторопились и два друга. Идти пришлось по темным улицам. На перекрестке стояла кучка народу. Друзья подошли и увидели на земле тех самых казаков, которые являлись к ним на вечеринку. Казаки были убиты. Друзья забеспокоились и решили предупредить товарищей, оставшихся в домике. Он пошли обратно, не заметив, что наступили на кровь и оставляют следы. Известие об убийстве казаков не очень испугало собравшихся. Они продолжали веселиться. Однако вскоре вбежала испуганная хозяйка и сказала, что дом оцеплен. Арестованных гнали, избивая нагайками и ножнами шашек. Их посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни. Вскоре, однако, приговор был отменен: явились подлинные убийцы и показали невиновность арестованных. Приговоренных к смерти через повешенье выпустили на свободу, а их спасители, добровольно севшие в тюрьму, вскоре совершили побег.

Но юный художник надолго заболел. У него были отбиты внутренности. Сказывалось и нервное потрясение. Родители решили до выздоровления поселить его в домике пермского лесника. Там в тишине и одиночестве провел он полгода как собеседник деревьев и трав. Он много бродил по лесу и писал свои пейзажи.

– Однажды, – рассказывал художник, – уже глубоко осенью, в пасмурный денек, когда кружились первые «белые мухи», я сидел у окна и работал. Хозяина не было. Вдруг из снежных хлопьев возникла фигура какого-то старичка. Он попросил разрешения войти. Я впустил его и продолжал работать. Старичок молчал. Потом встал и вышел. Через несколько дней он пришел опять и вел себя так же. В третий раз он заговорил:

– Так ты, стало быть, художник?

– Художник.

– Что малюешь?

– Да вот красоту ищу.

– Какая же это красота? В миру красоты не бывает. Хочешь, я тебе покажу настоящую красоту?

Далее началось какое-то колдовское действо. Старичок велел принести таз и ведро с водой,

вылить воду в таз и не оборачиваться до его приказа. Художник, видимо, под влиянием любопытства настроения, может быть и гипноза, выполнил все, что велел старичок, но, как это бывает в сказках, не выдержал и оглянулся раньше времени. На секунду он увидел женское лицо неслыханной красоты. Видение тут же исчезло, а старичок плюнул и ушел. Что это было – то ли сон, продиктованный юношеским воображением, одиночеством, приобщенностью к миру русской сказки, которая окружала художника в тот момент? Или какой-то сектант приходил, желая обратить юношу в свою веру? Неизвестно. Да это и не главное. Главное – в другом.

– Удивительно, – продолжал Николай Михайлович свой рассказ, – но в самых трудных для меня жизненных ситуациях я как бы в забвении видел перед собой тот лик, который показывал мне старичок...[9]

...Я еще вернусь к этой теме, а пока продолжу изложение известных мне фактов.

В Москве художник начал выставляться. Талантливость его обратила на себя внимание. Ему предлагали заказы. Он писал портреты и скопил сумму денег для путешествия за границу[10]. Поехать он решил... в Америку.

Крестьянскому сыну, мистически влюбленному в русскую природу, урбанистическая Америка не понравилась. Тогда он решил отправиться в лес. Лес был совсем не такой, как в Перми. Художник долго бродил по нему, устал, заснул под деревом и проснулся от нестерпимой боли: он был весь искусан пчелами. В момент пробуждения он увидел тот самый женский лик, посчитал это за некий знак и решил немедленно возвращаться домой. Но...

Именно в это время началась Первая мировая война. Возвращаться через Европу было нельзя. Пришлось избрать окольный путь – через Филиппины и Японию. В Японии он остановился и поступил в японскую Академию художеств.[11] Потом он признался мне, что это искусство его скоро перестало волновать.

Как и когда из Японии он вернулся в Россию, я не знаю. Знаю только, что он успел повоевать в чине офицера, сопровождал куда-то пленных китайцев[12]. Потом приехал в Пермь к родным.

Шла Гражданская война. В Перми были красные. Советская власть приняла решение установить скульптурный монумент в память павших партизан. Н.М. Гущин принял участие в конкурсе, завоевал первое место, и по его макету монумент был сооружен и открыт при большом стечении народа. Памятник представлял собой величественное сооружение, состоящее из выразительных человеческих фигур и символов нового мира – серпа, молота и колосьев. Сзади на пьедестале был укреплен портрет автора. Местная пресса подробно и восторженно осветила это событие.

Но вскоре город заняли колчаковцы. Монумент взорвали, а Гущину пришлось скрываться, т.к. ему вновь грозила смертная казнь. Он бежал на Восток через Сибирь, а следом катилась отступающая армия Колчака. Вместе с женой Наташей, тоже художницей[13], Н.М. Гущин оказался в Харбине. Здесь он некоторое время жил, работал и создал так много произведений, что их хватило на целую выставку. Выставка имела большой успех. Позднее ее всю приобрел за солидную сумму какой-то меценат. Интересно, что на выставке побывали и офицеры бывшей колчаковской армии. Художник услышал разговор:

– Кто этот Гущин? Уж не тот ли, которого хотели расстрелять в Перми?

Гущин подошел к собеседникам и сказал:

– Да, это я. Тот самый.

– Так Вам удалось скрыться?

– Как видите.

– И прекрасно сделали. Иначе нам бы не пришлось видеть Ваши произведения.

Художник с улыбкой поклонился.

На заработанные деньги решено было ехать в Европу. По свидетельству племянницы Н.М., он был направлен в Париж для продолжения образования правительством Дальневосточной Советской республики, с которым, видимо, поддерживал переписку.

В Европе художник с женой сначала побывал в Италии, а затем, в начале двадцатых годов, приехал в Париж. Париж в то время был не только центром мирового искусства, но и приста-

нищем русской белой эмиграции. Огромная армия талантов разной величины жила грошовыми заработками. Непрактичный, доверчивый русский художник в первые же дни стал жертвой авантюриста-эмигранта, который выманил у него деньги[14], заработанные в Харбине, и немедленно скрылся из Франции. Пришлось взяться за работу маляра. Николай Михайлович с горечью рассказывал мне о томительных днях однообразного механического труда, о чувстве тоски и безнадежности, которое им овладевало. И странно – в минуты забвения он видел тот прекрасный, загадочный лик, наколдованный старичком из пермского леса.

Выбраться из ямы художнику помогли молодость и талант портретиста. Тот, кто видел портреты и автопортреты, написанные Н.М. Гущиным, никогда не забудет впечатления, которое они оставляют. Достаточно вспомнить автопортрет 1925 года, о котором я уже упоминал, автопортрет «Внутренняя сосредоточенность», репродуцированный на почтовой открытке в сопровождении стихов Луи Каппатти, последний трагический автопортрет, написанный в Саратове, чтобы убедиться в этом.

У художника стали появляться заказчики. Среди них были самые разные люди – то итальянская графиня, то русский князь Юсупов, убийца Распутина, то французский буржуа, то – дама полусвета. На него обратили внимание маршаны – каста дельцов, спекулянтов искусством. На фоне серости и пошлого кривляния подлинность таланта русского художника бросалась в глаза. Его работы стали появляться на выставках рядом с работами Матисса и Пикассо. О нем заговорила пресса. «Виртуоз кисти Гущин» – вот заголовок одной из газетных статей, посвященных его творчеству. Журналы печатали цветные репродукции с его картин. Следствием несомненного успеха были и две монографии, посвященные творчеству Н.М. Гущина. Его работы появились в экспозициях музеев[15] Лондона, Амстердама, Рима. Материальное благополучие художника укрепилось настолько, что он смог приобрести хорошее помещение для ателье.[16] *

Но появились новые проблемы.

Художник так увлекался своей работой, что проводил за холстом чуть ли не целые сутки. Это делало одинокой его жену, красавицу Наташу. Она все чаще грустила, задумываясь о чем-то. Назревал глубокий трагический конфликт. Жена изменила художнику. У нее должен был родиться ребенок. Художник просил ее остаться, обещав усыновить ребенка. Несчастье потрясло Н.М.

Но Наташа понимала, что страсть к искусству у него сильнее земной человеческой любви. Произошел разрыв. Два любящих человека вдали от родины и близких людей – расстались. Это несчастье потрясло Н.М.

Целый месяц он ходил по Парижу, обливаясь слезами. Иногда засыпал на садовой скамейке, а когда просыпался, долго не мог прийти в себя и видел перед собой только прекрасный лик своей мечты. Тогда-то он и написал портрет жены с закрытыми глазами и запрокинутой головой, трагический образ женщины, бессильно противостоящей окружающему злу.

Потом Н.М. Гущин стал реставратором[17] и работал в крупнейшем художественном музее мира – Лувре. Он посещал аукционы, покупал произведения искусства. Иногда он покупал вещи, которые владельцы предлагали Лувру, но по той или иной причине не были куплены. В его квартире скопились значительные художественные ценности.[18] Гангстеры даже пытались ограбить его. Приходилось думать о самообороне. С горьким юмором рассказывал мне Николай Михайлович, что иногда он даже носил с собой... утюг.

Потом он переехал в Монте-Карло.[19] Одиночество мучило его. Началась Вторая мировая война. Немцы вступили в Париж. В Монте-Карло их не было. Художник проигрывал деньги в рулетку, пил, хотел умереть. У него была яхта. В бурную погоду он брал на плечи своего любимого кота и уходил на яхте в море, желая гибели. Но море его не принимало.

** История покупки этого помещения – самостоятельный сюжет, характерный штрих в жизни французского общества. Раньше это была большая квартира, принадлежащая очень старой одинокой женщине, владелице сорока кошек. Когда женщина умерла, никто из соседей и не подумал заглянуть к ней в течение длительного времени. Полиция, взломав двери, увидела страшную картину: мертвая старуха сидела в кресле, а вокруг толпились все ее одичавшие кошки. Страшный образ одиночества и гибели человека в мире равнодушия и эгоизма. – **Б.Б.***

После окончания войны среди русских эмигрантов во Франции началось движение за возвращение на Родину. В нем принял участие и Н.М. Гущин, ставший председателем Комитета советских патриотов. По предложению работников советского посольства он написал маслом портрет Сталина. Это открыло ему дорогу на родину.

Художник мог поехать в свою родную Пермь или поселиться в Москве.[20] Однако он выбрал Саратов. Его привлекала Волга, возможность быть ближе к природе и скромная работа реставратора в художественном музее им. А.Н. Радищева.

Что ждало в Саратове его, человека, видевшего весь мир, знавшего успех во Франции, оставившего блестящий Париж и шумный Монте-Карло? Я уже говорил о маленькой комнатке в коммунальной квартире на Горной улице[21], где поселился художник и где на стенах висели его сокровища – картины старых мастеров и собственные его работы.

Я вспоминал о темноватом и холодноватом подвале художественного музея, где была тогда реставрационная мастерская. Я говорил и о той атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщей слежки, которые особенно должны были бросаться в глаза бывшему эмигранту. Можно упомянуть еще и то, что само искусство, в природе которого искренность и душевный порыв, в те годы подвергалось строжайшей регламентации и должно было соответствовать неким утвержденным свыше нормам и вкусам. Это касалось и тематики, и сюжетов, и манеры письма. Прочее подвергалось анафеме и грозило художнику многими бедами. И все же художник был весел и не роптал на трудности жизни.

– Вы не представляете, какое счастье – говорить на родном языке, – признавался он мне.

Однажды зимой он пришел ко мне по глубокому снегу в брезентовых полуботинках.

– Вы же, наверное, промочили ноги! – в ужасе сказал я.

– Ничего страшного, я сделал хорошие стельки из фанеры, – ответил он.

Работы Н.М. Гущина не появлялись на выставках саратовских художников[22]. Выставкомы отвергали не только его удивительную живопись как «несоответствующую принципам», но и его предельно реалистические рисунки. По поводу великолепной головы француза из цикла «За мир» один из членов выставкома, сам художник, сказал:

– Откуда я знаю, что кричит этот француз: «Долой капитализм» или «Долой социализм»?

Это уже было почти политическое обвинение человеку, который всей душой хотел влиться в жизнь родной страны. Такое отношение к большому таланту можно сравнить разве что с растратой национальных богатств. «Мы славу свою уступаем задаром, как будто она не по нашим амбарам, как будто у нас ее край непочатый...» Эти слова поэта Б. Слуцкого вполне применимы в данном случае.

Но художник не унывал. Походка его была легка и улыбка ясна. В нем не было ничего от чиновного чванства и высокомерия мэтра. Он был на Родине, у него была Волга (не путать с автомобилем). С большим трудом, страдая от интриг всевозможных спекулянтов и деляг, промышлявших на Волге, он приобрел моторную лодку и маленький домик бакенщика на волжском берегу. Он расписал стены этого домика фигурками танцующих балерин (видимо, имея в виду артисток Саратовского театра оперы и балета, с одной из которых – Дубровиной – был дружен). Он сделал на французском языке вывеску «Villa Marfutka» и превратил домик в тесноватую, но уютную мастерскую. В погожие летние дни он сажал нас в свою моторную лодку, и мы плыли на другой берег на «виллу». До сих пор у меня в глазах солнечные блики на широком волжском плесе, зеленая полоска берега вдали и счастливое лицо нашего седовласого рулевого.

Кто только не побывал на «Марфутке»! В первую очередь это были, конечно, сотрудники музея, реставраторы, молодые художники – Михаил Аржанов, Владимир Солянов, Виктор Чудин, Слава Лопатин. Они привозили свои этюдники и разбегались по кустам, целый день писали, а вечером собирались у костра, пили чай, пахнущий дымком. Бывали здесь и искусствоведы (Н.И. Оболенская с дочкой Наташей и мужем И.М. Свищевым, человеком колоритнейшей внешности, страстно любящем Волгу).

Бывали здесь и Н.В. Огарева, и А. Митюшина, и физик В. Израилевич, и профессор Гликман с женой, и Р.А. Резник, доцент филфака, и еще одна Наташенька «голубое видение», как шутливо называл ее Н.М., и я, к тому времени тоже ставший сотрудником музея. (Пять лет я работал экскурсоводом, работал в фондах и написал большую статью об использовании экспонатов художественного музея им А.Н. Радищева на уроках литературы.) Мы пели песни, читали стихи, любовались закатами и не подозревали, что может быть именно здесь, на «Марфутке» возникнет некая новая «марфутско-барбизонская» школа художников, вдохновителем которой является Н.М. Гущин. У меня сохранились некоторые этюды, созданные на «Марфутке». Это «Пейзаж» М. Аржанова и портрет «М. Аржанов на этюдах» В. Чудина. Обе работы поразительно свежи и свидетельствуют о стремительном росте мастерства молодых художников под влиянием учителя – хозяина «Виллы». Позднее эти художники стали зрелыми мастерами, создали удивительные произведения, достойные самой высокой похвалы.

Работы рано умершего Аржанова глубоко трогают лиризмом и эпической мощью, целостностью композиции и красотой живописно-цветовой фактуры. Художник В. Солянов – мудр, философичен, необычайно богат средствами выразительности.

В. Чудин в тот период, который мне известен, когда он находился под непосредственным влиянием творчества учителя, создал произведения поразительные по красоте, где мерцающая, бугристая пастозная живопись, свойственная учителю, находит прекрасное и оригинальное применение.

Интересен и еще не до конца раскрыт В. Лопатин, художник ищущий, тонкий и лиричный.

Все они представители той школы, которая слагалась на «Марфутке».

К ним можно было бы причислить и А. Матюшину, создавшую в то время интересные пейзажи и карандашный портрет Н.М. Но она позднее отошла от живописи и стала скульптором.

Все эти художники получили от своего учителя в наследство не только искусство живописцев и ремесло прекрасных реставраторов, но и принципиальный стиль поведения – преданность делу, скромность, отрешенность от суеты и презрение к внешнему успеху. Их время еще придет. Наш Саратов, подаривший миру и П. Кузнецова, и Юстицкого, и М. Сарьяна, не оставит без внимания Н. Гущина и его учеников.

Надо сказать, что некоторые произведения Н.М. Гущина все же пробивали себе дорогу. Написанный им портрет М. Ганди был подарен от имени Советского правительства Д. Неру. Получила известность и работа Гущина-реставратора. Журнал «Советский Союз» напечатал фотографию, где художник изображен на фоне найденной им и реставрированной картины школы Рубенса. Но всему этому, конечно, далеко было до того признания, которое получили, например, такие «возвращенцы», как Коненков или Эрзя.

В 1963 году Николай Михайлович тяжело заболел. Мы навещали его в больнице и дежурили у него по ночам дома. Можно себе представить, как ему было трудно в душном тесном помещении без удобств. Он даже просил достать ему яд. Я, конечно, ответил, что сделать этого не могу. Тогда он впервые произнес запомнившуюся мне горькую фразу: «Вот, и умереть-то нельзя, как хотелось бы...»

Я не знаю, являлось ли ему в последний час видение юности. Но твердо уверен, что он не изменил своей мечте.

После его смерти в музее должна была состояться гражданская панихида. Студенты консерватории хотели привести свой симфонический концерт. Но все это по чьему-то таинственному распоряжению было отменено. До кладбища гроб везли на тряской машине. У открытой могилы стояли желтеющие деревья. Они молчали. Молчали и мы, не умея выразить своей боли. Тогда я, запинаясь, прочел написанное за ночь стихотворение:

Омертвели наши имена
В клетках мозга.
Тени на ресницах.

Замерли в пространстве полотна
Ветви, волны и девичьи лица.
В мире – осень. Легких листьев звон.

Словно на последнем вернисаже
Окружают нас со всех сторон
Им не завершенные пейзажи.
Мы – друзья. Нас много у него.
Смотрим на последние наброски.
Понимаем – более всего
Облака любил он и березки.
Им теперь за гробом плыть да плыть
Всей громадой грозового фронта.
Облака нельзя остановить
Огненной чертою горизонта.

Июнь 1986 г.

---

[1] Ошибка памяти – Н.М. Гущин прибыл в Саратов в октябре 1947 года, т.е. речь идет о зиме 1947–1948 годов. Источник: Личное дело Н.М. Гущина. // Научно-исторический архив Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Фонд. 369. Оп. 1. Ед. хр. 21.

[2] Нонна Валерьевна Огарева. Род. 15.05.1929. Училась на отделении истории искусств исторического факультета Ленинградского государственного университета (1943–1948). В 1948–1970 – научный сотрудник Радищевского музея. С 1970 живет и работает в Москве. Исследователь жизни и творчества А.П. Боголюбова.

[3] Альдона Михайловна Ненашева (Митюшина). Окончила филологический факультет Саратовского университета и Саратовское художественное училище. С середины 1950-х живет и работает в Москве. Ее воспоминания о встречах с Н.М. Гущиным опубликованы в журнале «Волга».1988. № 7.

[4] Н.М. Гущин родился в селе Богородское Нолинского уезда Вятской губернии. В Перми прошли его детство и юность (1893–1908) до отъезда в Петербург. В революционные годы (1917–1918) он провел несколько месяцев в Перми.

[5] Первоначальные художественные навыки Н. Гущин получил в Пермском Алексеевском реальном училище, где обучался в 1902–1908 годах. Художественного учебного заведения в Перми в те годы не существовало.

[6] Видимо, речь идет о ранней работе Н. Гущина «Пейзаж» (1907, холст, масло 94х146), хранящейся в Пермской художественной галерее.

[7] В. Каменский. Землянка. СПб., 1910; В.Каменский. Его-моя биография великого футуриста. М., 1918; В. Каменский. Путь энтузиаста. М., 1931 и др. книги.

[8] По сведениям других современников Н. Гущина он имел навыки игры на виолончели и даже привез с собой в Саратов инструмент, который был продан в трудные годы одному из саратовских музыкантов.

[9] Рассказ об этих событиях, записанный со слов самого художника, опубликован в издании: Louis Cappatti. Nicolas Guschin et sa mystique du portrait. Editions Nicaea. 1942 (Луи Каппатти. Николай Гущин и мистика его портретов. Ницца, 1942).

[10] Путешествие в Америку Н. Гущин совершил на средства Общества поощрения художников.

[11] Сведений об обучении Н.М. Гущина в художественных Академиях каких-либо городов Японии не сохранилось.

[12] Во время Первой мировой войны (1915–1916) художник действительно через всю Сибирь сопровождал эшелон с китайскими рабочими. См.: Личное дело Н.М. Гущина. // Научно-исторический архив Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Фонд. 369. Оп. 1. Ед. хр. 21.

[13] Наталья, жена художника, была студенткой медицинского учебного заведения в Москве.

[14] О потере денежных средств и обмане художника соотечественником пишет и Луи Каппатти. Произошло это в Париже и позднее, видимо, на рубеже 1920–1930-х годов (Louis Cappatti. Nicolas Guschin et sa mystique du portrait. Editions Nicaea. 1942. С. 6).

[15] Произведения Н.М. Гущина в 1920–1930-е годы появлялись на выставках в Париже, Лондоне, Брюсселе, Монте-Карло. Некоторые из них были приобретены частными коллекционерами.

[16] В эти годы художник не имел средств для приобретения мастерской. Как свидетельствуют современники, после развода с женой и отказа в визе для возвращения в Россию, он очень бедствовал. Ателье было приобретено позже, уже в период жизни Н. Гущина в Монте-Карло. О глубокой депрессии, в которой пребывал Николай Гущин, свидетельствует и Луи Каппатти, и граф Д.Н. Вуич, в семье которого жил художник в 1933–1939 годах.

[17] Сведениями о том, что Гущин работал штатным реставратором в Лувре, мы не располагаем. Вероятнее всего, он приобрел там навыки этой профессии и выполнял реставрационные работы на договорной основе.

[18] Явное преувеличение. См. прим. 16.

[19] Н.М. Гущин поселился в Монте-Карло в 1933 году, после отказа Посольства СССР в разрешении вернуться на родину. См.: Личное дело Н.М. Гущина. // Научно-исторический архив Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Фонд. 369. Оп.1. Ед. хр. 21.

[20] Вряд ли русским репатриантам предоставлялась свобода выбора места поселения. Скорее всего, предлагалось на выбор несколько городов.

[21] Н.М. Гущин жил в Саратове в доме на ул. Гоголя, 97, кв. 3. На первом этаже этого же дома жила семья известного саратовского художника В.М. Юстицкого (1882–1961).

[22] На выставках в Саратове работы Н.М. Гущина появлялись дважды: в 1948 и в 1955 годах.

Подготовка текста, предисловие, комментарии Л.В. Пашковой

Александр БЕЛОВ

Пассажиры бумажного кораблика

Симптомы мании преследования я стал замечать за собой с незапамятных пор. Не так, чтобы Фредди Крюгер чудился за каждым углом, но определенная галлюцинация присутствовала. Совершенно точно, еще с юности казалось, что рядом обязательно находится тот, от кого исходит скрытая угроза: подслушивающий, подсматривающий, записывающий...

Поэтому даже удивительно, что я не почувствовал беды на пороге, когда однажды в мой редакционный кабинет постучал человек средних лет неприметной внешности и в неброской одежде. Таких посетителей в отделе информации нашей газеты каждый день бывало немало. Вот и этот очень походил на тренера физкультурников.

– Здравствуйте, Александр Борисович, разрешите? – почтительно спросил пришелец.

– Заходите, – не слишком радушным тоном ответил я, мучительно размышляя над тем, как побыстрее избавиться от непрошенного гостя. – Вы, наверное, заметочку о спорте принесли... Должен вас огорчить, в ближайших номерах нет ни одного свободного квадратного сантиметра.

– Какая заметочка, – недоуменно сказал посетитель. – Странно, что вы меня не знаете, я у вас часто бываю. Даже однажды лекцию читал. Позвольте представиться, майор государственной безопасности Николай Владимирович.

Он сунул мне в нос служебное удостоверение и по-хозяйски расположился напротив. Его почтительность растаяла гораздо быстрее, чем сигаретный дымок над моей пепельницей.

С меня также вся вальяжность слетела мгновенно. Богатого опыта общения с сотрудниками «органов» я не имел, но кое-какое представление, основанное на личных впечатлениях, все же было. Едва минул год, как я вернулся из стройбата, где служил замполитом роты. Там за весь призыв мог и не узнать, кто за нами приглядывает в особом отделе. Но заместитель тамошнего начальника каждый день приходил к нам в канцелярию поиграть с моим ротным в нарды по полтинничку. Играл майор-особист просто кошмарно, с ним легко бы справился и детсадовец, но мой ротный, капитан Минаев, предпочитал всегда оставаться в небольшом минусе.

А заместитель начальника особого отдела любил в ходе партии отвлечься и рассказать какую-нибудь занятную историю из своей нелегкой службы. Вот, например, в Германии в их танковой бригаде как-то солдат на несколько дней задержался из отпуска. Наконец, возвращается, его командир вызывает, чтобы шею намылить по полной программе и на гауптвахту отправить. Но предварительно, естественно, нужно причину хотя бы формально выяснить. Обычно в таких случаях бойцы ссылаются на внезапную тяжкую болезнь или стихийные бедствия. А этот воин говорит, что у него с деньгами украли все документы, и «погранцы», понятное дело, его сняли с поезда. Комбриг орет, врешь, скотина, пьянствовал наверняка, а сейчас лапшу на уши вешаешь. Если ты здесь, то, значит, все же пропустили тебя. Следовательно, в нужный момент нашел свои документы. Но боец стоит на своем, дескать, ему пришлось своим ходом добираться, минуя все заставы. А через Польшу и пол-Германии пешком шел да на попутках. Комбриг доложил в особый отдел, дескать, что-то тут непонятная ситуация. Воина допросили как следует, он на своем стоит. Тогда его обратно в Союз повезли и приказали показать, каким маршрутом шел. И что вы думаете, солдатик снова легко прошмыгнул и советско-польскую, и польско-немецкую границы. За оказанную помощь в выявлении слабых мест в организации обороны стран Варшавского договора его простили, а вот несколько генералов за допущенное разгильдяйство пришлось уволить со службы.

Завершая эту и подобную ей баечку, рассказчик всегда сладко улыбался и хихикал. Короче, выглядел майор-особист этаким добрячком и балагуром. Но капитан Минаев по пьянке предупредил, что с ним расслабляться не стоит. Сам пусть говорит все, что хочет, а другим лучше при этом помалкивать. В связи с не очень удачно складывающей афганской кампанией в армии выяв-

ляют идеологически разложенные элементы. На его памяти несколько офицеров лишились погон из-за чрезмерной болтливости, а одного по обвинению в разглашении военной тайны отправили под трибунал.

Потому со своим незваным гостем я сразу решил держаться на дистанции, хотя и предположить не мог, чем вызвал к себе интерес. А тот не стал меня томить и к делу перешел быстро.

– По неприятному поводу беспокою вас, – участливо и жестко одновременно сказал Николай Владимирович. – Вчера был обыск у вашего ближайшего друга Юрия Галочкина, изъяли кучу нелегальной литературы от «Доктора Живаго» до «Архипелага ГУЛаг». Вот я к вам и пришел предложить, чтобы вы сдали добровольно все, что у него брали для прочтения и распространения. Давайте не будем тратить время попусту. Берите листок бумаги, пишите объяснительную в адрес управления Комитета госбезопасности, а я, чтобы вам не мешать, пойду пока своим делам, а через полчасика загляну. Договорились?

Николай Владимирович легко и непринужденно буквально растворился в воздухе, а я остался сидеть с полуоткрытым ртом.

Господи, вот оно и свершилось. А я-то считал, что страдаю паранойей. Более того, подозревал, что это опасное заболевание передалось мне по наследству. Во всяком случае, мой отец, несомненно, был носителем гнетущего гена. Он постоянно говорил, что ощущает на спине чьи-то заинтересованные и недружественные взгляды.

Так получилось, что с матерью они расстались, когда я еще находился в нежном младенческом возрасте. Не мне судить, кто прав, кто виноват. Они обречены были встретиться, и обречены расстаться. Она – первая красавица филфака, он – первый интеллектуал этого замечательного факультета Саратовского госуниверситета. Он помнил наизусть чуть ли не все поэзию серебряного века, а тяжелая хромота лишь придавала ему романтического облика а-ля Байрон. Но мало кто догадывался, что ему приходилось переживать.

Гибель ходила за мной по пятам, написал он в своем дневнике, ничуть не сгущая краски. Судьба наносила удар за ударом. В детстве перенес полиомиелит, в юности – туберкулез. За два дня до войны выдержал тяжелую операцию. Но с голодухи и от нервных потрясений рана его долго не затягивалась. Однако старался не отстать от других мальчишек и отчаянно прыгал за ними на своих костылях. Однажды во время налета залез на крышу, по которой колотились осколки разорвавшихся бомб и снарядов. Немцы сбросили осветительную ракету, и она висела над Волгой как люстра. В ту ночь бомбили крекинг-завод, погибло много людей.

А утром в школе удивительные педагоги учили перепуганных, замерших и голодных ребятишек прекрасному и вечному. В старших классах их драматический кружок ставил лермонтовский «Маскарад», с которым шел в госпиталя. Судя по всему, нехилым там выдался любительский театр, если из него вышли одна народная и две заслуженные артистки России. А папа играл Арбенина. Подмостками служили больничные вестибюли, а там приходилось видеть всякое. Однажды перед артистами в перевязочную на каталке везли нечто жуткое. Это была живая человеческая голова, смотревшая на мир ясным взором. Когда сняли покрывало, под ним оказался обрубок – туловище без ног и рук. Этот боец обгорел в танке.

Закончилась война, в 45-ом отец поступил на филфак. Нынешним студиозам трудно себе представить, то тогда даже первокурсники могли придти к профессорам домой, чтобы показать свои литературные опыты или просто посоветоваться. И, тем не менее, тогда было именно так. А если учесть, что отец торопился высказать свое мнение по любому поводу, особенно в тех случаях, когда его никто не спрашивал, то его известность станет легко объяснимой.

На пятом курсе все знали, что Борис Белов пишет уникальный диплом, за который ему, вполне вероятно, сразу присвоят степень кандидата филологических наук. Его научный руководитель, знаменитый саратовский профессор, в самой широкой аудитории говорил, что эта студенческая работа станет достойным вкладом в советское пушкиноведение.

Папа рассказывал, что ему действительно удалось совершить открытие и неопровержимо доказать, что в поэме «Медный всадник» присутствует масса параллелей с восстанием декабристов в 1825 году. Такая трактовка встречала полное одобрение, и триумф казался неизбежным. Но внезапно повеяли новые ветры. Ленинско-сталинский ЦК ВКП(б) обратил внимание советских литературоведов на недопустимость вульгарного подхода к классическим произведениям, надуманной интерпретации их сюжетов. Причем указание последовало в исключительно мягкой форме. После издания соответствующей директивы никого не то, что не расстреляли, но и не посадили. Так, всего-то уволили и выслали из Москвы директора профильного научно-исследовательского института и парочку редакторов литературных журналов. Но оргвыводы на всех уровнях были немедленно сделаны.

Научный руководитель отца, знаменитый саратовский профессор, резко поменял свою точку зрения. Он сам в свое время получил «пятерик» за попытку срыва столетнего юбилея Пушкина, почему-то круглая дата гибели поэта называлась именно юбилеем. А когда в лагере стал утверждать, что схлопотал срок по недоразумению, удостоился добавочных пяти лет за клевету на советский суд. Что оставалось делать видному ученому с такими пятнами в личном деле? На научном совете он заявил, что дипломная работа выполнена на очень низком уровне, содержит массу сомнительных, а то и идеологически вредных утверждений. Тет-а-тет профессор сказал отцу, чтобы обиду не таил, поскольку они на пару в данный момент подобны живой чернобурке в меховом магазине.*

Папа уже приготовил вещички и принялся обдумывать, как со своей палочкой будет катать тачку на каком-нибудь сибирском рудничке. Его друг Борис Ямпольский схлопотал «десятку» за антисоветскую деятельность, едва окончив школу, за гораздо меньшее прегрешение. Его взяли в конце апреля 41-го за то, что он друзьям-однокашникам читал на улице Есенина, Блока и Надсона. Стихи расценили как антисоветскую пропаганду. В качестве вещественного доказательства подрывной деятельности предъявили хранение портрета Троцкого. Ямпольскому на следствии и рта не дали раскрыть в свое оправдание. А реабилитировали его уже в 60-х. Он при пересмотре дела попросил показать ему тот самый портрет. Это была выдранная из школьного учебника фоторепродукция — Луначарский в революционном френче и пенсне.

С «Медным всадником» же просматривалось настоящее противодействие генеральной линии партии по очищению шедевров отечественной культуры от космополитических извращений.

Как я позже узнал, заниматься культурой в пределах нашей счастливой Родины было гораздо опаснее, чем осваивать, например, околоземное пространство. Популярный саратовский городской сумасшедший Исаак Маневич невероятным стечением обстоятельств спасшийся бегством от немцев в годы войны и от репрессий НКВД во времена всевозможных чисток, давал отцу массу полезных советов.

А Исаак Маневич знал, что говорил. Он еще до революции начал водить знакомства со знаменитыми художниками, музыкантами, писателями. И почти за всеми однажды в не самую прекрасную ночь приезжали люди с пистолетами на боку, чтобы увезти в безвозвратную даль. Как уцелел сам Маневич? Хороший вопрос, но судьбе не прикажешь. Ну как он мог объяснить, почему при бомбардировке Харькова вся семья погибла, а он и царапины не получил. Правда, говорили, что Исаак Аронович тогда умом тронулся. Но такую глупость могли утверждать лишь самые недалекие люди. Они не понимали, как можно в эвакуацию захватить всего два чемодана, в котором место нашлось лишь для книг, рисунков и писем друзей. А сегодня за каждый клочок бумаги из этих чемоданов готовы биться лучшие музеи России и не только.

Отцу накануне моего рождения посчастливилось приобрести у него несколько редчайших книг и подлинных рисунков Репина и Брюллова. А фамилии некоторых других авторов в то время нельзя было произносить вслух. Мама рассказывала, что сопровождала отца во время того

** О жизни и работе Оксмана в Саратове в 1947–1957 годах, материалы личного дела ученого, письма, архивные документы см.: Коробова Е. Ю.Г. Оксман в Саратове. 1947–1957 // Корни травы: Сборник статей молодых историков.* – **Ред.**

делового визита. Ей запомнился маленький, сгорбленный старичок, обитавший в нищенской комнатке. Он достал из нехитрого тайника свои богатства, и отец стал сам не свой. Маме тоже понравился репинский набросок: пожилой господин, чем-то похожий на Исаака Ароновича, сидит на скамейке и явно грустит о прожитой жизни, а мимо проходит прелестная девушка. Но мама не считала правильным даже за шедевры отдавать последние деньги, которые очень могли пригодиться новорожденному на распашонки, ползунки и коляску. А отец придерживался другого мнения, и в тот вечер они впервые поссорились всерьез.

Еще конфликт усугубился тем обстоятельством, что напротив супружеского ложа папа повесил другое приобретение из собрания Исаака Ароновича – портрет экзотического негра. Мама, дай ей Бог здоровья и пусть живет 120 лет, сейчас не помнит, кисти какого мастера он принадлежал. Но она хорошо запомнила, как ей было жутко под неусыпным оком чернокожего красавца. Но ко всем мольбам убрать эту картину куда-нибудь подальше, чтобы будущий младенец не родился на него похожим, отец оставался глух. Так что автор этих строк в определенной степени приносился в жертву большому искусству. Маневич, конечно, расставался с такими богатствами только в тех случаях, когда нужда не оставляла иного выбора. Впрочем, и отцу через несколько лет по той же причине пришлось сдать эти сокровища в Радищевский музей Саратова.

К счастью, дельные советы старого искусствоведа отцу не пригодились. Дальнейшие события для него развивались по мягкому варианту. Университетский партийный активист Валерий Ястребов написал о нем фельетон для областной газеты «Молодой сталинец». Дескать, обитает в советском вузе некая подозрительная персона. Вроде бы в антиобщественной деятельности не замечен, однако интересуется всем, чем угодно, но только не нашими достижениями и задачами на современном этапе. Как рассказывает папин товарищ Виктор Селезнев, фельетон набрали, но, к досаде доносчика и к счастью отца, не опубликовали: нашлись в редакции порядочные люди.

Против студента Белова даже не возбуждали уголовного дела. Более того, допустили до защиты. Там, правда, в основном, свирепствовали однокурсники, которые припомнили папе его выпендрежи со стихами авторов непролетарского происхождения и эпиграммы собственного сочинения, которыми он удостаивал наиболее одиозных личностей. Досталось ему и за пренебрежение образцами социалистического реализма, и за отрыв от коллектива. Но государственная комиссия оказала отцу как инвалиду детства снисхождение, благополучно выставив тройку со второго раза после основательной переработки диплома по действующим шаблонам. А затем отправили опального исследователя пушкинских рифм в уральский город Златоуст работать по направлению учителем вечерней школы. Жил он в какой-то хибарке, куда отчаянно ковыляя, таскал на себе мешки с углем, чтобы кое-как согреться у буржуйки зимними вечерами. Вот тут ему наверняка очень оказался кстати опыт старика Маневича, долгое время зимовавшего в деревянной читальне чудного саратовского парка Липки.

Конечно, все эти лирические воспоминания никакого отношения к делу Юрия Галочкина не имели. Просто я никак не мог собраться и написать чертову объяснительную. И в голову полезли мысли разного толка о предопределенности судеб. Казалось бы, за окном совсем другая эпоха, конец 1985 года, с утра до вечера как заклинание повторяется слово перестройка. А мне приходится оправдываться за книги, которые и в руках не держал. Да-да, я с первых дней знакомства с Юрой относился к нему с опаской. А как иначе, если этот сотрудник скромной многотиражной газеты строительного треста предлагал «самиздат» каждому встречному-поперечному. И не шепотом, с оглядкой, а громогласно, чтобы слышал весь немаленький коридор Дома печати. «Обязательно возьми «Котлован» Платонова, замечательная вещь. Недавно достал «Лолиту» Набокова, могу дать на два дня. «Верного Руслана» не хочешь почитать? Напрасно...» И все это богатство – совершенно бескорыстно. Ни деньгами, ни услугами Юра взамен не брал, исключительно общением.

Хотя был один случай, когда он самым бессовестным образом обманул доверие человека, попросившего поделиться духовной пищей. Когда Юра рассказывал следующую историю, он говорил, что готов поклясться на библии в том, что она абсолютна достоверна. А произошла она с ним

опять же в стройбате, где ему довелось послужить рядовым. Видно, в военкоматах намеренно всю гнилую интеллигенцию ссылали на лопаты. А то в других войсках от нее все равно проку не будет. Но и в солдатской гимнастерке Галочкин себе не изменял, подробно пересказывая сослуживцам различные малоизвестные произведения, включая «Архипелаг ГУЛаг». Ежу понятно, что комбату об этом быстро донесли. Однако тот поступил совсем неожиданным образом. Не знаю, где Галочкин нашел такого комбата в строительных войсках, но тот оказался поклонником изящной словесности. Вызвал к себе Юрку и сказал: «Отпущу в отпуск на десять суток, но ты обязательно привези мне эту книгу этого Солженицына. Хочу, так сказать, лично с ней познакомиться».

Юрка без раздумий согласился, поехал домой, где и беззаботно пропьянствовал весь отпуск. И только перед отъездом вспомнил, за чем его, собственно говоря, сюда послали. Положение выглядело совершенно безнадежным, поскольку своего такого самиздата у Галочкина не имелось. И никто из ближайших знакомых не мог ему помочь. Спастись шансов не было, можно было лишь попробовать оттянуть расправу, на которую комбат всегда был крут, особенно в минуты глубокого разочарования жизнью. Между тем, Юркин отец сам не брезговал занятиями литературой. И к ним в дом частенько заходили почтенные господа, мнившие себя писателями, которые с удовольствием раздавали рукописи своих сочинений. Вот Юрка и достал первый попавшийся рукописный роман из колхозной жизни обновленного чувашского села, вырвал титульный лист с названием и фамилией автора, и заменил его новой страничкой, где собственноручно отпечатал прописным шрифтом – А. Солженицын «Архипелаг ГУЛаг». Зачем это делается, Юрка и сам себе не мог объяснить. Комбат поначалу не разберется, морду потом бить будет, и то уже хорошо.

Возвращается Галочкин в свой стройбат, отдает рукопись и ждет приглашения на казнь. Действительно, комбат его вызывает в штаб на следующий день. Юрка к нему бегом, докладывает, как положено, дескать, рядовой такой-то по вашему приказанию явился, и ждет потока матерщины, побоев, ареста на гауптвахте. А комбат смотрит на него чувственными глазами и говорит: «Спасибо, рядовой Галочкин, всю ночь читал, не мог оторваться. Вот что значит настоящая литература».

Ладно, тогда ему повезло, затем везло немало лет. Но не зря говорят, что иная простота хуже воровства. Нет уж, всеобщая слепота и глухота нашему кругу знакомств никогда не грозила. Пусть он сам никакого умысла в себе не держит, но уж вне поля зрения наших доблестных органов он никак оставаться не может. Поэтому я предпочитал от всех его щедрых предложений решительно отказываться.

А несколько лет назад вообще мы крупно поссорились. Прихожу к нему, а там торчит некий грузный тип в очках, за стеклами которых сверкает единственный зрачок. Точно знаю, что того фамилия Фанов. Но такого человека и за километр нельзя к себе подпускать. Всем ведь известно, на какие каверзы он способен. Он тоже прежде работал в какой-то многотиражке, из которой его уволили за пьянку. И он поклялся отомстить своему редактору. Удобный случай подвернулся очень быстро. В районе к очередной партконференции выпускали объединенный номер многотиражек. Ответственным за выпуск был назначен бывший начальник Фанова. Он вроде бы все предусмотрел, за исключением одной мелочи. Забыл над шапкой номера поместить боевой коммунистический клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

А одноглазый Фанов обладал исключительной зоркостью на подобные промахи. Едва заметив оплошность, он тут же набрал телефонный номер редактора и измененным голосом сообщил, что его ждет первый секретарь горкома партии для беседы по поводу снятия партийного политического лозунга первостепенной важности. Редактор, ни живой ни мертвый, поплелся на разборку, мысленно прощаясь и с партбилетом, и с должностью. Приходит в приемную, докладывает секретарше, что явился к первому секретарю по поводу пренебрежения политическим лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» . Секретарше идет к шефу для выяснения, а потом выходит и говорит, что уважаемого товарища редактора никто не вызывал. Его просят возвращаться на работу и не отвлекать занятых руководителей от серьезных дел. Редактор тут же в приемной грохнулся на пол с инфарктом.

Когда я с кем-то в разговоре стал возмущаться этой провокацией, мне под большим секретом рассказали, что Фанов сидел и был кем-то вроде капо в лагере. А после освобождения зеки плеткой вышибли ему глаз в знак благодарности за доносы и измывательства. Так что с этой персоной все было понятно. И вдруг я вижу эту рожу в честной компании, сидит и рассуждает о порочности советского государственного строя. Я на всякий случай от греха подальше встал на защиту завоеваний великого октября. Однако разругался с Юрой затем очень серьезно. Пусть ты не от мира сего, но даже в собутыльники нужно кадры фильтровать. Однако прошли годы и инцидент забылся. Да и Юра зашился, перестал вообще алкоголь употреблять. Мы вновь стали общаться, но я мысленно провел черту, через которую запретил себе преступать.

Дверь моего кабинета вновь открылась. Зашел Галочкин, его с первого взгляда узнать было невозможно. Сразу резко постаревший, сгорбленный, с убитым лицом.

– Про обыск уже знаю, у меня только что был человек из конторы, скоро вернется, – предупредил я, чтобы церемоний не разводить.

– Ты еще не знаешь, что я сегодня был на допросе, и почти все время спрашивали только о тебе, – вяло проговорил Юра. – Очень интересовались, что ты мне из Венгрии привез. Я сказал, что очень вкусного чая.

А я действительно недавно вернулся из своей первой в жизни заграничной поездки. Причем, сподобился съездить за казенный счет по творческому обмену в редакцию провинциальной мадьярской газеты. Мне бы никогда не досталась такая лафа, да помогла череда несчастий с коллегами, которые в гораздо большей степени заслуживали такого поощрения. Но один претендент на визит за рубеж погорел на аморалке, другой по пьяному делу в Москве вздумал помочиться на забор американского посольства, третий попался на плагиате. И все эти подвиги были документально запротоколированы, на все следовало реагировать. Три партийных собрания подряд были посвящены рассмотрению персональных дел. Особо горячо обсуждалась персоналка по плагиату. Стихийно сложившаяся фракция лелеяла надежду сместить заведующего отделом культуры, который свою рецензию на фильм «Победа» почти полностью содрал из брошюры для пропагандистов. Он едва-едва успевал отбиваться ссылками на особую важность данного киношедевра и необходимостью строго следовать выверенным идеологическим выводам, как недруги нанесли новый удар. Они извлекли из пыльного архивного чулана протокол редакционного партсобрания 15-летней давности, на котором герой дня уже обсуждался за аналогичное прегрешение. О Венгрии он уже не мечтал, благодарил небеса за то, что из своего кресла не вылетел.

Зато меня из глубокого запаса выдвинули на роль представителя советской печати в братской стране социалистического лагеря. Боже, сколько бумажек умудрился собрать за считанные дни. Выписку из протокола заседания партбюро редакции, сопроводиловку райкома, решение обкома с официальной письменной просьбой оказать содействие в приобретении билета до Будапешта для представления в авиакассу, без чего никто бы в Москве со мной и разговаривать не стал. Еле-еле назанимал денег, чтобы поменять их на инвалютные чеки с разрешения вышестоящих органов власти в строго ограниченной сумме. В дальнюю дорогу меня напутствовал инструктор без погон, который разъяснил, что плюс ко всему могу везти две бутылки водки и 30 рублей.

Со свойственным мне свободолюбием я его не послушал и взял три бутылки. И денег взял чуть побольше, но не с контрабандным замыслом, а чтобы хватило на обратную дорогу из Москвы. Стою в Шереметьево с полупустым чемоданом в очереди к таможеннику и трясусь, как бы лишнюю водяру не конфисковали. А тот заглянул в мою декларацию и заорал диким голосом: что за ерунду ты здесь указал, почему имеешь при себе 79 рублей, а не тридцать, как положено. Я начинаю объяснять, что на обратном пути нужно будет успеть на поезд, поэтому оставить в сберкассе деньги не было никакой возможности. Он меня слушал-слушал, потом махнул рукой и приказал: зачеркни 79, напиши 30 и катись в свой Будапешт, чтоб мои глаза такого дурня больше не видели. А чемодан с лишней бутылкой он и открывать не стал.

Правда, от доброты таможенника я немного выиграл, поскольку вез с собой три 25-рублевые бумажки, а меняли в банке Венгрии на форинты исключительно червонцы. Потому ограничился

лишь суммой, строго лимитированной для советского туриста. И большая ее часть ушла на приобретения в будапештском Доме книги на русском языке. Стоили там книжки в три раза дороже, чем на Родине, но глаза так разгорелись, когда увидел Джеймса Олдриджа и Жоржу Амаду, что экономить и в голову не пришло. Слава богу, что оставил дочери на куртку и джинсы. Да еще на коробочку диковинного ароматического чая в пакетиках, коим угощал избранных знакомых, включая Галочкина. Так что он на допросе сказал чистую правду, только слегка приукрашенную. Достался ему из той коробки всего один пакетик. Мы еще смеялись, вспоминая историю о советских туристах, впервые увидевших столь диковинный продукт в закордонном кафе на завтраке. Они не знали, как его употреблять, и некий шутник предложил класть пакетик в рот и там заливать кипятком. Вся группа его послушалась, а официанты едва в обморок не попадали. Осведомитель, а таковой имелся в каждой туристической партии, выезжавшей за рубеж, упомянул сей прискорбный факт в своем отчете, и больше весельчака никогда никуда не выпускали. Еще Галочкин надо мной издевался за Амаду с Олдриджем.

– Это же махровые коммунисты, их и у нас купить можно. Да еще в два раза дешевле, какого черта это добро везти через границу, – недоумевал Юрка. Мне оставалось только руками разводить. Дескать, имею право, люблю, что попроще, не всем дано Кафкой наслаждаться.

– Что еще про меня спрашивали? – не без оправданного любопытства спросил я у Юры.

– О чем разговаривали при встречах, – ответил он. – Я сказал, что ты критически отзывался о культе личности Сталина, надеюсь, этого можно не отрицать. Не бойся, против тебя у них нет ничего. Могут лишь предъявить недоносительство, но по этой статье вроде бы уже никого не привлекают.

Отбыв год в Златоусте, отец вернулся в Саратов, но вряд ли он здесь чувствовал себя уютно. Ведь вскоре весь город, как и всю страну, затрясло от дела кремлевских врачей. Повсюду проходили митинги с требованиями разоблачить сионистских прихвостней. И папа запросто мог подвернуться под горячую руку, как замаскированный враг народа, покусившийся на творчество великого русского поэта. Поставили бы в один ряд с Дантесом, Бекендорфом, графом Воронцовым и глазом не моргнули. Но вождь скончался, врачей оправдали. И папа с легкой душой на последние деньги купил билет на концерт в филармонии. И там он встретил мою маму, которая пришла туда в сопровождении сокурсника. Мама мне рассказывала, что отец позже ей признался: он был в отчаянии, поскольку по причине абсолютного банкротства не мог угостить девушку, поразившую его в самое сердце, даже стаканом газированной воды. Однако после антракта каким-то неведомым путем они уже сидели рядом. А потом он ее провожал до четырех утра и читал, читал, читал стихи.

Тогдашний студент филфака Виктор Селезнев, которого отец ненавязчиво опекал, был свидетелем зарождения их роман и говорил мне, что складывались их отношения необычайно красиво. Но прожили вместе они недолго, разъехались далеко, и познакомился я с папой уже подростком, когда по семейным обстоятельствам оказался в городе Энгельсе вблизи Саратова у дедушки с бабушкой по маминой линии.

Впрочем, вся немалочисленная родня с обеих сторон мудро всячески поощряла возобновление наших отношений. И регулярно, а в каникулы чуть ли не каждый день, я ездил к папе, чтобы получать мужское воспитание. Конечно, мы играли в шахматы, ходили в кино, цирк, ели мороженое. А однажды отец повел меня в музей имени Радищева, где знал каждый закуток, поскольку какое-то время после возвращения из Златоуста работал в нем экскурсоводом. Он водил меня по залам, подробно и громко рассказывая о достопримечательностях. В одно прекрасное мгновение я оглянулся и увидел, что нас сопровождает несметная толпа случайных посетителей, заворожено внимавших каждому его слову. Отец делал вид, что не замечает посторонних. Но явно гордился произведенным впечатлением. А уже у выхода, когда сопровождавшая нас свита беззвучно рассеялась, сказал вполголоса:

– Жаль, я не могу показать запасники, где хранятся картины моего покойного друга Николая Гущина.

Для папы не стало открытием, что я понятия не имею, кто такой этот художник. И тогда последовала лекция об его удивительной судьбе. Отец с ним познакомился, когда тот служил в музее Радищева рядовым реставратором. Но его прием на работу обговаривался в министерстве культуры СССР и визировался в НКВД. Ведь сюда Николай Михайлович попал не с улицы, а пересылочного пункта для репатриантов транзитом из Парижа. Для того, чтобы дословно передать рассказ отца о том, как Гущин оказался на Западе, нужно написать отдельную книгу. Мне запомнилось, что в 18-ом он был революционным художником и по его эскизам в Перми соорудили монумент героям пролетариата, который взорвали колчаковцы. Но это не помешало ему вскоре перебраться в Китай, а оттуда во Францию и затем в Монако. Там быстро вошел в моду, стал членом экспертного совета Лувра, сказочно разбогател, но его непреодолимо тянуло на родину. И уже со второй половины двадцатых годов Гущин стал обивать пороги советских посольств с просьбой разрешить ему вернуться.

– В Париже в кафе он в 1927 году встретился с Маяковским, – рассказывал отец. – Стал говорить, что хочет вернуться. «Зачем?» – недоуменно спросил Маяковский. «Как же? Строить новое искусство», – ответил Гущин. «Гиблое дело», – махнул рукой Маяковский.

А в годы войны русский художник Гущин включился во французское Сопротивление, воевал в составе маки. К его многочисленным творческим наградам добавилась медаль за воинские заслуги. Но и данное обстоятельство не могло смягчить советские власти, которые упорно отказывали ему в возвращении. И тогда он написал портрет Сталина, преподнесенный им посольству СССР в Париже. И только после этого милостивое разрешение последовало, но с запретом на проживание в Москве и Ленинграде. И Гущин выбрал Саратов, где ему дали продуктовый паек и комнату в коммуналке. Однажды среди зимы отец встретил художника, щеголявшего по морозу в резиновых ботах.

– Что вы делаете, – ужаснулся папа. – Вы же простудитесь.

– Ерунда, – махнул Гущин рукой. – Я в боты положил прекрасные стельки из фанеры. И вообще, все это мелочи. Боря, вы не представляете, какое счастье гулять по городу, а вокруг все говорят на твоем родном языке.

А когда на склоне лет он лег в раковое отделение городской больницы, соседи устроили настоящую войну за его квадратные метры. Коммунальная ненависть была настолько сильной, что Гущин, отпущенный врачами умирать спокойно, не рискнул возвращаться домой. И ученики забрали мастера к себе. У них он прожил год, хотя врачи отпускали ему всего два месяца. До последнего очень любил сыграть с отцом в шахматы и очень огорчался, когда проигрывал. Отцу приходилось поддаваться, чтобы не печалить кумира. Гроб с телом художника запретили заносить в стены музея, и гражданская панихида состоялась у его дверей. А уже на кладбище папа читал стихи, посвященные уходящему другу <цитируется стихотворение «Омертвели наши имена», опубликованное в предыдущем материале>.

Должен заметить, что каждая наша встреча становилась для меня нелегким испытанием. В школе все считали меня очень умным мальчиком, но с родным отцом я чувствовал себя полной невеждой. Некоторым утешением может служить лишь то обстоятельство, что нечто подобное испытывало все его окружение. С кем бы потом ни приходилось общаться, каждый говорил, что именно он открыл им Мандельштама, Пастернака, Платонова. Откуда к нему попадали эти книги? О-о, этот секрет он умел беречь. И постепенно с ним я стал чувствовать себя заговорщиком.

Как и следовало ожидать, Галочкин еще уйти не успел, а Николай Владимирович уже возвратился.

– Что за милая картина, – деланно всплеснул он руками. – Просто Шерочка и Машерочка.

Потом брезгливо ткнул Юрке:

– Идите вон отсюда.

И тут бросил мне упрек.

– Видно, вы и минуты друг без друга не можете. Ну да ладно, давайте посмотрим, что здесь начеркали.

А чего там в объяснительной было смотреть: «не брал, не читал, не распространял, критически отзывался о культе личности Сталина». Николай Владимирович, похоже, ничего другого и не ждал увидеть. Хмыкнул, крякнул, дескать, коли так, то это еще полбеды, но если в ходе следствия вскроются факты иного рода или Галочкин даст против вас показания, то не взыщите. Он вновь подобрел и участливо спросил:

– Как же вас угораздило вляпаться в эту историю? Вроде никогда не были замечены в чем-то предосудительном, я же вас со студенческих лет знаю...

А вот с этого места надо бы поподробнее. Что бы это значило, со студенческих лет... За какие такие заслуги был я удостоен внимания столь серьезной службы? Если не ошибаюсь, то в нашей общаге из самиздата имела хождение лишь порнографическая «Баня», приписываемая Ивану Тургеневу. Классик, наверное, в гробу переворачивался от такой беспардонности. Еще как-то один приятель-меломан напел мне на известный мотив:

А что я ем, простую осетрину, простую русскую еду.
Ловлю ее в своем пруду.
А где живу, в обычном доме, простом своем особняке.
Стоит он на Москве-реке.
А с кем живу, с обычной бабой, простой бабенкой из ЦК.
Там у меня своя рука.
А кто я есть, обычный парень, простой советский человек.
Живу как ты в двадцатый век.

Нехорошо, конечно, так иронизировать по поводу лучших произведений отечественной эстрады. Но тоже не смертельно. Ах, да, я же с Яковом дружил, а для конторы данный факт не мог остаться в тайне.

Тот в те годы в нашем доблестном универе не учился, кто Якова не знал. И все благодаря его двоюродному брату Володе – киевскому красавчику с задатками очень делового человека. Тот обеспечивал весь деканат гордостью украинского ширпотреба – начиная со стекол к автомобилю «Запорожец» и кончая фирменными тортами. А милым девушкам перепадали чулочки, шарфики, косметика. Но должен предупредить, что говорю о нем с чужих слов, поскольку поступил после его выпуска. Двоюродный брат диплом получил, а Яков после первого курса ушел в академический отпуск. Он говорил, что брал паузу по состоянию здоровья, а в подробности никто не вникал. И познакомились мы с ним, когда Яков вернулся для продолжения учебы. Да только проходил день за днем, а подписание приказа об его восстановлении в списках студентов все откладывалось. Яков на занятия не ходил, проводил время по своему усмотрению и все удивлялся махровому бюрократизму, мешавшему ему подключиться к учебному процессу на законном основании. Но любые странности однажды находят свое объяснение. На лекции по марксизму-ленинизму преподаватель убедительно попросил аудиторию более усердно изучать его предмет, поскольку практика показала, что в освоении этой важнейшей из наук на нашем факультете имеются серьезные недостатки. Точнее, глубочайшие провалы. А если еще точнее, то полная капитуляция перед происками враждебной нам идеологии. И самый наглядный пример – это предательство, совершенное выпускником нашего факультета. Он поддался на лживые посулы сионистских агитаторов и уехал в Израиль.

Вечером я зашел к Якову, чтобы выразить свое сочувствие. И оказалось, что он был еще не в курсе пламенного выступления марксиста-ленинца. И только теперь ему стало понятно, почему происходит задержка с его восстановлением. Яков вначале даже утверждал, что все это досужие выдумки и его двоюродный брат никогда не променяет наше социалистическое Отечество на си-

онистские кущи в пустыне. Но потом он сник, и признался, что братан давно уже гуляет по бережку Средиземного моря. А вот как самому выкручиваться из ситуации, Якову предстояло крепко подумать. И он нашел выход, поскольку через пару дней коллизия благополучно разрешилась. До светлых голов в деканате наконец-то дошло, что брат за брата, тем более, двоюродного, не отвечает.

Наверное, я бы никогда не узнал, чего удумал Яша, но однажды ему пришлось повторить свой фокус, чтобы спасти уже нас обоих. Как-то мы, неблагодарные, в очередной раз вместо лекции по марксизму-ленинизму отправились в поход по пивнушкам. В чудном скверике добавили знаменитого «Солнцедара» и наглухо отрубились. Когда сержант забирал нас в вытрезвиловку, Яков очнулся и принялся умолять о пощаде. Возможно, его одного бы и отпустили, но я пребывал в полной отключке. А Яков был не из тех, кто бросает друзей в беде.

Хмель сняло, когда я открыл глаза в казенной постели и увидел перед глазами красивый плакат о том, что пьянство унижает достоинство советского человека. Рано утром Яша заплатил штраф за нас обоих, поскольку у меня, как всегда, в карманах было пусто. А по дороге в общагу популярно объяснил, в какой заднице мы оказались. Если из милиции на факультет придет телега, то нас обоих попрут из университета за милую душу. Я же верил в лучшее, и пытался его убедить, что симпатичный сержант, принимавший деньги, нас пожалеет, он же обещал никуда ничего не посылать. Какой там, в своей наивности я убедился очень скоро. Вскоре нас вызвали в деканат, чтобы сообщить «радостное» известие: за грубейшее нарушение общественного порядка готовится приказ об отчислении.

Но предварительно начались разборки по общественной линии. Мы прошли аутодафе на комсомольских собраниях курса, факультета, заседании комитета комсомола университета. И всюду молодые функционеры с жизнерадостными лицами требовали высшей меры наказания. Спасибо однокурсникам, которые стояли за нас горой, но чем-то реальным они были помочь не в силах. И когда все возможности спастись были исчерпаны, Яша мне сказал, что пойдет в КГБ. Куда-куда и что там делать?

Оказалось, что Яков вовсе не сбрендил на почве переживаний. Вместе со своим двоюродным братом он там прежде бывал, когда их вызывали по поводу писем родственников, перебравшихся к тому моменту на землю обетованную. Никакой политики в них не содержалось, а говорилось про цены на жилье и товары широкого потребления. В частности, родня хвасталась, что в первый год все поголовно обзавелись собственными автомобилями. А на фоне тотального дефицита в Союзе все это выглядело сказкой. И эти письма легкомысленные братья давали почитать своим знакомым, что уже приравнивалось к распространению антисоветской агитации.

Якову не очень хотелось вспоминать подробности той беседы в сером здании на проспекте Карла Маркса. Но он поведал, что им предложили во искупление своей вины стать осведомителями. «Мы отказались, – заверил меня Яша. – Но дали слово, что ничего подобного впредь не допустим». Однако Володька воспользовался удобным случаем и сменил гражданство. А Яков не сумел или не захотел. Он лишь взял академический отпуск в надежде, что за год все забудется. Но когда его не хотели восстанавливать, он ходил в «контору» и жаловался, что его просто-напросто выталкивают с родины. И комитетчики звонили куда надо и предлагали решить вопрос положительно. Что и было сделано незамедлительно. А теперь опять придется обращаться к ним.

Честно говоря, я поверил Якову не до конца. С какой стати госбезопасности помогать молодому человеку, который отказал ей в услугах? И если нас оставят учиться, то это станет неопровержимым свидетельством того, что мой друг регулярно стучал и на меня, и на наших товарищей. Прискорбно, но по данному обстоятельству я печалился во вторую очередь. Уж очень не хотелось лишиться студбилета. А доносить про нас было особо нечего. Ну выпивали, ну в карты играли, ну лекции прогуливали, ну за чужими девчонками волочились. Пожалуйста, заносите данные факты в свои картотеки, если очень интересно. Да только кому в «конторе» это нужно.

Спрашивать у Якова о результатах визита в КГБ я не рискнул. Он сам очень сухо сообщил, что его выслушали и пообещали разобраться по существу. На следующий день на лекции по пла-

нированию промышленности на самом интересном месте, где обосновывались причины приоритета выпуска средств производства над товарами массового спроса при развитом социализме, в дверь вошел декан со свитой. Он встал за кафедру, положил перед собой листок машинописи и торжественно произнес: «Приказ». У меня до сих пор мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю эту декламацию. Нашему декану не в экономисты следовало идти, а в драматические актеры. До последнего момента невозможно было понять, чем воздастся нам наше прегрешения. Яков уже на середине текста влажно заморгал глазами и стал шептать: «Исключили, исключили». А декан все нагнетал и нагнетал напряжение, делая особое ударение на том, мы, безусловно, заслуживаем самой строгой участи. И когда он увидел, что аудитория находится на грани полного исступления, вдруг снисходительная усмешка проскользнула по его устам. За все про все нам объявили строгий выговор и лишили стипендии до конца семестра.

Но не успели мы глотнуть свежего воздуха, как декан решил сказать пару фраз от себя. И он сообщил почтенной публике, что в этой истории все не так просто, один из студентов, опозоривших наш факультет своим беспардонным поступком, обратился в КГБ. И там этот студент заявлял, что его хотят уволить по политическим причинам, якобы мстя ему за двоюродного брата. Нет, – опять декан впал в драматическую декламацию, – мы вас хотели отчислить за ваше безобразное поведение, а не по каким-то другим соображениям. И в следующий раз обязательно отчислим.

Декан торжественно вышел из аудитории. Лекцию, конечно, уже никто не слушал, включая преподавателя, явно вещавшего на автопилоте. Зато Якову со всех сторон посыпались восхищенные записки от девушек. Подключить КГБ к нашей довольно заурядной истории – это, знаете, не зачет по блату получить. А я был счастлив вдвойне. Во-первых, мое отчисление наверняка бы убило и маму, и бабушку. Так что мы все вместе спасены. А во-вторых. Яшенька-то явно не соврал, будь он стукачом, декану бы строго настрого запретили как-нибудь упоминать комитет. Любой вам скажет, что своих агентов контора не сдает.

Конечно, большое ей спасибо, что заступилась за нас. Но о своих добрых делах она явно не забывает. И Николай Владимирович ясно мне об этом намекнул. А чтоб я не сомневался в его информированности о моем прошлом и настоящем, добавил горсточку клубнички. Поинтересовался участливо: а как там ваша подружка нынешняя поживает, у нее книжек запрещенных мы случайно не обнаружим? И опять пришлось унижаться, убеждая в том, что даму моего сердца вмешивать в это дело совершенно не обязательно. Наконец Николай Владимирович засобирался по другим своим неотложным заданиям.

– Вы уж никому не рассказывайте о нашей беседе, – сказал он на прощание. – И еще раз повспоминайте, подумайте, может и придет в голову что-то такое, в чем не грех признаться для облегчения, так сказать, участи.

А ведь по большому счету моя жизнь подпольщика началась с сеанса одновременной игры, который давал в городском шахматном клубе саратовский гроссмейстер Николай Крогиус. Мы с отцом сидели плечом к плечу и намеривались на своих досках дать мэтру беспощадный бой. Но в неравном бою довольно быстро оба оказались в безнадежном положении. Можно было собирать фигурки и идти домой, но перед тем, как поставить отцу мат, гроссмейстер наклонился к нему и негромко попросил уделить ему одну минутку после сеанса.

О чем они перешептывались в коридоре клубе, я узнал в тот же день. Вопреки моим ожиданиям речь шла не о допущенных нами позиционных ошибках. Отец с ужасом за обедом рассказал своей сестре, что Крогиус просил у него почитать самиздат «Доктора Живаго».

У тети Розы из рук выпала вилка.

– Боря – это катастрофа, – сказала она. – Если Крогиус знает о том, что ты хранишь эту книгу, значит, то же самое знают в КГБ. Да он просто делает тебе последнее предупреждение. Дескать, если не поймешь, то пеняй на себя. Ты должен сделать то, что свое время сделал Маневич. Но давай продолжим разговор позже.

Было понятно, что она не считает нужным посвящать меня в такие дела. Но отец придерживался другого мнения. Мальчик уже совсем большой, ему следует знать, в каком мире он живет. Впрочем, про «Живаго» нам в школе уже рассказывали. Какой-то Пастернак как-то написал клеветническую книгу на Советскую власть, чтобы всему народу испортить празднование очередной годовщины Великого Октября. Шпионы всех мастей очень обрадовались такому подарку и выписали писаке большую премию. Но их планы провались, иудины сребреники ему не достались. Конечно, наш класс единодушно осуждал такие произведения. Любой из нас вместе со всем прогрессивным человечеством ждал юбилея советской власти с огромным нетерпением, каждому казалось, как только наступит красная дата календаря, все станут жить богато и счастливо. Для большинства моих одноклассников такой поворот в истории страны был бы весьма кстати. Вместе с родителями они жили в рабочих бараках без воды и канализации, где в одной комнатушке ютились по три поколения одной семьи. А в магазинах большой удачей считалось купить батон вареной колбасы, сливочного масла давали по триста граммов в месяц на человека. Но страна семимильными шагами шла по пути строительства коммунизма, и, как говорила моя бабушка, в дороге никто кормить не обещал. Единственно чего я не понимал, так это зачем моему умному папе читать и хранить у себя книгу, порочащую замечательную советскую власть. А уж просьба еще более умного гроссмейстера, обыгравшего нас с отцом в полглаза за какие десять минут, выглядела абсолютной нелепицей.

Папа не разделял моего оптимизма относительно предстоящего праздника. Он стал заверять, что ничего не изменится. И вообще не следует верить всему, что говорят учителя. Потому что они зачастую вынуждены врать, иначе их выгонят с работы, а то еще и посадят в тюрьму. И отца могут посадить, причем, не только за эту злосчастную книгу. А потому не нужно никому рассказывать про то, о чем говорят наши родные и знакомые. Если, конечно, Павлик Морозов не является моим любимым героем. А вокруг хватает людей, которые только и ждут, когда кто-нибудь сболтнет что-нибудь лишнее. Они подслушивают, подглядывают, заводят провокационные разговоры, а потом пишут доносы.

Насчет учителей папа лишь подтвердил мои личные подозрения. Я уже имел возможность убедиться в том, что они разбираются правильно далеко не во всем. И мне порой приходилось отстаивать истину на последнем рубеже своей ученической парты. Тут нужно признаться, что я рос не совсем нормальным ребенком. Как только научился складывать буквы в слова, так сразу стал буквально проглатывать книги самого различного содержания.

В третьем классе, например, мне очень нравилось штудировать вузовские учебники по истории. Поверьте мне на слово, там встречалось очень много интересного. И однажды вздумал блеснуть своими знаниями. Учительница задала элементарный вопрос, кто был союзником фашисткой Германии в годы второй мировой войны? В пособии для третьего класса четко указывалось, что это Италия и Япония. А мне приспичило расставить все точки. Вот и начал перечислять весь блок, начиная от братской к тому моменту Венгрии и заканчивая таинственным Таиландом. Педагог младших классов Тамара Павловна с каждой секундой моего ответа мрачнела все больше, а когда в этом презренном перечне я назвал и Болгарию, разразилась бурей негодования. Дескать, как я смею, негодный мальчишка, советский школьник обязан знать, что братская Болгария никогда не выступала против нашей страны. Мне бы промолчать, а я стал упорствовать, ссылаться на научные авторитеты. Такой наглости от третьеклассника педагог стерпеть не могла, и она повела меня к директору. Тот, историк по образованию, не стал раздувать конфликт. Мне посоветовал ограничиваться школьной программой, а с Тамарой Ивановной вообще говорил наедине. Но в класс она вернулась притихшая.

А я продолжал упиваться чтением. Но однажды всю домашнюю библиотеку испахал вдоль и поперек и готов быть погрузиться в беспросветную печаль от вынужденного простоя. Но тут случайно в дедушкином сарае наткнулся на полные собрания сочинений Ленина, Сталина, материалы съездов КПСС и краткий курс истории ВКП(б). Врать не буду, работу вождя «Материализм и эмпириокритицизм» я не одолел. Но с некоторыми короткими письмами времен октябрьской

революции и гражданской войны познакомился основательно. А потому уже постарше в качестве небольшого дополнения к рассказу учителя о героической обороне Петрограда от войск Юденича поведал на уроке о том, что Ленин допускал мысль о сдаче цитадели революции белогвардейцам и переезде пролетарского правительства на Урал, о чем писал в одной из работ. Историчка не стала уточнять источник моих знаний, но дала мне полную отповедь. По ее словам, я попал в плен троцкистских трактовок тех событий. А если из библии выдергивать отдельные выражения, то можно будет подумать, что в этой книге отрицается существование господа Бога. На этом и порешили.

Возможно, историчка даже не стала докладывать директору об инциденте на уроке. А вот гроссмейстер Крогиус, как подсказывало сердце и папе, и тете Розе, всегда докладывал в подобных случаях, куда следует. Уж не знаю, почему они так думали. Но сейчас вполне допускаю, что подозрения имели под собой некоторые основания. В 80-е годы Николай Крогиус стал руководителем всех советских шахмат. А к постам подобного высокого ранга допускали лишь досконально просвеченных всеми рентгенами люди. При нем гайки в сообществе гроссмейстеров были закручены до предела. Сомнительных в идеологическом плане персон вообще перестали выпускать за границу. Когда же на любимца партноменклатуры Анатолия Карпова в споре за шахматную корону вышел Каспаров, то Крогиус произнес фразу, сразу же ставшую знаменитой: «Один чемпион мира у нас уже есть, и второго нам не нужно». А уж как поносил невозвращенцев, кровь стыла в жилах от проклятий в их адрес. Вот и сами думайте, неужто человек с подобным складом ума мог просто так просить почитать книжку, из-за которой можно потерять доверие власть предержащих до конца своих дней? Хотя по иронии судьбы однажды Крогиус переехал на постоянное место жительство в США. Но это случилось уже потом, когда рухнула власть, которой он преданно служил, а роман Пастернака «Доктор Живаго» стали проходить в школах. Но все это случилось в далеком будущем, о котором тогда никто догадываться не мог.

Едва удалился Николай Владимирович, как заглянул коллега. Попросил закурить, между прочим спросил, зачем ко мне приходил кагебэшник. Соврал, что первое пришло на ум. Якобы из той части, где я служил, сбежал солдат и теперь его всюду разыскивают, вот и спрашивал, может, я чего знаю. Коллега недоверчиво хмыкнул и ушел, чтобы вскоре вернуться с охотничьим блеском в глазах.

– А ведь ты меня обманул, – торжествующе заверещал он. – Какой к черту солдат, к тебе приходили насчет Галочкина, у него вчера был обыск. А ведь ты с ним, кажется, дружишь?

Вот с кем менее всего хотелось откровенничать, так с этой персоной. Он меня чересчур всегда недолюбливал. И теперь с нескрываемой радостью капал ядом.

– Хреново тебе будет, если редактор узнает. Уволит без выходного пособия, и конец твоей перспективной карьере. А ему нет резона из-за тебя подставляться. Он член бюро обкома партии, депутат Верховного Совета. Но выход есть, не дрейфь, – частил он с радостным видом. – У меня знакомая местная поэтесса года два назад попала в аналогичный переплет. Крапала стишки с националистическим душком, вот ее и взяли за мягкую попу. Но ничего ей не сделали, не только с работы не погнали, но даже помогли новый сборник издать. Догадываешься, почему? Да ладно, хватит из себя целку строить. Предложили сотрудничать, раз в месяц объективку готовить. Какие настроения в кругах интеллигенции, кто над чем работает. На пару страничек, больше не требуется. Она не будь дурой, согласилась. И все было нормально. Да однажды из-за избытка дамских чувств забыла донесение в ящике рабочего стола. Там его и обнаружили друзья-подруги. Но никто вида не подал, меньше знаешь – крепче сидишь на своем стуле. Сейчас при ней все исключительно единодушно одобряют решения партии и правительства.

Коллега без спроса взял еще одну сигарету из моей пачки и продолжил:

– Сам должен понимать, к чему я клоню. Если поступит к тебе похожее предложение, то не вздумай отказываться. В этом случае будешь спокойно работать, даже если редактор все узнает, Только про меня по-дружески лишнего им ничего не сообщай.

Советчик важно выпустил дым из легких и ушел с чувством выполненного гражданского долга. Этот человек явно переоценивал свою значимость, даже при наличии желания об этой бездарности настучать было бы нечего. На мой взгляд, всегда особой востребованностью пользовались не столько тайные, сколько явные доносы. Помнится, в киосках расхватывали газету со статьей про девушек-студенток, которые знакомились в ресторанах с иностранцами. Чего только там про них ни говорилось: такие-сякие, распутничают за деньги, подрывают престиж социалистического отечества и моральные устои нашего общества. И весь этот бред с указанием фамилий и имен. Ясен пень, откуда автор столь подробно информирован. И завершался опус классическим восклицанием: «Куда смотрит деканат?»

Вскоре выяснилось, что автор со своими достоверными источниками из компетентных органов сели в глубокую лужу. Упомянутые дамы явились в редакцию и предъявили свои паспорта, в которых красовались штампики о заключении законного брака с иностранным гражданином. Они требовали опровержения и грозили международным скандалом, так как в ближайшее время собирались менять подданство, а на новой родине трепетно относятся к репутации замужних сеньор. Скандал еле-еле удалось замять. Но теперь следовало ожидать подобную публикацию про Галочкина и компанию.

Потому достал я чистый лист бумаги и сел писать заявление об увольнении по собственному желанию. Мой редактор Михаил Иванович относился ко мне, конечно. неплохо, но не настолько же, чтобы вытерпеть такую подставу. Действительно, он человек осторожный. После поездки в Венгрию я написал несколько путевых очерков. Все было опубликовано, за исключением материала о демократизации политической системы в этой стране. Как редактор дошел до места, где говорилось, что на одно депутатское место в Венгрии баллотируется несколько кандидатов, так сразу завернул мою писанину. Дескать, не надо наших людей вводить в недоумение. Понятие не имел, где теперь буду работать, но обрекать себя на косые взгляды со всех сторон было выше всяких сил. Заявление следовало отнести немедленно, но редактор был в отъезде и возвращался только на следующий день.

И все же, что же сделал Маневич, которого в пример отцу поставила тетя Роза? И папа поведал, что старик хранил письма В. Мейерхольда и С. Михоэлса, но в самые жуткие времена предпочел бросить их в печку, чтобы уничтожить неопровержимые улики опасных знакомств. По логике вещей туда же следовало отправить и рисунки с автографами репрессированных художников. Но рука у Исаака Ароновича не поднялась. Про Мейерхольда и Михоэлса я ничего говорить не буду, поскольку папа лично с ними не был знаком. А вот про Маневича продолжу, жизнью этого оригинала сейчас занимаются очень серьезные исследователи. Ах, если бы Исаак Аронович последовал совету моего отца и написал мемуары! Маневич обещал взяться за перо и даже показывал ему том в роскошном переплете и золотым тиснением «Воспоминания». Но за три десятилетия в нем не появилось ни строчки. Отец вздыхал и сетовал, что вся энергия у старика уходит в устное творчество.

Еще до революции Маневич в Москве получил образование искусствоведа и музеиста. Бывал у Толстого в Ясной Поляне. Чехов щупал ему пульс, Рахманинов играл свои произведения. Обо всем этом старик рассказывал в букинистическом магазине, где послушать его байки собирались наиболее отчаянные любители древностей. Ему зачастую не верили. Но совершенно доподлинно известно, что с мандатом Луначарского он отправился в Белоруссию после «великого октября» спасать культурные ценности. В Гомеле его чуть не расстреляли, но он не позволил революционно настроенным крестьянам разграбить уникальную коллекцию предметов старины и произведений искусства дворца графа Паскевича Эриванского. В середине 20-х годов на Украине Маневич стал важным чиновником по культурному ведомству. Об его тогдашней коллекции ходили легенды. Предполагают, что все, кроме упомянутых двух чемоданов, погибло в годы оккупации Харькова. Так что, самому уничтожать еще что-то из чудом сохраненного бесценного достояния было для Маневича равносильно самоубийству.

А вот для папы расставание с рукописью «Доктора Живаго» не должно было превратиться в трагедию. Нечего сопоставлять раритет и полуслепую копию тысячи листов машинописного текста. Кроме того, между нами говоря, отец не очень высоко ставил этот роман, считая его удивительно скучным. Но тут было дело принципа. Да и не одним «Живаго» исчерпывалось его собрание самиздатовских сочинений. Будь что будет, решил отец. И не поступился ни одной страничкой запрещенного чтива. Но не переставал переспрашивать себя: «Кто же стучит на меня, кто?» С его невообразимым кругом знакомств игра в угадайку выглядела совершенно безнадежным занятием. А мудрая тетя Роза ему внушала, что стучать на него совершенно не обязательно, он сам на каждом углу кричит, что ненавидит советскую власть, а Сталина считает величайшим преступником всех времен и народов. Папа с ней соглашался, но продолжать мучиться вопросом, кто же на него доносит. И всякий раз приходил к выводу, что это тот самый человек, на которого никогда не подумаешь.

Ночь после дружеской беседы с Николаем Владимировичем я не спал. Прежде всего, было за себя стыдно. Ну, с какой стати я так в штаны наложил? В чем провинился перед любимой страной? Два раз в армию призывали, то есть и солдатом, и офицером – оба срока отслужил, как положено. На работе вкалываю, сколько могу, и еще сколько надо. Помню, пригласили меня перейти из городской в республиканскую газету со всеми вытекающими плюсами материального плана. Но партийные органы города стали возражать. Мол, столь ценный кадр самим нужен в пусковой период первого гидроагрегата новой ГЭС на Волге. И я не упрямился, еще целый год на старом месте трудился, днюя и ночуя в котловане гидростанции. Ну, поругивал, кроме Сталина, еще Брежнева с Черненко. Так про них сейчас с самых высоких трибун довольно кисло высказываются. Будь с ними все хорошо, нечего и перестройку было затевать.

И в тоже время понимал, что гроша ломаного мои рассуждения не стоят. Наша газета должна быть партийным оплотом, и в ее редакции не место журналистам, запятнавшим себя связями с людьми, порочащими государственный строй. Наверняка Михаил Иванович скажет мне утром что-то похожее.

Но я глубоко ошибался, утро началось еще хуже, чем можно было себе представить. За несколько минут до планерки редактору позвонил уважаемый народный артист Петр Сидорович и выразил свое негодование по поводу грубейшей ошибки, допущенной в свежем номере нашей газетой, назвавшей его всего-то заслуженным артистом. По мнению Петра Сидоровича, данный негативный факт является следствием происков его личных врагов, а также накладывает несмываемое пятно позора на весь редакционный коллектив и вынуждает серьезно засомневаться в его компетентности и профессионализме. Наверное, можно не уточнять, что заметка со столь чудовищным искажением статус-кво Петра Сидоровича прошла через мой отдел, и я нес за нее персональную ответственность. Взведенный до предела Михаил Иванович тут же на планерке объявил, что накладывает на меня кучу взысканий и лишает полугодовой премии.

Худшего момента для откровенного разговора и выбрать было бы трудно, но и тянуть не имело смысла. Постучался в кабинет, Михаил Иванович, не поднимая голову, разрешил войти. Судя по всему, он еще не отошел. Я набрал в грудь побольше воздуха и изложил суть дела без лишних подробностей. Дескать, приходил майор из госбезопасности, подозревают меня в том-то и том-то, разборок по данному поводу на партийном собрании не хочу, а посему прошу уволить по-тихому.

Михаил Иванович посмотрел на меня и буркнул:

– Я уж забеспокоился, думал, ты заболел. А сейчас смотрю, цвет лица хороший. Подумаешь, майор из КГБ к нему приходил. У него работа такая, ко всем ходить. Выбрось из головы ерунду всякую.

– Я еще не все сказал, Михаил Иванович. У меня и другая проблема есть, – открыл я тайну, которую тщательно оберегал от партбюро. – С женой развожусь, хочу дочь у себя оставить.

– Вот это серьезный вопрос, – откликнулся Михаил Иванович и в его голосе даже глухой

услышал бы интонации мужской солидарности. – Подскажу тебе юриста, с которым можно посоветоваться. Знаю, ты в отпуск собирался. Послушай меня, пока не стоит. Лучше поработай, это тебя отвлечет. И еще один момент. Я тут утром на тебя наорал, но ты не обижайся. Достал меня этот Петр Сидорович. Тоже мне народный артист, только и умеет задницы начальству лизать ради почетных званий. Не будет тебе никаких взысканий, только бездельники никогда не ошибаются. Иди и готовь материалы, мне в номер нечего ставить.

В те тревожные дни мне не стоило докучать отцу своими визитами. У него и без меня забот хватало: на жизнь приходилось зарабатывать поденным литературным трудом, сочиняя сценарии, либретто, тексты песен. Далеко не всегда эти труды получали денежное вознаграждение: то заказчики капризничали, то цензура не ставила разрешительную визу или лит, как ее называли, то вообще постановки лопались в силу несчастливого стечения обстоятельств. А тут еще угроза разоблачения в подсудном занятии чтением и распространением запрещенной литературы. Но он сам не мог отказать в общении сыну, которого не видел многие годы. А меня уже затянула атмосфера приключения, казавшегося больше игрой, чем реальной опасностью.

И отцу не оставалось ничего иного, как брать меня с собой на встречи с друзьями, где обсуждались возможные перипетии предстоящих событий. На улице Горького в центре Саратова мы зашли в букинистический магазин, где директорствовал легендарный русский интеллигент Юрий Болдырев. Партийным властям города многое следовало бы зачесть за то, что они там его терпели. Надо же, назначить на такое место не торгаша, а литературного критика. Туда приходили пообщаться, обменяться запрещенными книжками, сообщить важную информацию.

Новость отца о необычной просьбе Крогиуса не произвела на Юрия сильного впечатления.

– У меня в зале сексоты торчат с утра до самого закрытия, мы здесь уже привыкли, – шептал он в подсобке папе, пока я пил чай с конфетой и делал вид, что совершенно не интересуюсь их беседой. – Но твой Капабланка совершенно необязательно спрашивал «Живаго» по их просьбе. Ему тоже, наверное, хочется не только «Поднятую целину» читать.

По дороге из «Букиниста» папа объяснил, что Юрий Болдырев имеет репутацию абсолютного идеалиста. Вот и сегодня под честное слово отдал ему три тома редкого издания сочинений Державина. И вообще, принципиально ведет себя порядочно в любой ситуации. А с некоторых пор стал добрым ангелом для одного московского поэта редкостного таланта. Тот, будучи человеком, казалось бы, несгибаемой воли, совершил за свою жизнь множество благородных поступков. Но однажды произошло необъяснимое. Когда в литературном сообществе началась травля Пастернака, этот поэт также очень резко выступил против него. И многие почитатели отвернулись от своего кумира. Зовут поэта Борис Слуцкий, и папе очень жаль, что это имя мне ничего не говорит. А вот Михаил Светлов называл Слуцкого лучшим поэтом своего поколения. И вообще, к нему нужно отнестись снисходительно, ведь он никак не может простить себе совершенного предательства и тяжело из-за этого болеет. А Болдырев считает его гением и всячески ему помогает. Я мало что понял тогда. Но потом прочитал стихи Слуцкого и сразу повзрослел. И на жизненных перепутьях, когда меня в очередной раз вышибали с очередной работы. частенько повторял: *«А мой хозяин не любил меня. Не знал меня, не слышал и не видел. Но все-таки боялся как огня и сумрачно, угрюмо ненавидел».*

Три тома Державина явно придали отцу настроения. И тут еще навстречу попался давний товарищ и соучастник, известный всему Саратову артист эстрады Лев Горелик. Папа написал для его театра «Микро» немало песен, реприз и считал своим долгом защищать от нападок недоброжелателей и завистников. А таковых хватало с избытком. Ведь Лев Горелик даже во времена тотальной цензуры умудрялся со сцены сказать такое, что и в курилке с ближайшим товарищем не все решались потом повторить. Иногда Горелику хотели сделать неумный комплимент и глаза называли саратовским Райкиным. А дядя Лева в ответ говорил, что Райкина в таком случае зовут ленинградским Гореликом.

С некоторых пор у него появилось оригинальное увлечение: стал собирать собственные живописные портреты. И в данный момент Горелик возвращался после очередного сеанса позирования знаменитому местному живописцу.

– Знаешь, чем мне нравится метод социалистического реализма, – доверительно начал общаться дядя Лева с отцом. – На выходе мы имеем произведение национальное по форме и интернациональное по содержанию. Когда меня пишет художник-армянин, я получаюсь на полотне армянином. Когда азербайджанец – получаюсь азербайджанцем. А когда рисует русский – всегда евреем.

– Лева, сейчас не до шуток, – не поддерживая веселого тона, сказал отец. – Ко мне Крогиус обращался за «Живаго», а ты знаешь, на кого он работает. Что делать, быть или не быть – вот в чем вопрос.

– Боренька, в Одессе утверждают, что быть или не быть – это два вопроса, – не унимался Горелик. – Я думаю, ты сгущаешь краски. Ты же сказал ему нет, а нет самиздата и суда нет. У меня, во всяком случае, сейчас ничего нет, в прошлом никогда не было и в будущем ничего не будет.

– Думаю, что кто-то из наших стучит, – продолжал отец мрачно. – Только никак не могу понять кто.

– Можешь и дальше переживать, если делать нечего, – предложил дядя Лева. – Если и должны стучать, то, прежде всего, на Горелика. В обкоме партии был большой скандал в связи с нашим последним представлением. Группа ветеранов подавления Кронштадтского мятежа накатала на меня огромную телегу. Но я сказал, что все недостатки нашей жизни откровенно высмеиваю со сцены. И ты знаешь, меня поддержали в отделе культуры. Кстати, на твою тему есть такой анекдот.

Нужно видеть, как дядя Лева рассказывает анекдоты. Это же театр. И не микро, а макро. А какие интонации!

– Лубянка, здание госбезопасности, кабинет следователя. За столом – совсем молоденький, только из ликбеза, лейтенантик что-то пишет. Заходит армейский генерал, – дядя Лева говорил шепотом, но каждое его слово отдалось далеким эхом. – Лейтенантик не выражает никаких эмоций. Генерал вскипает. – Товарищ лейтенант! Вас не учили приветствовать старших по званию?! Лейтенант не реагирует. – Я генерал, в конце концов, нужно уважать воинскую дисциплину и уважать старших по званию. – Никакой реакции и на это. Генерал, начиная беспокоиться: – Вы что, меня в чем-то подозреваете? Лейтенант уловил переход к предметному разговору и поднял голову. – А вы подойдите к окну, товарищ генерал. Генерал подходит. – Видите – Лубянская площадь, Детский мир, видите? Люди ходят, видите? Так вот – это подозреваемые! А тому, кто у меня в кабинете, – просто копец!!!

Папа сдержанно посмеялся, но все попытки ближайшего друга отвлечь его от печальных мыслей успехом не увенчались. Отец на следующий день отправился к Борису Ямпольскому. Как-то мы у него были вместе. Борис Яковлевич запомнился мне довольно замкнутым человеком. Он даже после большой рюмки водки, принятой за обедом, не слишком охотно поддерживал беседу. Старый политзэк терпеть не мог вести важные разговоры в присутствии посторонних. И отец благоразумно оставил меня на этот раз дома. Впрочем, поздно вечером я благополучно подслушал папин пересказ их беседы, в нюансы которой он посвящал тетю Розу.

В отличие от всего круга друзей, Ямпольский всерьез напугала новость о неожиданной просьбе Крогиуса. Оказывается, некоторые его солагерники, с которыми он мотал срок в сороковые, недавно вновь оказались за колючей проволокой за антисоветскую деятельность.

– Мы совсем страх потеряли, забыли, с кем имеем дело, – передавал отец слова Ямпольского. – Толя Катц не столько репетирует на пианино свои концерты в филармонии, сколько в четыре руки перепечатывает с Юрой Болдыревым «Раковый корпус», Варлама Шаламова. А еще составил том песен Галича, переплел. Один из наших ездил в Москву повидаться с Галичем и показал ему книгу. Тому понравилось безумно, сделал благодарственный автограф. Все это очень мило, но попадется на глаза кому не надо, будут одни неприятности.

Тетя Роза придерживалась того же мнения и настоятельно советовала папе усерднее хлопотать насчет переезда в Москву. Тогда у него действительно появился шанс осуществить мечту всей провинциальной интеллигенции и обосноваться в столице. Локомотивом этой плодотворной идеи была его вторая супруга, которая добивалась московской прописки по причине острой необходимости ухода за проживавшими там престарелыми родителями. И как ни удивительно, но ей удалось осуществить задуманное. Так что вскоре отец поменял место жительства.

– Не понимаю, зачем вы все рассказали редактору, – сказал Николай Владимирович, когда снова пришел в мой кабинет. – Очень вы меня расстроили, очень. Странно как-то получается, вот мы вас считали порядочным человеком, а вы нам ничем в этом деле не помогли. Зато знакомого вашего N за обычного забулдыгу держали, а он нам просигнализировал о Галочкине, активно содействовал пресечению его противоправной деятельности.

Про N, пользующегося нехорошей славой в журналистских кругах, он не зря сообщил, тот и сам своего стукачества не скрывал. У него также кое-что из самиздата хранилось. Любил с глубокого похмелья умную книжку почитать. Но его дружок-кагебэшник предупредил, что готовится к раскрутке книжное дело, вот он и подсуетился, донос написал. Но этому, похоже, никто и не удивился. Он регулярно спаивал молодых товарищей по перу и всегда очень радовался чужим неприятностям. Дескать, пусть я говно, но и ты ничем не лучше.

А вот другого, более хитрого своего «благодетеля» Галочкин сам высчитал. Тот никогда ни чем таким не интересовался, а в последние пару месяцев от Юры не отходил. И о каждом новом поступлении подробно расспрашивал. А в день суда с утра пришел к Галочкину домой и ни на шаг от него не отходил, пока тот не сел на скамью подсудимых. Позже стало понятно, что приказали сопровождать, как бы чего не учудил. И тут же потерял к нему всякий интерес. Больше никогда к Юрке не обращался.

Следствие по его делу дотошным не назовешь. Никого больше к суду привлечь не стремились. Несколько офицеров, включая Николая Владимировича, за раскрытие столь страшного «преступления» получили по «звездочке», продвинулись по службе, чему были несказанно рады. И к Юре они испытывали определенное чувство благодарности. Во всяком случае, вменили ему по минимуму. Приговорили Галочкина к двум годам исправительных работ, так называемой «химии». Днем в свободе его не ограничивали, но ночевать он должен был в специфичном общежитии, куда являлся строго к 22 часам.

А все страхи моего отца в тот момент оказались напрасными. Никого не трогали, не беспокоили. Анатолий Катц раздобыл машинку с двухцветной лентой: начало каждой новой главы печатал исключительно красной. А если, не приведи Господи, делал ошибку, даже в запятой, то ластиком брезговал пользоваться, а заново перепечатывал всю страницу. Кстати, отец страдал такой же педантичностью. У Катца хранилась и замечательная коллекция политического самиздата. И все листовки, воззвания аккуратно переплетал.

Однако года через три после отъезда отца в Саратове прокатилась волна обысков с изъятием запрещенной литературы. По доброй традиции в областной газете с говорящим названием «Коммунист» появилась статья, разоблачающая «самиздатчиков», круг которых практически полностью состоял из друзей отца. Дабы не показалось мало, туда еще приплели распространение порнографии.

Судебный процесс обещал быть очень громким, но всех спасла подследственная женщина-врач. Пришла она домой после допроса и видит, что стали настенные часы, ее память об отце. А кагебешники их снимали во время обыска. Ей стало совсем дурно. Еще рассказывают, что ей настоятельно посоветовали хорошо подумать и назвать московские адреса, через которые в Саратов поступали «нехорошие» книжки. Женщина поняла, что второй раз не выдержит бесед в казенном учреждении, может выдать имена друзей, и предпочла повеситься в собственной квартире.

На ее похоронах коллегам-медикам было запрещено нести траурные венки. «Нечего по поводу несчастного случая проводить политическую демонстрацию», – строго предупредили крепкие

ребята в штатских костюмах. Но далее раскручивать пружину разоблачения антисоветских элементов не стали. Ограничились увольнением с работы и общественным порицанием.

Отставной директор букинистического магазина Юрий Болдырев сначала оказался на должности сотрудника детской библиотеки, а затем продолжил свое сотрудничество с Борисом Слуцким. И уже гораздо позже описываемых событий Болдырев стал его душеприказчиком. После смерти Слуцкого расшифровал и издал почти полторы тысячи его стихотворений, спасая их от полного забвения. И когда пришел последний час самого Юрия Леонардовича, он был похоронен в одной ограде с поэтом. Как пишет Евгений Евтушенко, это редчайший случай в истории русской литературы.

Анатолий Катца лишили права давать сольные концерты. Но пианино-то у него не отняли, и он писал музыку. Кстати, в свое время он сочинил мелодию к тексту отца, и их песня «Бумажный кораблик» в исполнении звезды тогдашней эстрады Владимира Макарова была довольно популярной.

Ешь эти райские яблоки,
И помни случай такой.
Что на бумажном кораблике,
Лучше не топать ногой.

Сейчас он лауреат, заслуженный российский артист и вообще руководит всей саратовской филармонией. И, насколько мне известно, очень жалеет о том, что ему так и не вернули том стихов Галича с автографом автора. Кто-то видел эту книгу в музее местного ФСБ.

Про Льва Горелика и говорить нечего, его тогда никто тронуть не посмел. Сейчас он – почетный гражданин Саратова, меценат, устроитель праздников изящных искусств. Слава об его коллекции картин, включая собственные портреты, гремит далеко. А сейчас он развернул кипучую деятельность по поиску материалов о моем отце, недавно очень посодействовал тому, чтобы я из фондов Радищевского музея получил рукопись отцовских воспоминаний о Николае Гущине. Мы иногда переговариваемся по телефону. И каждый раз не обходится без свежего анекдота.

Виктора Селезнева после следствия выгнали из кинопроката, и он пошел в спецавтохозяйство по уборке города. Потом попросили и оттуда. Безработного филолога подобрал секретарь парторганизации одного из проектных институтов Константин Федоров, сражавшийся вместе с французскими летчиками в эскадрилье «Нормандия-Неман». Этот смелый человек, например, однажды публично при обсуждении «Малой земли» сказал, что ничего уникального в этой операции нет, таких было сотни. Селезнев редактировал научно-техническую литературу и получал большую по институтским меркам ставку. Ныне едва ли не самый авторитетный исследователь творчества Сухово-Кобылина. А еще он издал подробную хронику инакомыслия в родном городе. Одну главу в нем он посвятил моему отцу.

Но самые удивительные события произошли с Борисом Ямпольским. Его выгнали с работы в кинотеатре и принудили уехать в Петрозаводск. Оттуда он перебрался в Ленинград. На склоне лет Борис Ямпольский написал книгу «Избранные минуты жизни» и попытался вступить в уже петербургское отделение союза писателей. Но при обсуждении его кандидатуры разразился оглушительный скандал. Некоторые весьма уважаемые деятели культуры недвусмысленно обвинили Ямпольского в доносительстве. Ничего конкретного ему не предъявили, одни смутные подозрения и догадки. И, тем не менее, прошение было отклонено. Почти восьмидесятилетний старик вынужден был обращаться в вышестоящие писательские инстанции. После тягомотных разбирательств его все же приняли в творческий союз, но он ни на одном заседании так и не появился. А вскоре тихо скончался.

Я связывался с Виктором Макаровичем, чтобы прояснить ситуацию. Он ответил, что у него нет сомнений в порядочности Ямпольского, тот достойно держался на допросах. А петербургская вакханалия связана с личными взаимоотношениями. Когда-то Борис Яковлевич чего-то не поде-

лил с человеком, состряпавшим впоследствии на него донос демократической общественности. Увы, но внутренняя потребность в стукачестве может прятаться в самых респектабельных людях. Те довольно известные писатели, кто предъявлял ничем не обоснованные обвинения Ямпольскому, по сути своей ничем не отличались от НКВДэшной своры. И тем, и другим доказательства не требовались, они руководствовались классовым чутьем.

Пребывание Галочкина в неволе все больше походило на пародию. В тюремную библиотеку начали поступать литературные журналы с произведениями реабилитированных авторов, за которые осужденный Юрий нес свой крест. В коридоре общежития с решетками он столкнулся со своим куратором из КГБ. Показал ему такой журнальчик, ехидно спросил, можно ли читать, не выйдет ли ему это боком. Куратор что-то пробурчал и предпочел увильнуть от беседы. Едва Галочкин отбыл десять месяцев из назначенных ему двух лет, как его освободили.

Но хотя прежний самиздат к этому времени уже прочно оккупировал все периодические издания, а с экранов телевизор говорили такое, чего раньше и шепотом боялись произнести, чувствовал себя Юра на воле довольно неуютно. На работу с судимостью не брали, на заочном отделении пединститута, откуда после суда его исключили, не восстанавливали. И тогда он написал о своих злоключениях в журнал «Знамя», где редакторствовал писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Тот опубликовал его письмо и пообещал лично добиваться пересмотра этого дела.

Вооружившись журналом, я рискнул пойти к руководству своей газеты. Дескать, так и так, читатели поймут нас неправильно, если мы останемся безучастными, хочу сделать с Галочкиным интервью. Мы сторговались на сотню строк и публикацию в подвале второй полосы в информационной подборке на самые разные темы.

Юрка в интервью проявил удивительную сдержанность и скромность. Ни на кого не жаловался, ни на кого не сетовал. Подчеркнул, что обращались с ним очень гуманно, щедро на допросах угощали дефицитным кофе за счет бюджета. Вот только жаль было жену, которой пришлось пережить и обыск, и собеседования, и уголовный процесс на восьмом месяце беременности. А вообще политика его совершенно не волнует, он просто любит читать только то, что ему интересно, а не навязано сверху.

Как ни удивительно, но это интервью вышло почти без купюр. Первым откликнулся Николай Владимирович. Он сказал, что публикация ему очень понравилась, а Галочкин вообще молодец, нет в нем никакой озлобленности на советскую власть. Еще Николай Владимирович достал записную книжку и прочитал вслух занесенное в нее изречение академика Андрея Сахарова, который писал, что в эпоху застоя органы госбезопасности оказались наименее коррумпированы в структурах власти. «У нас все гордятся такой оценкой», – доверительно поделился он.

А Галочкину в тот же день позвонил ректор пединститута и пригласил заходить запросто, пообещал, что с восстановлением проблем не будет. Если бы Юрка еще хотел учиться... Между тем, диссидентство стало входить в моду. Его наперебой принялись приглашать на встречи с молодежью, творческие вечера. Тут подоспел и дела пересмотр, судимость с него, конечно, сняли. И с работой разрешилось все само собой. Он занялся частным предпринимательством, стал торговать книгами. Его лоток пользовался колоссальной популярностью. Тем, кто не мог покупать, давал книги почитать просто так. Правда, то ли вкус ему стал изменять, то ли конъюнктуру рынка пришлось учитывать. По его рекомендации я у него приобрел книжку неизвестного мне автора Г. Климова и потом долго плевался от этого антисемитского чтива. Но в любом случае он остался в истории Чувашии единственным осужденным инакомыслящим в послесталинскую эпоху. И когда он скончался от сердечного приступа, об этом прискорбном событии сообщили в выпуске новостей местного телевидения, что допускалось только в отношении крупных государственных и общественных деятелей.

А с отцом в последний раз я встретился в Москве в 1988 году. Занимался на журналистских курсах при Госплане, где обучали писать на экономические темы в новых условиях. Судя по все-

му, в идеологических структурах партии повышению квалификации сотрудников провинциальных газет уделялось серьезное внимание, и нам создали вполне приличные условия для двухнедельного пребывания в столице: жили в неплохой гостинице, а обедали в кафешке ЦК у церкви на Старой площади, куда выдавали разовые пропуска. Для Москвы, где нормально поесть на наши суточные было совершенно нереально, данная льгота выглядела роскошью. Кормили там сытно, вкусно и очень дешево. Так дешево, что даже наша студенческая «тошниловка» не могла с ней сравниться по ценам.

Отец в тот момент был очень увлечен своими новыми филологическими изысканиями. В упомянутом уже трехтомнике Державина, приобретенном им в саратовском «Букинисте», на форзаце одной из книг он обнаружил стихотворный автографический отклик на смерть Гавриила Романовича. Причем, эти вирши были неизвестны историкам литературы. Только папа знал, какие горы ему пришлось свернуть, чтобы установить личность автора стихотворения. Наконец, открытие состоялось, им оказался пиит начала девятнадцатого века с замечательной фамилией Остолопов, и по сему поводу отец готовил большую статью в «Альманах библиофила», чем очень гордился.

Я же предпочитал читать все, что публиковали литературные журналы, извлекая рукописи из запыленных ящиков редакционных столов. Но, к своему ужасу, нередко испытывал разочарования. У меня сил не хватало, чтобы дочитать многостраничный шедевр до конца, а ведь совсем недавно люди перепечатывали их по ночам.

– Папа, мне очень стыдно, но мне совершенно не понравился «Доктор Живаго», – признался я как-то, краснея от собственной ограниченности.

– Не надо стесняться этого, сынок, – отозвался отец совершенно спокойно. – Мне тоже не понравился, а Анна Ахматова вообще его разнесла в пух и прах. Если бы ему не дали нобелевской премии, о нем бы давно забыли. А люди за него под суд шли.

Мы еще поерничали над классикой, и тут черт меня дернул предложить отцу разовый пропуск в цекашную столовку. Сходи, посмотри, как питается партноменклатура, когда даже в московских магазинах народ давиться за вареной колбасой. Ему эта идея понравилась, он обещал туда отправиться в ближайшее время. А вечером следующего дня я застал его совершенно убитым, и сразу все понял.

– У тебя из-за пропуска были неприятности?

– Да, меня охрана задержала на входе. Там одни кагебэшники. завели в свою караулку, допрашивали, откуда я взял пропуск... Обещали и с тобой разобраться...

Я представил, как отец со своей палочкой, аристократично прихрамывая, входит туда, начинает дотошно расспрашивать, какие здесь порядки. Его неуверенные манеры и явно неарийский профиль сразу бросаются в глаза. Каким местом я думал, когда предлагал ему туда пойти...

– Они меня буквально взашей, как бродяжку, – мой красивый и умный отец едва не плакал. – У тебя теперь тоже будут проблемы.

– О чем ты говоришь, – сказал я со стопроцентной уверенностью в голосе. – Неужели непонятно, что у них хватает силенок только охранять свои харчевни. Скоро все закончится, вот увидишь.

– Но я хочу об этом написать, – расхрабрился папа, чуть успокоившись,

– Конечно, обязательно нужно написать.

Февраль-апрель 2009 г.

Александр ШАРЫПОВ

Рассказ, повесть, монолог

Интерес к неформатной мастерской прозе последних 20-ти лет только появляется, то есть некоторые уникальные русскоязычные авторы становятся доступны «рядовому читателю», а не одним лишь специалистам. Пожалуй, можно говорить об очередной нише «возвращенной» литературы, хотя в данном возвращается то, что только, казалось бы, появилось. Это не предполагает, что за означенные годы возникло множество безвестных мастеров прозы, – речь идет о нескольких фамилиях, объединенных тем, что они пока еще больше любимы славистами, за рубежом, нежели в России. Эта «проза на экспорт» во многом определяет подсознательный совестливый базис новейшей отечественной словесности, о котором мало говорят, но о котором знает критика и без которого официально-медийный литературный процесс выглядел бы сиротливо. Одной из точек отсчета здесь можно считать рассказы и повести Александра Шарыпова. По сверхплотности текста Шарыпов не уступает своему старшему товарищу – Анатолию Гаврилову, признанному маэстро короткого рассказа. Их объединяет умение использовать скромные, но безошибочно подобранные ресурсы языка, чтобы создать предельно емкое повествование. Шарыпов органично подводит читателя к пониманию того, что живая проза, как и высокие технологии, зачастую работает сегодня «на сжатие», когда уменьшается объем, но возрастает функциональность. Такое сгущение жанра можно назвать формулой, запредельным конспектом, местами похожим на бессознательное сближение слов, но то, что у Шарыпова напоминает шаманство, звукопись и горячку – на самом деле строгое, математически выверенное таинство.

Александр Шарыпов родился 24 ноября 1959 года в городе Великом Устюге Вологодской области. В 1982 году окончил Владимирский политехнический институт. После службы в армии с 1984-го до 1996 года работал в Научно-исследовательском лазерном центре (город Радужный Владимирской области). Печатался в журналах «Соло», «Юность», «Рагпаззо» (Хельсинки), «Glas» (Москва – Бирмингем), «Двоеточие» (Иерусалим), альманахе «Остров» (Берлин), сборнике «Muschiks Underground» (Мюнхен-Цюрих), а также в «Независимой газете», еженедельнике «Неделя» и др. Произведения Шарыпова отмечены премией им. Н.Лескова (1993), Пушкинской стипендией Гамбургского Фонда Альфреда Тепфера (1995), премией международного фонда «Демократия» (1996). Скончался Александр Шарыпов 22 декабря 1997 года.

С друзьями и публикаторами Шарыпова мы составили книгу, в которую вошло почти всё, написанное им. Некоторые вещи еще не были напечатаны, поэтому предлагаю их для журнала «Волга» в виде подборки «рассказ-повесть-монолог». Книга Шарыпова должна вскоре выйти в московском издательстве «КоЛибри», называться будет «Клопы» – по одному из лучших рассказов автора. Она войдет в новую книжную серию «Уроки русского», которая, надеюсь, обозначит границы современной прозаической «возвращенки».

Олег Зоберн

Под стук колес, под стук

Рассказ

Согласно последним данным, смысл жизни известен более чем половине человечества, поскольку вообще женщин больше, чем мужчин. Женщины – вот ствол древа, его сердцевина, а мы – кора и боковые ветки, мы разведчики и защитники – так передали по телевизору. Ствол знает, куда ему расти, но время от времени на всякий пожарный случай посылает нас вбок от себя: поищите, мол, нет ли и там какого смысла? А устанете искать – вот вам большая страна и на ней железные дороги, залезьте в вагон и, пока он едет, спокойно во всем разберитесь. Ноги ваши гудят после долгих поисков смысла, стоптанные башмаки лежат и перекатываются на полу – вам кажется, что жизнь прошла напрасно и вы всю жизнь бежали не туда, ничего, не расстраивайтесь, отдохните пока тут, на верхней полке, уткнув лицо в серую подушку, страна у вас большая, времени много, и нет лучше места, чтоб спокойно разобраться во всем.

Мир не рухнет от вашей ошибки: пока вы бежали туда-то и туда-то, кто-то за вашей спиной, для равновесия, бежал в противоположную сторону, а тем временем, главное, ствол наш все рос куда надо. Мир не рухнет. Лежите спокойно. Куда вам? К вашему сведению: сейчас мы все едем в Котлас, туда, где Северная Двина. Вам все равно. Правильно.

Прежде всего надо разобраться с поэтами. Отодвинем в сторону шахматы. Давайте поговорим о поэтах.

Потому что – у них ведь как? У них везде сидят незнакомки. В парке с желтыми листьями. На площади со снегом. В горах Крыма и Кавказа. На балкон выйдете – незнакомка. В люк водостока заглянете – незнакомка. За копченой треской побежите – нету копченой трески, одни незнакомки. А уж в поезде, в котором мы едем – целая рота незнакомок, по одной на каждое купе.

Будто она сидит напротив вас в ночном полумраке вагона, а потом поезд трогается, бегут по стенам серебряные тени, или плывет закат в зыбкий мартовский вечер, и ваши сердца или души летят со свистом в какую-то эллиптическую туманность или еще куда-нибудь.

Или, допустим, в стране идет дождь, и в газоне растет зеленая трава, а вдоль газона – белый бордюр, и она шагает по бордюрчику, будто олимпийская чемпионка – в красных брючках, с белой сумкой через плечо, и моросит дождь, покрывая бисером ее волосы, и вы, бросив авоську с огурцами, бежите к ней, чтобы, например, воздвигнуть над ней свой черный зонт, и она, качнувшись, отдаст вам белую сумку и свесит с бордюрчика лакированные туфельки и дотронется до вашего плеча. Да.

Или, допустим, вы открываете дверь купе, стучащего, как грудная клетка, и она уже смотрит на вас снизу вверх, взметнув брови, и вы вволакиваете свою черную сумку и садитесь напротив, и она отворачивается и смотрит на ваше отражение в черном стекле, а вы смотрите на ее отражение, и у нее оказываются очень удивленные глаза, и вы сидите и ждете, как завороженный, что сейчас она протянет тонкую свою руку, погладит вас по загривку, как умного щенка, и скажет: «У-тю-тю-тю-тю...» – и ваши волосы, к которым прикоснулась ее ладошка, будут лежать на голове радостно и смиренно.

Вот здесь она и сидит. Вот на этом месте. Вот тут у нее туфли, тут голова, тут серебряные тени.

Вы что-то хотите сказать?

Вы хотите взобраться на высокую колокольню и перестрелять всех этих поэтов из пулемета, и в вашем мозгу, распаленном от поисков смысла, они разбегаются, как тараканы.

Да. Есть в жизни и газон, и бордюр – но нет незнакомки. И наоборот – есть незнакомка, но нет поблизости вас. Вы лежите, уткнувшись лицом в подушку, и разбираетесь во всем, а она не ждет вас за дверью – хоть целый день ту дверь отворяй и захлопывай.

Она ездит другими путями, и на других лошадях, и ей наплевать на темную ночь, и на живой зеленый поезд, и на желтые окна, плывущие по земле, наплевать.

А что же олимпийская чемпионка, например, Маша Филатова – по бревну?

– А вот что, – говорит сытый телекомментатор, показывая с экрана фигу. – Вас тут сорок миллионов, а Машка у меня одна.

Это поэзия.

Когда мы, безбожники, будем стоять перед Богом голые, сцепив внизу ладони, как стенка в ожидании штрафного удара, и Бог будет думать, как бы нас наказать – давайте поднимем руку и скажем, чтобы Он посадил поэтов в наш поезд, и пусть он их возит.

Вы, собственно, куда едете? Никуда не едете? Я еду в Котлас. Давайте, пока то да се, спокойно во всем разберемся.

В поэтах ли дело? Я мог бы вообще не говорить о поэтах, просто у меня в голове без конца вертятся всякие рифмы, ямбы, анапесты, вот и про Господа Бога – только подумал: «Аминь, аминь глаголю вам» – как следом уж лезет: «Поедем летом мы на БАМ», и приходится разламывать фразы на куски и собирать снова, так, чтоб была проза, к примеру, просится «пес» – пишу «собака», просится «Херасков» – скрипя зубами, печатаю «Державин»; в сущности, поэт как раз и отличается от нас тем, что мы находим в себе силы разломать поэзию на куски, а он так и пишет, как лезет.

Если мы, например, выходим на балкон, то к нам никто не приходит. Нас это гнетет. Мы смотрим на небо – и что мы думаем? Что вот перед нами соседняя галактика, номер 224 по каталогу, и всякие ожидания бесперспективны, потому что, не говоря о чем другом, сигнал до нее идет два миллиона лет, и сама она убегает со скоростью сорок километров в секунду.

А поэта эта ситуация не гнетет совершенно. Почему? Отчасти – по необразованности. Когда-то проверяли всех людей искусства на образованность – и самые необразованные, конечно, артисты, а сразу за ними идут поэты. Поэт вообще не знает, что туманность Андромеды – это галактика номер 224. При слове «туманность» ему представляется нечто вроде вуали, и в голову ему лезет, что на балкон вот-вот придет незнакомка. Он так и пишет: мол, «приходит на балкон с Андромедою Дракон» – после чего, удовлетворенный, сразу уходит с балкона.

То же самое в поездах. Для чего вообще железные дороги? Они для того, отвечаем мы с вами, чтоб разбираться во всем, пока ствол тянется вверх. Поэтому их и называют иногда ветками. – А почему, – думает поэт, – матрацы лежат всегда так, что незнакомкам их не достать? Не для того ли, чтобы матрац незнакомке достал он, случись рядом с ним незнакомка? Или вагон время от времени резко бросает в сторону – не для того ли, чтоб незнакомка ухватилась за него, когда бы они шли по коридору?

Матрацы получаются зачарованные, они лежат на туманных полках. Склоненная ложка, позвякивая в бездонном стакане, качается прямо в мозгу. Конь блед...

Кстати, о шахматах. Почему у белых аж два коня и две королевы, а у черных, кроме короля, одна пешка, и все? Куда делись черные кони? – волнуемся мы. – Только дурак будет играть в таком положении! – А поэт на это плюет. Он не играет. Ему не нужен партнер. Вот в чем все дело. Он ищет некую, за доску выходящую красоту.

И незнакомки в поездах – это такой символизм, у которого и смысл как раз в том, что есть идея, но нет подходящего воплощения, и вот она ищет, во что бы ей воплотиться, и не находит.

У нас же наоборот: есть воплощение, но не видно идеи. Все туманности сосчитаны и переписаны, а Маша Филатова одна на всю страну.

Но что плохого в том, что нет незнакомок, а есть лесорубы? Если б не было лесорубов – не было бы бревен, по чему ходят олимпийские чемпионки, не было бы досок, по чему ходят шахматы, не было бы и самих шахмат; не было бы даже бумаги, на чем писать. Но вот они, лесорубы, суровый краснокожий народ, кому поет иволга и чьи сердца непослушны докторам – они едут вместе с вами, они вместе с вами пластом лежат на нижних и верхних полках, их качает вагон, как вас – под плач какой незнакомки вам бы так хорошо мечталось, как мечтается под их стон и храп?

Тот любит поезд, какой он есть, кто хоть раз трогал колеса после долгого перегона – они

теплые, снег тает на них, если положить на них снег – он тает, как на ваших ладонях – поймите, ему нелегко таскать вагоны, когда вокруг такой простор, или, к примеру, взять море – там нет никаких рельс, плыви себе, куда хочешь...

А стук колес? Один француз, говорят, как услышал стук колес – так сразу сел и написал концерт для фортепьяно соль мажор, а страна у них, между прочим, меньше нашей в сто раз.

А подумали вы о том, что всамделишная незнакомка – это же страшная вещь? Вы не будете спать всю ночь, а утром, глядя в сторону, нервно зевнете – и она, чтоб начать разговор, спросит:

– А не кажется ли вам, что зевать в присутствии женщин неприлично?

И что вы ответите? – «Нет, не кажется»? – Выйдет, что вы не умеете себя вести. – «Да, кажется»? – значит, вы умеете себя вести, но специально плохо ведете.

Так что лежите спокойно. Кто там напротив вас?

Вот ему тоже не спится. Он простудился на Ярославском, ночуя там среди окурков и пробок, и чихает теперь очередями, в промежутках выражая удивление по поводу странной напасти:

– Ась! Ась! Ась! Ась! То т-такое?.. Ась! Ась! Ась! Ась! Ау, поминает кто-то? Ась! Ась! Ась!..

Аятолла Хомейни, между прочим, запретил у себя в стране музыку, спиртные напитки и лица женщин, ибо все это отвлекает мужчин от дела, одурманивает им голову и лишает их душевного равновесия. Я убедил вас?

Нет. Вы хотите, чтоб напротив вас была незнакомка.

Ну хорошо. Есть в поездах незнакомки. Правильно, и лопата стреляет. Рота не рота, а одна незнакомка на сто поездов поездов попадается. – А вы едете в тысячный раз. – Хорошо. Вы встретите незнакомку.

Вопрос – где. Вариант с матрацем отпадает – матрац ей достанет жених. А как вы думали? Без партнеров у нас в стране одни поэтессы. Вы ж не хотите, чтоб незнакомкой была поэтесса? У них еще нос горбом. И с коридором вариант отпадает – она ухватится за маму. А как вы думали? Это же ночь. Какая же мама отпустит дочь одну в коридор? Да еще в районе лесоповала? В крайнем случае она пошлет вместе с ней какого-нибудь дядю Тоби. Хотите ли вы еще встретить свою незнакомку? – Хотите. Ну хорошо.

Значит, так.

Сейчас в ткань повествования внедрится санитарно-гигиенический узел. Давайте условимся, что оный узел вымыт, вычищен, пахнет одеколоном «Шипр» и сверкает, как парикмахерская. Сделаем такую уступку поэзии.

Будет вот как: в вагоне – ночное освещение, в малом тамбуре – яркий свет. Санузел занят. В малом тамбуре – маленькая очередь. Вы – и ваша незнакомка. Вид вот. Вот фон. Фон не располагает к знакомству. Незнакомка, высунув из окна руки, смотрит в ночь, и ветер треплет ее крашеные волосы, а вы стоите сбоку, прислонившись к дверям, и смотрите на огнетушитель.

Вот так. Я специально поставил вас сбоку, чтоб вы могли, в случае чего, зевнуть незаметно. Зевайте. Решая задачу, никто не зевает нервно, но это не задача, это партия, как таковая. Тут есть фигуры, которых нет у поэтов – мы берем их в расчет. Жених, черный прапорщик, дрыхнет на верхней полке, черный дядя оттеснен в туалет (он выпил много пива на станции Кулой); а что касается мамы – черную маму, ради вас, взял на себя я, ваш друг, товарищ и брат.

В чем же секрет? Секрет в том, что санузел общий. Вот ведь какая грустная вещь. И никто не бьет тревогу. Но у нас же с вами не Франция, в конце-то концов, давайте разделимся, одна половина сюда, а другая – туда. Вы только представьте: незнакомка же! – раз в жизни! – перья страуса склоненные! – и – бах! – гальюн.

А вы? – а вот вы стоите, скрестив руки на груди, как белая статуя, и рассматриваете украдкой свою незнакомку, и ищете утешения в том, что вот-де талия толстовата – какая к черту талия! Бросьте! Это блузон надувается ветром. Блузон! Известны ли вам такие слова? – А она? Она, между прочим, ждет, когда вы заговорите, потому что – это ясно как день – черный прапорщик со всеми своими блестящими пуговицами, по совести говоря, до смерти ей надоел. А может, она дура? – думаете вы, доставая верхней губой нос, и хотите спросить ее что-нибудь эдакое, и тут с

ужасом обнаруживаете, что все поэты разбежались кто куда, и вы не можете вспомнить не только что француза, но даже этого, своего, арапа, и тащите их назад, и вытаскиваете такое, что хохотали арапы над лбом попугая, но только открываете рот, как вдруг проваливаетесь во тьму коридора – это недремлющий лесоруб поезда 524, неся яичную скорлупу, открыл за вами дверь. Он просит незнакомку посторониться и высыпает скорлупу в мусорный ящик, мельком взглянув на клубнику, вышитую на белом блузоне – о, блузон! – и уходит, хлопнув дверью, и попугай вылетает у вас из головы, и начинает сильно биться сердце у вашей незнакомки, и она взволнованно дышит – вы видите, как вздрагивают белые складки, и раздраженно думаете о том, как ей не надоест смотреть в ночь – и что там видно, в ночи? Ничего не видно! И тут с грохотом открывается дверь санузла, оттуда, высморкавшись напоследок, выходит дядя Тоби, и незнакомка идет на его место, обдав ваши ноздри ароматом таких духов, каких не нюхали ваши лесные края; тогда вы садитесь на мусорный ящик, поглаживаете ладонью деревяшку окна, а деревяшка теплая в двух местах – там, где лежали руки вашей незнакомки – и клянетесь, что познакомитесь с ней, и даже прочищаете горло, и издаете для пробы какой-нибудь звук, и мучительно долго тянется время – вы успеваете подумать о яйцах, о клубнике, о французах, о художнике Французове, у которого есть картина «Титькоглаз»... Кстати, известно ли вам еще такое выражение: «на бретельках»? Висеть на бретельках в малом тамбуре... И уж совсем неожиданно кончаете тем, что а вдруг ее зовут Клавдия или еще как-нибудь почище, и вот, наконец, открывается дверь, и выходит... Казалось бы, ваша незнакомка – но почему-то в красном халате, и с белым гребнем в волосах, и что самое главное – с совсем другим запахом – и пока вы соображаете, что да как, она уходит в сумрак вагона, хлопнув у вас под носом дверью, и вы, отупев от неожиданности, входите в туалет, рассматриваете надпись «Промыт – 12.5.77» – а потом высовываетесь в окно и, повертев головой, произносите какую-нибудь банальную фразу, например: «Мы никогда друг друга не любили и разошлись, как в море поезда».

Вы долго стоите молча, высунувшись из окна как только можете и до рези в глазах вглядываясь в темноту.

Потом обретаете дар речи:

– Что вы там видите, в ночи? – спрашиваете вы. – Дежурного ангела? Вы ошибаетесь, это не ангельские глаза, это архангельские! А, уи, уи, Двина Септантриональ! Ваше благородие, госпожа удача...

Ветер дует вам в волосы, в ваш глаз залетает сорина, и он начинает лить слезы. Вы прерываете речь, и вам больше нечего делать, как вернуть голову в сверкающий туалет.

Советую вам еще вглядеться в эту самую деревяшку. Ведь все-таки есть доля смысла и в нашем существовании. Каким бы унылым однообразием веяло от всех этих досок, если б не мы! Вот она, красота. Смотрите, какие колеса тут наворочены. Это мы лезли вбок от ствола.

И настанет утро. Куда едет поезд? О чем мы говорили? Вот голубое небо, лесоруб выносит свой чемоданчик (мы стоим на станции Ядриха), – сойдите, вот ваши ботинки, и следуйте за ним, он знает все про бревна...

– Ась! Ась! Ась! Ась! Нуй-я-а-а... Ась! Ась! Ась! Да то т-такое? – чихает он, только не падайте в траву, там комары съедят...

– Бум-бум-бум-бум-будьте осторожны, будьте осторожны, – бубнит далекий репродуктор, мы стоим тут три минуты, а потом уедем: вот железная телега, прикованная цепью к будке, давайте, по ступенькам, по доске через канаву, и туда, туда – ах, эта Ядриха!..

– Ась! Ась! – он идет, скрючившись – нет, он плывет в утреннем воздухе, зацепившись за Божий гвоздь и болтая ногами – лесоруб? – да это же Микеланджело Буонарроти!

– Ась! Ась! Ась!

– Счастливого пути!

Солярис-3

Повесть

1.

Оперативный дежурный позвонил в 21.00.

– Дали горючее. Завтра в семь выезд. От тебя нужен человек с лопатой. Спирт есть?

– Немного было...

– Подкинем.

Положив на рычаг трубку, я сел на диване, где уже начал задремывать перед звонком оперативного, вытер руками лицо. Потом резко встал; минуя проход в ванную, подошел к входной двери; помедлив, открыл ее, выглянул за порог.

От бетонных стен веяло пустотой и холодом. В глубине коридора я увидел неясно очерченную, почти сливающуюся с полумраком фигуру. Блеск белков напомнил мне механика из нашей лаборатории.

– Гриша, ты? – спросил я.

– Ну, я.

Загремел мусоропровод.

– Ты завтра свободен?

– А что?

– Горючее дали.

– Мы же с тобой ездили три дня назад. Тебе что – больше всех надо?

– Лопата, по крайней мере, у тебя есть?

– Нет.

Закрыв дверь, я двинулся к лифту.

– Вилли! – окликнул меня механик.

Я поглядел на него.

– Вилли, я... У меня действительно нет.

Подождав, не скажет ли он еще что-нибудь, я протянул руку к кнопке лифта, но передумал и направился к лестнице – чтоб разогнать сон.

На лестничной площадке растеклась какая-то жижа; от нее вверх и вниз тянулись следы. Внизу царил еще больший беспорядок. Валялись банки, клочки бумаги, мусор, выметенный из квартир. Над входной дверью свешивались провода от разграбленной сигнализации. Пройдя под ними, я вышел на крыльцо.

В ноздри ударил едкий дым. В синей пелене, сгустившей сумерки, едва просвечивали фонари. Откуда-то слышны были тихие голоса, скрипы.

Засунув руки в карманы, я прошелся под окнами. Кого искать? Зачем? Кто сейчас даст лопату? Лучше выспаться до утра. Решив так, я поднялся обратно на лифте, вошел к себе и упал на диван.

2.

Разбудили меня, однако, звонки. По частоте их я понял: голос. Так и есть. Тип А:

– Говорит «Пионерская зорька»!

– Привет.

– А чего ты хрипишь?

– Только проснулся.

– А сколько у вас времени?

– Полпятого.
– Эх, какая рань!.. Я тебя разбудила...
– Ничего, все равно вставать.
– Ну, расскажи, как вы там живете! Самолеты изобретаете?
– Какие самолеты?
– Ну, как там у вас вообще? Черемуха цветет?
– Нет, наверно... Уже поздно...
– А сирень?
– Не знаю... Тут у нас ее нет поблизости.
– Что ты такие паузы делаешь, ты говори что-нибудь, а то мы опять засоряем космос! Надо что-нибудь важное... Во, слушай! Чуть не забыла! Что такое дольчики?!
– Это такая хреновина, в обтяжку... Вроде штанов... Пестрые...
– Пестрые?..
– Ну да, разноцветные, кубиками...
– А, у меня таких дофига, знаю. Ну ладно, пока, засыпай снова!
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.

Я положил трубку. И тут же вспомнил, что забыл включить магнитофон. Чертыхнувшись, набрал номер оперативного.

– Это я – Томсон. Сейчас был голос, я запись не сделал.
– Почему?
– Да забыл, спросонок.
– Ладно, в журнал запиши. Человека нашел?
– Сам поеду.
– А лопата у тебя есть?
– Три дня назад у них были штатные.
– Хоть черенок возьми.
– Да ну их!.. Они всегда перестраховываются.
– Ну, смотри.

Он положил трубку. Я открыл журнал, сделал запись: «15.08. 4.30. Зв. А. Дольчики.» – «Когда я это слышу, сердце мое переполняется радостью, почти нестерпимою», – добавил мысленно. Из протокола чьего-то допроса.

Вздохнул, глядя в окно. Сизая дымка тянулась вдоль шоссе на уровне крон сосен, будто еще одна, подвешенная над землей, дорога. Потом посмотрел на часы. Ложиться не было смысла. Захлопнув журнал, я пошарил рукой под диваном и вытащил сапоги. Поднял их за голенища и со стуком уронил на пол. С твердыми, как камень, подошвами. Награда за аврал в июле.

В ванной вспомнил: допрос Жанны д'Арк.

Выходя с полотенцем на голове, бросил взгляд на бамбуковый черенок в углу. Все, что осталось от Баварца...

Было тихо, лишь капли барабанили в ванной. Я взял черенок в руку... И тут же поставил назад: на черный день! Пока не сгорят все казенные, черта с два я его возьму.

3.

«Урал-5Д», как застоявшийся конь, выглядывал из-за сосен. Подойдя сзади к кунгу, я распахнул дверь. Первое, что бросилось в глаза – груда лопат на полу, с новыми белыми черенками. Хватило бы на целый взвод. Людей же на скамеечке – всего трое. Начальник первого сектора Ярвет, телемеханик Горбунков и какой-то полковник из управления. Он читал книгу и не взглянул на меня.

– Знакомые все лица, – хрипло возвестил Ярвет и, подав руку, помог мне взобраться в кунг.
– Ведущий инженер Томсон, – представился я полковнику.
– Нарышкин, – ответил тот, не поднимая головы.
– Спирт взял? – с усмешкой щуря глаза, спросил меня Ярвет.
– Говорили – дадут, – буркнул я, усаживаясь на скамеечке.
– Будет, – подтвердил полковник.
– А танк будет? – спросил Ярвет.
– И танк будет.
– Добре...

Ярвет сел рядом со мной, расставив широко ноги. Я подумал, как не похож он – коренастый, матерый – на того Юри Ярвета, в честь которого ему дали кличку. В черной футболке и штанах с широкими, на американский манер, подтяжками он смахивал на владельца ранчо.

Впрочем, еще менее телемеханик, азербайджанский еврей с оттопыренными ушами, соответствовал Горбункову. Черт его знает, как дают клички. Под своей фамилией, насколько я помню, ходил только Чур, москвич из «Астрофизики». Да и то, по-моему, настоящая фамилия у него – Чура. Телемеханик, кажется, получил свою за то, что отзывался на «Семен Семеныча». Я давно его знаю: когда-то мы работали вместе над «Кондиционером». Потом разошлись: он бегал к начальству, я таких не люблю. Но – как же изменяет людей Контакт! Второй раз с ним едем, и – по его лицу, по горению черных глаз на этом лице – вижу, что он уже «заразился».

– Ну что? – полковник посмотрел на часы. – Семь пятнадцать. Ждать больше не будем.

Он пробрался по лопатам к окну в кабину и постучал по стеклу. Взревел мотор. Машина дернулась; дверь захлопнулась с размаху. Переваливаясь с боку на бок, «Урал» выехал на шоссе, развернулся и поехал прямо, подпрыгивая на стыках плит. На полу зазмеились полоски пыли.

Ярвет поднял упавшую книжку; пролистав сзаду наперед, положил на скамью.

– Соляристика зашла в тупик, – сказал он, зевая.

Я взглянул на обложку. Это был второй том собрания сочинений Лема.

4.

Я никогда не разделял иронии по отношению к этому писателю. А к «Солярис» тем более: я ее просто люблю.

Мне даже кажется иногда – не стыжусь признаться – что у меня к ней какие-то родственные чувства. Ведь Лем закончил роман, когда мне было полгода.

И даже не в этом дело. Тут что-то необъяснимое. Вот недавно – смотрел по телевизору допрос Крючкова, бывшего шефа КГБ – и не мог отделаться от впечатления, что он мне напоминает какую-то родственницу, не то тетку, не то бабку. Я долго не мог вспомнить, какую; потом понял – это же отец соляристики, Станислав Лем.

Многие, я знаю, считают его этаким бароном Мюнхгаузеном. Представляю, как были разочарованы шестидесятники, бросившиеся по библиотекам в поисках «Соляристического ежегодника», или альманаха, или монографии Хьюза и Эйгеля. Я и сам не понимаю, зачем ему нужен был этот Хьюз. Но суета с разоблачениями меня совершенно не задела. Может, потому, что в соляристику я въехал через «Солярис-2».

Кстати, еще совпадение. «Солярис-2» я увидел впервые, когда мне было 13. Жанна д'Арк в этом возрасте впервые увидела архангела Михаила. А Наталья Бондарчук – Хари – в 13 лет впервые прочитала Лема. Именно она по просьбе матери принесла эту книгу «какому-то дяде», о котором узнала потом, что это режиссер.

Из-за ветхости фильм Тарковского сейчас невозможно смотреть. Студентам вместо него уже крутят «Берег принцессы Люськи». Замена неполноценная: Контакт в нем слабее; но что касается монографий по теме – тут фильмы совпадают. Лет двадцать назад и у «Солярис-2» были чистые копии. Можете поверить на слово: там не только Хьюза и Эйгеля, но и океана-то почти нет.

Океан, если уж так говорить, вызывал у меня больше сомнений, чем все эти альманахи. Объектом любви кисель быть не может – это так же ясно, как то, что Штирлиц не мог работать в VI отделе РСХА. Я понял, когда еще был студентом. Но – тогда были в моде всякие выражения про Штирлица: «Я спросил себя, не болван ли он? – как сказал Кальтенбруннер. – И я ответил себе: нет, он не болван».

Как-то мне попалась на глаза марка 1961 года, где изображен «Восток-1»: какие-то кольца; что-то совершенно невообразимое. Еще чуднее изобразил сам себя генерал Леонов в 1965 году. Все тогда было засекречено, отсюда и пошла вся эта фантастика. Холодная война: иначе и быть не могло.

Теперь известно, что книга Лема вышла в издательстве министерства обороны. А меня еще в школе насторожило место написания: Закопане. Тем более что чуть ли не на первой странице там стоит: «Я остановился как вкопанный». Я это принял за намек.

Но что же, если не океан? Я тогда подумал: земля.

Как ни странно, так же думали некоторые серьезные люди. В прошлом году, побывав в группе Зиминой-Шумновой, я узнал, что была даже специальная тема – правда, в глухомани, в Москве – по исследованию Контакта в метро. Выбили деньги у КГБ, под официальное прикрытие – эксперимент по длительному пребыванию под землей, с целью проверки: могут ли диверсанты скрываться в подземных коммуникациях, чтоб выйти потом в какой-нибудь «час Ч». Результат по Контакту был отрицательный: никто ничего не чувствовал, кроме взгляда чертей. В отчете написали: диверсанты под землей жить не могут, из-за изменений в психике. КГБ был удовлетворен.

Почему про лес я не подумал? Трудно увидеть то, что лежит на виду.

Вообще говоря, работы по Контакту должна была финансировать церковь. Вместо Лема был бы миссионер, типа Стефана Пермского. Вместо «Истории планеты Солярис» – «История религии», что ближе к сути. Вместо Шенагана – мистики, Экхарт или Беме. Вместо «Апокрифа» Равинцера – «Апокриф Иоанна», со всеми комментариями – вот уж действительно, тысяча страниц ин-кварто! – начиная со Шмидта и кончая Тардье...

А министерство обороны – разве оно даст деньги под Бога? Приходится изворачиваться, брать левой рукой за правое ухо. Само слово «контакт» было крамольным – пока А-310 не упал.

Я наизусть помню расшифровку переговоров экипажа – с того момента, когда из кабины ушла девочка. Иногда мне кажется, что я слышу эти голоса:

СЫН КОМАНДИРА. Отчего он поворачивается?
КОМАНДИР. Сам поворачивается?
СЫН КОМАНДИРА. Да.
ВТОРОЙ ПИЛОТ. Ребята! (Пауза.)
КОМАНДИР. Держи! Держи штурвал, держи!..
Ком встает в горле. Это была самая крупная катастрофа за всю историю соляристики.
20:55.51. Сигнал ухода с заданной высоты...
20:55.54. Сигнал выхода на критические углы атаки...
КОМАНДИР. Выходи!
ВТОРОЙ ПИЛОТ. Земля вот!
КОМАНДИР. Выползай назад! Выходи! Выходи! Выходи! Выходи!
20:56.11. Сигнал отключения автопилота...
ВТОРОЙ ПИЛОТ. Полный газ! Полный газ! Полный газ!
КОМАНДИР. Дал газ, дал!
ВТОРОЙ ПИЛОТ. Полный газ!
КОМАНДИР. Дал!
ВТОРОЙ ПИЛОТ. Полный газ, нет?
КОМАНДИР. Я дал газ, дал! (Пауза.)
20:57.22. КОМАНДИР. Какая скорость?

ВТОРОЙ ПИЛОТ. Я не смотрел прибор. (Пауза.)

20:57.53. ВТОРОЙ ПИЛОТ. Выходим, выходим, выходим. Вправо! Вправо ножку! Большая скорость, убери газы!

КОМАНДИР. Прибрал.

ВТОРОЙ ПИЛОТ. Потихонечку!

КОМАНДИР. Скорость добавил. Потихоньку, сейчас выйдем! Все нормально.

ВТОРОЙ ПИЛОТ. Потихоньку на себя. Потихоньку. Потихоньку, говорю.

20:58.01. Короткий треск...

Нет денег... Все бы наше управление – да в этот самолет.

Хоть бы не мешали работать! С секретностью своей. Не знаешь, над чем бьются в соседнем отделе. Информация поступает крохами, черте откуда. Что говорить: еще в прошлом году – уже и КГБ-то никакого не было – не пропустили мою статью по Контакту. Я там всего лишь намекнул, что «пити-пити» в «Войне и мире» смахивает на морзянку, и провел параллель между творениями Солярис и зданием из иголок и паутинок, которые видит князь Андрей. Придрались формально к заглавию*. Но корректор, добрая толстая женщина, не глядя на меня, намекнула, что все дело в «Войне и мире». «Я дошла до этого места, – сказала она мне, – и будто стукнулась лбом».

5.

Кто-нибудь спросит: а чего мы ищем? Доказательств существования Бога? Разве недостаточно веры? Ощущения неслучайности всего? Верь и не мудрствуй, – говорит церковь: может, так?

Однако: раз мы не двигаем горы – есть ли у нас вера? Я думаю, то, что мы понимаем под верой, есть именно ощущение – какая-то самая первая, низшая ступень. А чтобы подняться выше – нужны дела. Не зря же сказал апостол: «Вера без дел мертва есть».

Вопрос в том, как понимать «дела».

Например, в случае с голосами. Одного звонка достаточно, чтобы возникло ощущение: Бог есть. И не надо никаких доказательств. Помню, когда я услышал впервые – я почувствовал радость, действительно почти нестерпимую. Радость от самого звучания голоса – неважно, о чем говорили. И вообще ничего не надо было тогда.

Прошло дня два или три. И возник вопрос: ну, и что?

Во-первых, мы не можем вызывать эти голоса по своему усмотрению – как бы сильно того ни желали – или предугадывать момент, когда они будут. Даже если сам голос скажет: «Позвоню завтра вечером», – это еще не значит, что он действительно позвонит. Мне, помню, однажды даже сказали: «Приеду завтра», – причем тип А, женского рода. Я бросился покупать всякую ерунду – телятину, зелень, специи, какие-то вина, подарки. Целый день готовился; потом бац – звонок: «Как жизнь?» – и ни слова о приезде. Я чуть с ума не сошел.

Голос тот же самый, но отдельные звонки между собой совершенно не связаны. Как будто вовсе нет памяти (не знаю, где, у кого; «у нее, там»: мы, сознательно или нет, считаем обладателей голосов себе подобными существами). Если напомнить, «она» тут же объяснит нестыковку, причем объяснение может быть столь же абсурдным, сколь и правдоподобным. Например: «Возникли проблемы с паспортом» (в космосе!) – и всегда упор делается на то, что мы же сами, наша же паспортная система и виновата во всем.

Вообще, как только от самого «пения» голоса переходишь к анализу сообщений – замечаешь сразу: все очень странно. Точно по Лему – тому, кто слышал все это, «трудно избавиться от впечатления, что перед ним обломки интеллектуальных построений, быть может и гениальных, перемешанных как попало с плодами полнейшей, граничащей с безумием глупости».

---

* *«О неупотреблении слов "блядь" и "хер" в произведениях художественной литературы».*

Например, «А» говорит о моих друзьях – чаще всего о Фаренгейте – какие они хорошие и какой я, по сравнению с ними, плохой. Мол, я не о том пишу, я злой; вот Фаренгейт, дескать, добрый, он пишет о музыке. Казалось бы – ну и позвони ему – Данилыч как раз тогда был в творческом кризисе. «И позвоню, – обещает голос, чуть ли не угрожающе. – «Гэбриэль, – спрашиваю у Фаренгейта, – тебе никто не звонил?» – «Нет, – удивляется он, – а кто должен был позвонить?»

Странность и в том, что голосов всегда – со времен еще Жанны д'Арк – как минимум двое. И они всегда «разнополые». С Жанной, как помню, говорили «архангел Михаил, святые Екатерина и Маргарита». Я своих просто назвал «А» и «Б». Они знают о существовании друг друга, знают о «разнополости»; иногда специально как бы подчеркивают это знание, причем способом до абсурда незамысловатым. «А» однажды спросила: «Не знаешь, почему *он* мне не звонит?»

Поражает их осведомленность в наших, земных делах. Не успела начаться война в Чечне – меня тут же спросили, как я к ней отношусь. Случись это год назад – я бы целый день думал: какая им, в сущности, разница? Теперь все равно...

Или о самолетах: Шишкину еще только предложили «Струю», он еще думает, брать эту тему или не брать – о зондировании спутной струи самолета – а они уже спрашивают: как там, мол?..

Из всех тем соляристики тема голосов, может быть, самая бесперспективная. И я готов согласиться, что это настоящий – может, единственный настоящий – тупик. Три года убито на исследования, и не видно никакого просвета. Полагается думать, что это тестовые воздействия, импульсы для проверки, как мы реагируем на то-то и то-то. Мол, если бы я, например, не готовился, не покупал – ну, скажем, телятины – то ко мне и в самом деле приехал бы кто-нибудь. Но как проверить это? Только изменением действий при повторении ситуации. Но ситуация никогда не повторяется! Именно голоса, при всей их кажущейся близости нашему, земному интеллекту, демонстрируют полную иррациональность. Какой-то чуждый, недоступный нам интеллект.

С другой стороны: не покидает и ощущение, что им от нас что-то все-таки надо. Особенно – в моем случае – когда звонит «Б». Он какой-то неуверенный. Его даже можно сбить – не с мысли (что вообще понимать под мыслью «у них, там»?) – а с некоего, заранее составленного, плана разговора. Если «А» всегда заполняет паузы – они возникают, только когда начнешь фразу одновременно с «ней» (иногда я так делаю специально, чтобы послушать: мне кажется, в «фоне» я различаю музыку), – то «Б», напротив, сам создает паузы. Он как будто не знает, о чем говорить. «Почему *она* не приехала?» – додумался я спросить его после того случая. В ответ – длинная пауза. «Она инопланетянка». Пауза. «Из космоса». Еще более длинная пауза. Как будто я сам не знал про космос! «Поэтому ей все можно», – наконец разродился «Б».

Может, это и не тупик вовсе – а очень длинная и извилистая дорога. Идет набор статистики – бесконечное бросание игральной кости. Да, нудная работа; да, просвета не видно; может вполне статься, жизни нашей не хватит для ее завершения – но что же делать, если у нас такая короткая жизнь.

Что касается остальных «тупиков» – они больше смахивают на ложный выход. Видишь просвет, бежишь в предвкушении открытия – и замечаешь, что здесь уже были. А некоторые и не замечают: как, может быть, сам Лем. Случайно ли он остановился на версии «девочки»? (Что глупости и «садизм» Солярис объясняются тем, что это еще ребенок.) Во-первых, это уже было. Гераклит говорил: «Вечность есть дитя играющее». Во-вторых, сказано же: «Малые сии знают Отца», – одно дело, стало быть, малые сии, а другое – Отец, Бог.

Вред этих «выходов» – в том, что в ослеплении проходишь мимо чего-то действительно важного. Часто «выходу» предшествует настоящий Контакт. Что делать? Неустанно возвращаться назад – да, назад от света, вопреки логике, в полную темноту.

Ослепления иногда и дают что-то. Например, теория третьего состояния: ведь это фантомы к ней привели.

6.

Помню, как меня самого приняли за фантома.

Пошел я на родник ночью. Дело было зимой. Фонаря у меня не было; новолунье, тьма хоть глаз выколи. В том месте, где тропинка выходит на березовую аллею, стояла какая-то женщина. Я еще подумал: неужели меня встречают? Хотел что-то сказать – она как шарахнется от меня!

Пришлось долго ее успокаивать и рассказывать, кто я. Оказывается, она не знала, что тут родник.

Пугает всегда реальность – вот что я заметил. Снаута ведь тоже испугал настоящий Крис. Фантомы не пугают. Хотя и любви к ним особой нет.

Да извинит меня Наталья Сергеевна: видя, как она оттаивает после жидкого кислорода, в «Солярис-2», как выгибается ее тело, как соски проступают – я недоумевал: почему никому не приходит в голову совокупиться с ней? Ведь это такой, казалось бы, напрашивающийся эксперимент... Но когда мы лежали с моей Хари, мне такое тоже в голову не пришло.

Я любил ее, да – но другой любовью; о которой писал Кундера, что любовь проявляется не в совокуплении, а в желании совместного сна. И ничего тут не связано с совестью. Или, например, с мыслью (Наталья Бондарчук говорила, что она играла воплощенную мысль). Как бы это объяснить...

У меня возникло впечатление, что она пришла сама по себе, независимо от меня. Что такое фантом? То, что отрезали. А оно болит. Вчера не болело, а сегодня болит. Может, к погоде.

Я просто проснулся – она лежит рядом. (Перед этим, конечно, третье состояние, по Лему – через отупение от усталости и десять минут сна.) Так же, как Крис, я видел свою комнату: силуэт телевизора, незадернутые занавески, горящие окна в доме напротив...

Конечно, я удивился, взял ее за руку – но страха никакого не было; просто вопрос: кто это? Когда в ответ она пробубнила что-то – не приставай, мол, – я сразу понял: это же Хари. Да, моя Хари (в этой книге, которую я держал в кунге, стояло «Хэри» – наверное, чтоб не возникло ассоциаций с харями – но правильнее, конечно, Хари: Харита, древнегреческая красота).

Потом – да, смех (соглашался я, читая) – она смеялась, уткнувшись в подушку и сотрясаясь всем телом; после чего, повернувшись ко мне, проговорила:

– Я нарочно приехала в два часа ночи, чтоб посмотреть, как ты обалдеешь при виде меня...

Я взглянул на фосфоресцирующие стрелки: действительно, два часа – эх, тут бы мне нажать кнопку «Время полета»! Но я тогда плохо ориентировался в третьем состоянии, даже настольную лампу не включил: боялся, что она исчезнет. Она в самом деле исчезла: я, как позже понял, перешел в сон, и в этом сне – да, вот такой странный случай – увидел, что ее нет. Потом вернулся – она лежит рядом. Я взял ее за руку.

– Не трогай меня... дай поспать... – пробормотала она.

Я поднял ее кисть, чтоб рассмотреть на фоне окна. Может, это моя рука? – подумалось мне. – Нет, вот мои обе, а это еще одна, третья. Сдавил пальцы: твердые. Она опять что-то пробубнила недовольным голосом... Я вспомнил, что у нее остался ключ от моей входной двери, и если кто-то может войти ко мне ночью, то только она. И никакой мысли – даже поцеловать! – я лежал рядом, держа ее руку, мне было хорошо – просто хорошо, и все...

Потом она встала, чтоб выпить, мы пошли с ней на кухню, и это кончилось для нее плохо. Я убил ее. Дело в том – Крис помнил одну женщину, поэтому вторая Хари была копией первой. У меня же их было две: давняя – которую я любил, и новая – которую не любил, но жалел, может быть, больше первой. Я назвал имя первой – и подумал, что, может, ошибся в темноте, и это как раз вторая («Зачем ты усумнился?»)...

На моих глазах Хари-1 перешла в Хари-2. И эта вторая, несмотря на мое раскаяние, тотчас начала распадаться.

Она сидела на полу со стаканом, в свете уличного фонаря, уже совсем ни на кого не похожая, и плакала навзрыд, а я, не зная, что делать, молча стоял рядом.

И вдруг меня, как волна, захлестнула жалость – нет, не к Хари, не к моей Хари – а к тому Большому, Незримому, Кто их производит. Насколько же Он чуток! Как Он вслушивается, вдумывается в нас и готов принять любые формы, только бы мы их полюбили...

Но мы и сами не знаем, что нам надо на этой Земле.

7.

Водитель просигналил; мы вцепились руками в скамейку и уперлись ногами. «Урал», сбавив скорость, свернул с шоссе на лесную дорогу. Его тут же тряхнуло; он поехал медленней, качаясь, подпрыгивая, натужно и неравномерно гудя. Выбрав момент, я бросил книгу на полку.

И вспомнил невольно, как Хари подбрасывала руку Криса. Лем думал, что она играет. Что кричал машинист паровоза, когда Лес кидался под колеса многочисленными крутящимися вихрями? «Балуй»? А может, это и не игра; может он хочет – не то что остановить, но именно замедлить движение. Как собака рычит во время расчесывания шерсти – приятно, если медленно; иначе – больно...

А может, и остановить хотел. Он же знал, что внутри люди. А тогда еще он всех людей считал лесорубами, до войны.

Лесник из-за него спился... Щукин, что ли?.. Никто не верил, как его лешак водит...

Впрочем, почему не верили? Ведь это место – Владимир-30 – было выбрано – ну, для секретности, конечно, глухомань среди болот – но и для смеху: вот, дескать, народ неспроста говорит...

Так что лесник не зря себя сгубил. Он тему и начал. Тему LS – как говорят американцы (я одно время думал, что LS – по аналогии с FS – Flight Simulator, игрушкой для летчиков; наши умники-вычислители, когда я им сказал об этом, свою программу тотчас обозвали Girl Simulator – GS).

Штраух – вот как его звали.

И потянулись один за другим... У одаренных людей, Умов с большой буквы – еще Лем заметил – на перспективность темы есть особого рода чутье.

С самого начала все финансировали военные. Какая-то у них была своя цель. Чур предполагал, что они создавали декорации для обмана американских спутников. Сегодня еще можно встретить в лесу остатки тех декораций – забор из колючей проволоки, заржавевшую будку, бетонные плиты, совсем уже невидимые в траве... Может, и докторов с кандидатами они терпели первоначально для поддержания «дезы». Да Бог с ним.

В прошлом году англичанина из «Инмос лимитед» уже и в самом деле пришлось уводить от кое-чего... Упирать на spring water и другие разные «бьюти»...

«Были бы умы – тема всегда найдется», – как говорил КВН. Всем известно, как он – первый доктор наук в Лесу – выбил деньги на отдел при помощи папиросы и барабана. Встал вопрос о том паровозе, который останавливается: хотели уже рыть землю, чтобы искать магнит. КВН взял барабан (дело было в казарме, на партийном собрании), проделал с одной стороны дырку, навпускал туда папиросного дыму – получился ящик Вуда – и ударил с другой стороны. К удивлению полковников, из отверстия вылетел сизый шарик – пролетел над головами – и разбился о стену. КВН прочитал лекцию о вихрях. Позвонили в Москву. К вечеру у аэродинамиков уже был свой отдел.

Не прошло и полгода, как возник отдел термодинамики. Помогла страшная засуха. Тогда, собственно, были очерчены границы Леса – как района аномальной прохлады. Возникла тема «Кондиционер».

Ни у кого, конечно, и в мыслях не было тогда, что действия Леса разумны. Но вот опять совпадение: в том же, 1972 году, вышел «Солярис-2».

Потом «Венера-9» и «Венера-10» передали панораму Венеры (я, к слову сказать, горжусь тем, что мы, не взирая на давление и температуру, упорно исследовали Венеру, оставляя американцам Марс) – сразу же было замечено, что дорожки телеметрии на панорамах – белые полоски с чер-

ными пятнами – сильно смахивают на стволы берез – и в Лес потянулись телемеханики – специалисты по дистанционному управлению.

Потом приехал Шишкин со своим ГНИЛЦ – Государственным научно-исследовательским лазерным центром. Он исследовал рассыпание спектра сигнала, отраженного от вибрирующего объекта. Получал так называемые доплеровские портреты. Но рядом с макетом спутника в конце длинной, специально для Шишкина прорубленной в лесу трассы, странным образом соседствовал ольховый куст. То самое «Ничего или почти ничего, что можно принять в ветреную ночь за фигуру». Думаю, люди из ГНИЛЦ уже понимали все. Только помалкивали. Шишкин еще тот фрукт – себе на уме. А может, боялись, что их признают сумасшедшими. Ведь Пелерина признали-таки.

Потом приехал Баварец, лингвист. Этот ничего не боялся.

8.

Он не писал статей, не подавал заявок на изобретения. Он писал стихи, но какие-то непонятные. Не знаю, можно ли назвать его, для красоты фразы, соляристом в поэзии. Зато уж в солянистике он был точно – поэт.

Помню, как он подсел ко мне – в столовой, на шестой площадке – с бутылкой «Кинг Дэвид конкорд»:

– Ну, ты шарахнул меня по мозгам своей статьей!

Статья была так себе*. Я думаю, он ее использовал как предлог – хотел просто выговориться, поделиться своими мыслями.

– Неужели это правда, – говорил в неподдельном возбуждении, – неужели вот так вот, посреди жары в вашем лесу может пойти снег?

– Теоретически... Ветер, перепад давления...

– Выпадают снега и дома холодеют снаружи, – задумчиво произнес Баварец. – Это явственный знак, что что-то случится еще... Знаешь, я как прочитал твою статью – вокруг меня будто заструился космос. Само слово «снег» – что это, как не перепад давления? Нет, вы и сами не знаете, в каком лесу вы живете. Сказал: «Снег» – и пошел снег...

Космос для него был мерилом всего. Плохо кому-то – потому, что его запускают в космос против желания. Кто талантливый – тому дано выходить в космос, когда он хочет. Где космос струится – там очень хорошо.

– При чем тут... – недоумевал я. – Вместо хвои могла бы быть вата. Главное – препятствие для воздуха; вообще все может происходить где-нибудь в Наг-Хаммади.

Он кивнул:

– В пустыне войлок... Прохлада... И умирать хорошо... Знаешь – а тебе было дано выйти в космос! Когда Леннону было дано, он зашел в антикварный магазин, купил афишу столетней давности и на ее текст написал музыку. А мог бы взять передовицу из «Санди Таймс». Главное, что ему было дано...

Мы сидели одни в зале. Выпили совсем немного. Он читал вслух стихи – Лермонтова, «Когда волнуется желтеющая нива»; потом Пражина: «Желанный лес раздался предо мной...» Говорил о Норштейне, о белой лошади, которую видел ежик в лесу...

Никто его не понимал тогда. Я вот не понял про войлок. Прохлада, вероятно, в пирамиде...

А может, это опять какое-нибудь ясновидение. Поживем и увидим. Про себя, по крайней мере, он все заранее знал. Мне так кажется. У него есть одно стихотворение, про вертолет, который кружит над озером:

---

* *«О дросселировании воздуха через хвою».*

И звук разладившегося двигателя,
Может быть, единственный звук.

Когда он пропал без вести (gone for a Burton – как выразились англичане) – вот так же над лесом кружил Пелерин.

9.

Мотор вздохнул напоследок; машина остановилась.

– Приехали, – сказал полковник.

Один за другим мы выпрыгнули из кунга. Заклубился под ногами пепел; я чихнул. Дорога разделяла лес на зеленый и обгоревший.

– Ого, сколько народу, – удивился Ярвет, оглядываясь.

В самом деле. Возле красной пожарной машины стояло человек десять, не меньше; еще несколько – возле военного УАЗика с открытыми дверцами. Мы сразу поняли, что это очередь за спиртом, и пристроились в хвост. Пока стояли – приехал еще мотоцикл с коляской, привез лесника. Наш полковник сразу пошел к нему.

– Что-то сегодня будет, – сказал Ярвет.

– Горит сильно, – поделился новостью разливающий.

– Как сильно? – Ярвет подал флягу. – Верховой, что ли?

Разливающий не спеша вставил воронку.

– Не верховой, – сказал он, – но сильно горит.

Выбирая себе лопату, я заметил краем глаза, как Горбунков подошел к березе и приложил ладонь к стволу. «Kind energy», – вспомнил я англичанина. Добрая энергия. Тот англичанин, из «Инмос лимитед», вспылил как-то вечером – понял, видимо, что его водят за нос; потом подошел к дереву и вот так приложил ладонь. «Добрая энергия», – объяснил он, видя наше недоумение.

Я отношусь к этому скептически: в kind energy, по-моему, больше от дерева бодхи, под которым сидел Будда, чем от волшебного бука, под которым сидела Жанна д'Арк. Первый проснулся, вторая уснула: но первый сел в яму, а вторая преодолела барьер. (Нирвана – это потенциальная яма, точно вам говорю.)

Нужен лес, тайга, мощные каналы связи. Странно, как этого не понял специалист по транспьютерам. Ведь разница между транспьютером и компьютером такая же, как между женщиной и простой бабой. В Англии, впрочем, нет тайги.

Помню, как Крэг удивлялся, когда ехали из Шереметьево: «Wood... wood... wood...» Я к нему сразу почувствовал любопытство. Мы разговорились. Он меня очень уважал; как потом выяснилось, по недоразумению: он думал, что Томсон – настоящая моя фамилия, а у Inmos так называется материнская фирма – Thomson SGS.

А чего обижаться? В четыре лаборатории из пяти его не повели просто от стыда за нашу аппаратуру. Они там со своими транспьютерами могут взять книжку, посадить человека в лесу – и найти корреляцию образов, так быстро, как лес будет перелистывать страницы. А у нас один компьютер девяностого года, да и то всю его память занимает GS.

– Построились цепью! – скомандовал полковник, выходя с микрофоном в руке. – Вдоль дороги, лицом к пожарищу... Внимание... Контрольный вызов! Включаю.

– Ого-го-го-го-го! – раздался чей-то пронзительный голос.

– О... – глухо ответило эхо. Полковник махнул рукой. Мы двинулись в Лес.

10.

Давно уже известно, что бодрствующих и спящих людей Лес не воспринимает; тем не менее каждый раз повторяется эта нелепая процедура. Ему надо третье состояние: промежуточное, как

считали раньше. На самом деле это треугольник: бодрствование, третье состояние, сон – с тем же успехом два других состояния можно считать промежуточными.

Условно говоря, это бессонница, но не всякая. Или опьянение – тоже не всякое. Бред – далеко не всякий. Главный признак: препятствие для потока сознания. Высокий импеданс, как говорят электронщики: непропускание тока; в соляристике – вдохновения. Как Мандельштам писал – «тугие паруса».

Контакт высокоорганизованных существ, относящихся к разным цивилизациям, происходит не во сне (как Лем думал), а в третьем состоянии. Не потому, что оно главное (что вообще значит – главное?) – а исключительно для безопасности контакта. Не теряется информация – вот что важно. Не уходит в землю – как в состоянии бодрствования, и не распадается подобно сгоревшей бумаге (где-то я встречал такой образ) – как во сне.

В состоянии бодрствования, вероятно, контактировала одна Жанна д'Арк. Да еще, может быть, Пелерин: он тоже видел сонм ангелов. Некоторые, правда, считают, что раз он свихнулся, то и верить ему нельзя. Но свихнулся-то он потом.

Как было дело?

Когда Баварец пропал, вертолет Пелерина барражировал над районом задымленности. Все понимали, что летает он для проформы: что можно увидеть в дыму? Поэтому про него как бы забыли. Радиосвязи не было – Пелерин не включил радиостанцию. Заметили, что он кружит на одном месте – но махнули рукой. Даже когда дым ушел в сторону (ветер сменился) – а Пелерин продолжал кружить – никто не обеспокоился. Стали недоумевать, когда, по расчетам, горючего у него осталось на полет до базы. Прикинули расстояние до ближайшей открытой площадки. Забегали, когда поняли: еще несколько минут – и он не сможет дотянуть и до нее.

Шишкин вызвался просигналить «красным». (Есть у него гелий-неоновый лазер, специально для наведения.) Пелерин не реагировал на простое включение. Кто-то додумался навести луч на вертолет.

Как потом выяснилось, при попадании луча – от рассеяния, что ли – стекло кабины вспыхивает сплошь ярко-красным. Пелерин, первым узнавший это, не нашел ничего лучшего, как надвинуть на лицо кепку. Вертолет врезался в Лес. Вертолетчик остался жив, получил только сотрясение мозга да наглотался дыму – ветер повернул в его сторону. Когда его нашли, он был в сознании, в кепке, надвинутой на лицо, и тут же заговорил про сонм ангелов. Все, конечно, решили, что он бредит. Он пришел в отчаяние – от того, что ему не поверили (я так думаю). Речь стала бессвязнее; он хотел подняться, его держали; он сделал попытку вырваться.

Окончательный диагноз: маниакально-депрессивный синдром.

Я спросил одного психиатра (мы все поголовно проходили обследование), – кстати, он сделал на Пелерине кандидатскую:

– Что могло послужить толчком именно для такого бреда?

Ответ можно было предвидеть:

– Ничего... Или почти ничего.

– Что значит «почти»? – спросил я.

– Ну, облако. Там озеро было, облака в воде отражались...

– Не было в тот день облаков.

– Ну, голая женщина! Девушка, машущая руками.

– Ничего себе «ничего», – сказал я.

Он тут же начал объяснять с позиций фрейдизма.

И это наша медицина! Допустим, под явление ангела Пелерину можно подвести сексуальную базу. (Я удивляюсь еще, как никто ее не подвел под явление Хари Крису.) Но как же в «Черном монахе»: именно девушка слышит песнь ангелов!

У Сведенборга, шведского мистика, ангел – одновременно мужчина и женщина. Но Чехову-то что «приснилось»? – Черный монах! – не какая-нибудь Серафита – и не Лика Мизинова! – и не андрогин.

11.

Над черной поверхностью уже показались кое-где сизые дымки. Сквозь каменные подошвы я почувствовал идущее снизу тепло и остановился, ища взглядом соседей. Ярвет, осторожно ступая, шел справа и чуть сзади. Едва различим меж обугленных стволов, далеко слева двигался Горбунков.

– Мы не хотим завоевывать космос, – вкрадчивым голосом пробормотал Ярвет, поравнявшись и встретившись со мной взглядом, – мы просто хотим расширить Землю до его пределов... а другие цивилизации нам не нужны...

Взяв лопату наперевес, я медленно пошел за ним следом. Спокойствие этого человека меня поражало. И сколько его помню, он всегда был таким – даже во время войны, когда пожары считались оружием Леса. «Он же тлеет, не горит», – усмехался он. Со временем поняли, что он прав – огонь Лесу не нужен; это стало ясно после отведения им верхового пожара. Но еще никто не объяснил толком, зачем Лесу дым.

Ведь он мог бы шутя справиться с этим тлением. Если он, как древний человек, поддерживает на всякий случай костер (есть такая теория) – он мог бы локализовать очаг тления в сухостое. Но нет – не давая огню подниматься вверх по стволам (не потому, что бережет их – деревья, как говорит лесник, в таких местах все равно умрут) – он дает огню пожирать все, что снизу: траву, мох, палые листья, – все выглядит так, будто он специально производит дым.

Ярвет как-то сказал – в курилке – что это он так курит. Я же, говорит, тоже вот гроблю свой организм. От этого не вполне серьезного замечания пошла целая теория. Лес, мол, успокаивается таким способом; а то, что он не берет дым извне – это потому, что для успокоения нужен не столько сам дым, сколько последовательность привычных действий.

Но тогда бы места тления не были расположены так опасно. Ведь этот район, с чрезвычайно сложным переплетением воздуховодов, не зарезервирован, и именно здесь, как считается, наиболее возможен Контакт. Это что-то вроде груди или головы Леса, а может, и то и другое. Одно время всеми владела мысль, что это память. Всеми, кроме, может быть, Ярвета – он и тогда смеялся. Заглянет, помню, к вычислителям – с неизменной сигаретой во рту – посмотрит с порога, как они бьются над GS; отвернувшись, выпустит дым в коридор и запоет:

– Позарастали стежки-дорожки...

Теория памяти не была опровергнута, но моделирование ее зашло в тупик. Кроме того, есть много данных за то, что Лесу нужен все-таки дым. Исходящий из сердца или из памяти – из памяти сердца, как шутил Ярвет – сопровождающийся явным – я бы даже сказал, демонстративным каким-то – разрушением этой памяти – но именно дым.

И что-то тут связано с человеком: Лес часто гонит дым на него. Раньше думали – просто выкуривает людей из своих жизненно важных органов. А поскольку эти органы, хоть и защищенные по периметру, но как на грех ягодные, то люди их истоптали порядочно. Может, и тление началось от окурка. Есть даже теория – у нее, правда, мало сторонников (хотя вот, по-моему, Горбунков) – Лес, мол, подражает человеку, впервые поджегшему его, ищет его, неизвестно для чего. Эксперименты по этой теории, ввиду их опасности, были запрещены. Запрещено было и протаптывать тропы – вообще ходить здесь иначе, как по пожарищу, фронтом. Вот мы и идем – сами не зная, где – по этому странному, черному, непонятному – по воспаленным очагам памяти, надеясь на черенок лопаты, когда полетим в провал.

12.

– Стоп, – негромко сказал Ярвет.

Я поднял голову и увидел зеленый кустарник. Мы подошли к границе очага. Ярвет копнул под собой.

– Земля, – с удовлетворением сказал он. И, как в замедленном фильме, сделал один шаг вперед.

– Ком-ком-ком-ком-ком... – проговорил он, пригнувшись, всматриваясь в порог между зеленой травой и пеплом.

– Ком-ком, – сказал я, поводя лопатой.

– Вот он, – прошептал Ярвет. Яркий язычок пламени пробился сквозь коричневые корни. И тут же я увидел еще один – прозрачный, с синим ободком – прямо перед собой. Одновременно мы копнули и, зачерпнув землю, засыпали ею огоньки. Дымок пошел вверх тонкой струйкой.

– Ком-ком-ком-ком-ком, – пробормотал Ярвет, поворачиваясь в другую сторону.

Я отвинтил пробку с фляжки и сделал глоток.

Англичанин чуть было не догадался о назначении спирта. Помню, когда он спросил: «Почему тут всегда все пьяные?» – начальник отдела режима так и обмер. Фаренгейт нашелся: «Это в честь вашего приезда, – говорит, – обычно мы так не пьем».

– Ком-ком-ком, – сказал я и, засунув фляжку в карман, принялся засыпать огоньки.

Они насмехаются над машинами, у которых триггер с фуражку, а того не понимают, глупые, что для контактов таких машин нужен спирт. А если б не было спирта, вообще ничего не было бы. В третье состояние попадал бы один из сотни – раз в год. Хорошо, у меня вот что-то произошло в голове, и я стал просыпаться – а как же другие?

Я набил физиономию во сне – одному негодяю, кто был для меня олицетворением идиотизма. Через неделю пришли трое; я и их раскидал, всех – так хорошо получалось, я даже спал с радостью, как в детстве. Но через неделю меня опять ждали, и их было человек сто, они стояли полукругом, с повязками на лбу, смертники. Вы бы знали, как утомляет бесконечная драка во сне. Еще они поднимаются без головы, приходится их уговаривать, что так не бывает. Потом начались диверсии. Стоит мне где-нибудь прикорнуть, в каком-то полуподвале – они бросают толченым стеклом, прямо в лицо. Я сразу же просыпаюсь. Меня выживают из состояния сна.

Ладно бы из сна – все происходит в моем родном городе. Меня выживают из города детства...

Интересно, что снилось Чехову – перед тем, как он стал спать по полчаса? Он спал так мало, что все удивлялись.

– Ком-ком-ком-ком-ком... – бормотал Ярвет, стоя по колено в земле.

А, и пусть. Незачем думать, как это кончится: у каждого дня своя забота. Когда Баварец пропал и сдвинулся Пелерин, думали: теперь нас закроют. Момент был удобный: Устинов, министр обороны, умер, и Никодима, сына его, нашего покровителя, не выбрали в академики. Ну, думали, все.

Никодим, помню, приехал, прикурил от лазера – как бы на посошок, в последний раз (он любил прикуривать от лазера). Посмотрел молча на трассу... Уходя, мне руку пожал. До сих пор не знаю, почему.

Да... Конец, думали; но тут Мартыныч – вот ведь пробивной человек! – ученик КВНа, – вышел с идеей пневматической ЭВМ. Такой машины, у которой вместо электричества воздух. В чем ее ценность? Очень просто: при взрыве атомной бомбы вся электроника выйдет из строя, от электромагнитного импульса; а пневматика – нет. Еще лучше заработает: поднимутся сильные ветры. До 100 км/час.

Его там наверху, рассказывают, спросили: так что же, без ветра в мозгах она и думать не будет? На что он ответил: «Так ведь и Пушкин без вдохновения не писал».

Сначала не верили. Но когда он из осины устроил дисплей – когда все увидели: стояло дерево, подул ветер – и возникла стрелка – это кой-кого убедило.

Больше всего им – дубам нашим – речевой ввод-вывод понравился. Из-за которого Бурков, телевизионщик, пропал. Тоже додумался: вылезти с этой песней на телевидение! Испытания идут, а он на всю страну: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...» Да еще в пьяном виде. Добронравова, говорят, в КГБ таскали, старика чуть удар не хватил... Рязанов во всем виноват.

Потом Мартыныч написал статью в открытый журнал, без упоминания, конечно, о пневматике, и эти вихри заинтересовали «Инмос лимитед»: они как раз бились над технологией графито-

вых столбиков и увидели в этой, как они думали, электродинамике решение своих проблем. Совместное предприятие наши дубы создавать запретили – так англичане дали нам премию. Сейчас вот на остатки тех фунтов и живем.

А вообще – это уж мое личное мнение – самый большой вклад «Инмос лимитед» в соляристику – это Оккам. Язык параллельной обработки. Отказ от операторов GoTo («Иди к...»), меток, куда идти и выходов – это большой сдвиг в понимании проблемы. Надо просто идти и посылать сообщения, причем в каждом канале связи – только в одну сторону. «Не умножай сущности сверх необходимого», – как говорил в XIV веке мой тезка, Вильям Оккам.

– Скажи-ка, дядя, – прохрипел Ярвет, распрямляясь с удивлением в глазах.

Кто-то несуразный – с перевязанным, как у Ван Гога, ухом и сплошь залепленным пластырем лицом – выходил из кустов.

– Что? – спросил он, наклоняя голову.

– Ведь недаром? – Ярвет полез в карман за фляжкой, как будто удовлетворившись тем, что фигура может говорить.

– Что недаром?

– Москва, спаленная пожаром, французу отдана...

Ван Гог пошел дальше.

13.

Ох, уж эта Москва!..

Фаренгейт говорит: «Если есть возможность не ехать в Москву – я не еду». Еще бы! Я тоже не ездил – но когда Баварец исчез, все работы по эхолокации передали нам; а информация осталась в ТОО «Фраза», которое в Москве. Выкупить – денег нет: приходится ездить. Изба на Большой Полянке. И занесло же их в эту глухомань!

Как вспомню смрад, грязь, серую жижу, – они ее принимают за снег! – за белый, пушистый снег! – закопченные окна – с души воротит. Эти дикие племена, поселившиеся там после пожара, эти нечесаные, небритые физиономии возле размокших коробок, между баками – по-моему, они и едят тут же, и нужду справляют... Говорят не пойми что. Один метнулся ко мне: «Щей пит!» – я дал деру; потом только дошло, что он звал меня «чай пить» – чуть ли не в гости приглашал! Фу ты!

Каждый раз, отправляя меня туда, отдел снабжения дает красные тряпки для аборигенов. Спасибо. Дикарь московский, получив тряпку, прыгает, размахивая ею, на поляне – у них это называется «демонстрация»; потом собирается толпа, начинают орать; доходит до драки. Сунешься – тебе же набьют физиономию. Хороши дела!

А кроме того, я с детства боюсь чертей. Ребята из «Фразы» надо мной смеются: «Они же, – говорят, – бомжами питаются», – «Смейтесь, смейтесь, – говорю, – кончатся бомжи – они и вас всех съедят».

Там же пещера на пещере! В прошлый раз чуть не полпути прошел под землей. Когда солнечный день – я в Москве по солнцу ориентируюсь; а тут пасмурно было, и прогноза нет, синоптик лыка не вязал: «Я вам, – говорит, – предскажу кузькину мать!» А не ехать нельзя было: пришел ответ на наш запрос о той фразе, у Тарковского, в конце фильма – из-за треска ее уже двадцать лет назад нельзя было разобрать – где Крис как будто называет Н. Бондарчук мамой. Из «Фразы» пришло письмо: «Есть материал».

Дали карту: вот, дескать, все просто: тут Садовое кольцо (надо же так назвать! – какие сады? – черта ли там вырастет, на асфальте) – тут надпись на доме: «Мы строим коммунизм»; поворачивай вправо – там эта изба.

Просто было на бумаге. На карте улица: вы бы как пошли? Конечно, по середине. Да мало ли кто еще выскочит из подворотни, в этой Москве! И я по середине пошел. Среди этого чадящего железного стада, так напоминающего излюбленный гностиками образ змеи, кусающей свой

хвост. Через каждый километр – пещера. Как в фильме (а еще говорили, что там Токио). Но откуда мне было знать, что эта надпись на доме – «Мы строим коммунизм» – как раз над одной из пещер. Что надо было поверху, по краешку там идти! У меня и в мыслях такого не было. Да о чем думать, когда чувствуешь на себе взгляд чертей? Уже когда по второму кругу – если не по третьему! – шел, заподозрил неладное. По железному мастодонту с лапами: смотрю – вроде такое место я уже видел. А говорят, стадо в кольце еще и движется – на специальной киносъемке заметно. Что было бы, если б этот мастодонт куда-то уполз?

И ради чего все эти страсти?

Слава Богу, я еще сам нашел – случайно! – прекрасную статью Адо (P.Hadot) о рефлексии – «Миф о Нарциссе и его интерпретация у Плотина» – вышедшую тотчас после «Зеркала» Тарковского.* Она нам здорово помогла.

Как же вот англичанам хорошо – они получают информацию, не выходя из дома. Крэг посмотрел на нас, проникся и предложил новейшую разработку «Инмос лимитед»: Chameleon, коммутатор сетчатки. Сидит человек, в той же Москве, а ты набираешь номер, как в телефоне, и пользуешься его глазами – 64 тыс. человек можно подключить, целый город! – причем так, что он даже не заметит. Вот это да!** Купить, конечно, денег не было; наши мухараечники из НПО, во главе с Чуром, слепили мухарайку, «аналог». Но не зря же анекдот ходит: «Что такое – не жужжит и в ж... не лезет? – Жужжалка для ж..., сделанная в НПО “Астрофизика”». То ли она у них вообще не работала, то ли работала в обратную сторону. Я пробовал звонить – занято полчаса, потом сразу три канала в параллель, и все почему-то в метро...

Иногда я думаю, что выдумка Лема – огромный мозг без рук – это и есть Россия. Я сказал англичанину: много умных людей, но ничего не могут сделать.

– А у нас много дураков, которые что-то делают, – вежливо ответил Крэг.

Российская бедность, ох же ты, Боже ж ты мой...

– Так! Внимание все сюда! – раздался вдруг голос полковника; я аж вздрогнул от неожиданности. – Бросайте лопаты! Заломать по березе и быстро за мной!

Бросить лопату? У меня мелькнула мысль, не свихнулся ли он – но тут, взглянув в ту сторону, откуда пришел Ван Гог и куда уходил полковник с березкой, я увидел, как над головами мятущихся там людей полыхнуло пламя.

14.

– Полковник!.. Наш!.. Рожден был!.. Хватом!.. – выдыхал Ярвет, ударяя с размаху кроной березы по огню.

Я впервые видел такой огонь. Горели кусты и молодые деревья. Горели дружно.

– Это же настоящий пожар, – сказал я.

– Это не пожар, – ответил Ярвет, тяжело дыша. – Это позор! Увеличенное!.. как под микроскопом!.. Наше! собственное!.. Безобразие!.. – говорил он, ударяя березой. – Фиглярство!.. И позор!..

Пламя гасло и тут же поднималось выше человеческого роста. Казалось, вот-вот пойдет верховой.

– Ребята! – крикнул кто-то испуганно. Мне стало не по себе.

– Держи! Держи фронт, держи!.. – закричал полковник. – Бросить лопаты, я сказал! Влево! Все влево!..

Я взглянул влево, увидел, что огонь быстро идет нам в тыл. Мы повернули туда. Сначала хло-

* *Nouv. Rev. de Psychanalyse, 1976, N 13, p.81-108.*

** *Если у вас есть 600 долларов - рекомендую: хорошая штука. Пишите Я.Пирсону или Д.Мэю на адрес фирмы: Inmos Ltd., 1000 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS12 4SQ, U.K., или звоните: +44 (454) 611580.*

пали – кто березой, кто лопатой – вразнобой, но, поняв, что сложенный удар дает больше эффекта, отложили лопаты и ударили враз березами. Едва сбили пламя, как сзади раздался крик:

– Сюда! Сюда!

Подошвы стали горячими, как утюги. Пламя обжигало руки. Дым резал глаза. Градом катил пот. От ударов тучами поднимался пепел.

– Черная баня, – блестя зубами, улыбнулся кто-то, кого совершенно нельзя было узнать по закопченному лицу.

Горбунков, увидев, как у одной из сосен начинают заниматься ветки, пошел туда. Как будто ждал этого момента, огонь встал между ним и нами стеной.

– Выходи! – закричал полковник.

– Нет, ну сосна, – сказал Горбунков.

– Выползай назад! Выходи! Выходи! Выходи! Выходи!..

Горбунков вышел из пламени в надвинутой на голову куртке и, закашлявшись, повалился в траву.

– Семен Семеныч... – укоризненно прихрипел Ярвет.

На моей измочаленной березе почти не осталось листьев; подняв лопату, я стал подсекать новую, и тут в нашу сторону подул ветер; огонь наткнулся на густые заросли, повалил густой едкий дым, клубы его окутали нас, невозможно стало дышать. Все повалились в траву.

Кашляя, с ручьем текущими слезами, я ничего не видел, только слышал такой же кашель со всех сторон; хватая руками воздух, я уже готов был вскочить и бежать от охватившего меня страха – но тут на какую-то секунду ветер затих. Мы поднялись и в едином порыве – даже мороз по коже прошел – ударили по огню – раз, другой. Полетели мелкие головешки; белый дым пошел низом.

– Вот так вот, понимаешь ли, – сказал за всех кандидат наук Стамескин, невесть как очутившийся среди нас.

– О, Юра, ты откуда, – раздались обрадованные голоса.

– Да я уже третий день здесь ночую...

– Хорошо сохранился...

– Благодарю...

Заметив справа огонь – слабый, поднимавшийся нерешительно – мы развернулись и с каким-то ожесточением, изо всей силы ударили по нему. Пришибленный, он метнулся в ноги дымом, как виноватая собака.

– А ну-ка... Поможем ребятам... – тяжело дыша, прохрипел Ярвет, показывая на людей вдали, и повел нас за собой. Я ступал за ним вслед, используя лопату как посох и держа на отлете березу, колышущуюся при ходьбе, как знамя. Такое ощущение было, что мы все можем потушить.

– Эй, смотрите, что сзади делается! – вдруг закричал кто-то из отставших. Мы оглянулись: там полыхал пожар, зло, ярко, и от нас слишком далеко.

Мы остановились в растерянности.

– Вот же сволочи, – сказал Стамескин. Каждый понял по-своему, кого он имел в виду. Я почему-то вспомнил Баварца. Где он?

– Не, надо сначала здеся, а потом туда... – сказал Горбунков.

Никто не двигался с места. Ярвет уже собрался вздохнуть – но тут полковник поднял ладонь.

– Тихо! – сказал он, прислушиваясь. После чего уронил березу. – За мной бегом марш! – скомандовал он. – Выхо-одим! – закричал, сделав ладони рупором, тем людям, которые боролись с огнем впереди.

«Танк едет», – догадался я.

15.

Сначала он обнаружил себя треском ломаемых стволов и уханьем падающих деревьев, потом послышался рокот, задрожала листва – и вот он прошел перед нами, во всей своей мощи и дуроломности. Земля тряслась под ногами, полковник кричал что-то, широко разевая рот; никто не слышал его, и тогда он, упираясь ладонями, двинул нас вглубь леса. На пути танка встала кряжистая сосна, он взревел, выпустив струю дыма, воткнулся в нее – и рыжий ствол с торчащими черными сучьями сломался посередине; вершина рухнула первой, и потом уже, сломанный еще раз под гусеницами, задрался вверх вывернутый с землей и мхом комель.

Вместе с изваяниями Будд и каменными бабами, упавшими с неба, не помню где, мне всегда приходят на ум танки, которые тут пропали – по одной легенде, Лес их спалил (в нашем музее висит картина: ствол пушки рассыпался искрами, как бенгальская свеча), – по другой, они упали в провал, «в пропасть забвения» – возникшую от выгоревшего торфа пустоту.

«Исчезновение вещей, условно существующих...» Вишанкхара; только вместо просветления – тьма. Как в «Апокрифе Иоанна»: «И он отделил им от своего огня, но не дал от силы света, которую взял от своей матери...»

И как всегда бывает при этом, пламя утихло – будто кто-то невидимый – Дух незримый, Отец, «Монас» – увернул фитиль. И сам Лес притих – так взрослый опускает руки при виде плачущего ребенка. Бог его знает, может, он и в самом деле испытывает угрызения совести при напоминании о войне.

Англичанина эта история потрясла; каждый встреченный им след от гусениц он внимательно рассматривал и спрашивал пытливо о танках, неизвестно куда девшихся.

...Спустя полчаса дали команду «сбор». Мы шли по просеке, перелезая время от времени через завалы и обходя вывернутые из земли огромные, в человеческий рост, корни. Огибая прорвавшийся позади нас огонь, танк принял в сторону и ехал с большим упреждением, в результате слева от нас остался обширный клин нетронутого, зеленого леса. Огонь едва был виден вдали.

Я остановился, чтоб сделать глоток из фляжки.

Вот тут и случилось *оно*...

Я смотрел на язычки пламени, притихшие там, вдали, и думал о том, что вот эти деревья, молодые, с гладкими стволами, отданы огню. Рано или поздно – когда нас здесь не будет – он подползет, съест их корни, и они умрут. Две молодые березки, как две сестры, росли рядом, и вот их разделила – судьба? – рука водителя танка: одной жить, второй умереть... Мне стало жалко сестру. И такими ничтожными показались все вещи, я сам с этой фляжкой и вся моя жизнь...

Наступила мертвая тишина. Я понял – «мир ждет» – и уже знал, что последует дальше – ропот сосен, – и вот он послышался; я взглянул на того, кто стоял передо мной – это был Ярвет – он взглянул на меня; повторяя мои движения.

– Еще бы... – прошептал я; остановив меня жестом, он набрал в грудь воздуха и крикнул:

– Э-гэ-гэ-гэ-э-э-эй!..

– А-са... с-ся... – сквозь свист донеслось в ответ.

Еще секунду все пребывали в оцепенении; потом заговорили наперебой:

– Было!

– И я слышал!

– Где магнитофон?

– Да батареек нет! Чертова нищета! – с досадой сказал полковник, доставая карандаш из кармана. – Что он сказал?

– Ась, ась, – пожав плечами, неуверенно предположил Стамескин.

– Настасья! – осенило меня.

– Анестезия. Обезболивание, – пробормотал Стамескин.

– ИЗГВАЗДАЛСЯ! – громко сказал Горбунков.

Полковник записывал, кивая. Я снова взглянул на березку, брошенную на погибель. Потом, взяв лопату обеими руками, полез к ней через завал. Ноги застревали в нагромождении веток.

– Вилли, не увлекайся! – проговорил Стамескин.

– Я люблю ее, – сказал я.

– Кого? Свое воспоминание?

– Березу.

На этом слове я провалился меж стволов. Стамескин шагнул ко мне, подал руку. И, поскольку он держал меня, я потянул его за собой. В траву мы спрыгнули вместе.

– Ты что, пьян? – спросил он.

– Я просто хочу спасти ее.

– Кого ты хочешь спасти?

– Березу.

– Какую? Эту? Или эту? – он показал на березку шагах в пяти, с таким же гладким стволом. Мне тотчас стало жалко и ее. – Что? На обеих не хватит смелости? – усмехнулся он, видя, что я сделал шаг назад. – Тут, понимаешь ли, много наносного.

– Спокойно, – я просто шагнул назад, потому что перед этим ступил на кочку. – Я буду жить здесь, – сказал я.

– Перестань, – сказал он.

– Не, ну давайте окопаем, – раздался голос Горбункова с той стороны завала.

– А чего?

– Точно! Еще ж не вечер, еще куча времени...

– Лес дал, Лес взял...

– «Разруби дерево, и я там. Подними камень, и ты найдешь меня там», – процитировал я, проткнув дерн и наваливаясь на черенок. – Евангелие от Фомы!

– «Познай то, что перед лицом твоим, и то, что скрыто от тебя, откроется тебе»? – продолжил кто-то незнакомый, становясь со мной рядом.

– Не, надо просто двигаться, – проговорил Горбунков и в самом деле принялся бегать от дерева к дереву, время от времени зачерпывая лопату земли и бросая в огонь. – Когда движешься, душа размазывается, по принципу неопределенности: дельта икс на дельта пе больше или равно квант действия на четыре пи, – последние слова, от недостатка дыхания, он произнес сорвавшимся на фальцет голосом. Я посмотрел на него с любопытством.

– «И он начал стыдиться в движении, – нараспев проговорил Ярвет, подходя с лопатой ДДХС. – Движение же было метанием туда и сюда».

16.

Часа через три мы лежали в траве, на месте сбора, как тюлени. Голова моя покоилась в зарослях брусники, и у меня не было даже сил сдвинуть ее, чтоб взять ртом крупные красные ягоды, нависшие надо мной. Одолевал сон; земля поворачивалась; глаза закрывались; трава, корни, огонь чередой плыли во мгле.

– Что там? – опомнившись на секунду, произнес я, оттого что кто-то сел рядом.

– Никак горючее не поделят, – донесся в ответ голос Ярвета. – Воинов черт принес...

Мигая с усилием, я еще увидел на фоне неба лицо – черноволосой женщины, с розовым и фиолетовым макияжем, с очень серьезными глазами, но не успел удивиться, откуда она тут.

В странный сон я попал. Белые ли облака и красные россыпи ягод тому виной, но я будто лежал в снегу, и одновременно видел вытекающую из моей головы кровь. Молодые солдаты с непокрытыми головами стояли рядом. Черный дым поднимался из-за их спин. Я был в черном комбинезоне – и помнил, смутно, как пьяный, что меня вытащили из танка и положили в траву, потом пошел снег. Кто-то спрашивал, как все было, и ему рассказывали с брони, что я открыл люк, чтоб крикнуть, как хотел Снаут, и в это время упало дерево, прямо в люк.

– Дерево ломается на три части, – слышал я голоса. – Вершина отломилась, и на него...

Кровь сочилась ручьем, в ней кружился листок брусники; я следил за его поворотами, и как

снег падает, тает в крови, оседает и сплачивается, все плотней и плотней, будто хочет сдержать ручей, сделать ему запруду, а потом, может, повернуть назад...

– ...вернись... вертись... артистку... анестезию, – слышал я голоса. – Анестезию?.. Анастасию.

– При чем тут Анастасия?

– Вертинскую. Настю Вертинскую. «Алые паруса». Мы просто в Анастасьевку едем, за свидетельством о смерти.

– Зачем в Анастасьевку?

– Место смерти – Анастасьевка.

– А-а.

– В этом нельзя хоронить. Подбери парадку ему... Кто матери сообщит?

– Матери нельзя, – испугался я – и проснулся. – Фу ты, черт, – выдохнул я, усевшись в траве, когда узнал в серых силуэтах вместо бритых голов – шеренгу голых, засохших берез вдоль дороги. – Фу ты, – сказал я.

– Что, дремлешь? – усмехнулся Ярвет. – Давай пошли в кунг.

17.

Сидя в кунге, я читал Лема – пока не настали сумерки. Мы все ждали кого-то. Потом наш полковник пришел, заглянул к нам, закрыл снаружи дверь. Хлопнула дверца кабины; мы наконец тронулись.

Уже стемнело, когда выбрались на шоссе. Ехали молча. По выражению лиц можно было судить, что выезд прошел не зря. Каждый что-то хранил – до обдумывания наедине, до завтрашнего научно-технического совета...

И все же примешивалось неудовлетворение. Как будто мы опять, погнавшись за эффектом, прошли мимо чего-то важного. Мимо чего? Внесем поправки в GS – может, проясним...

Провал – с ощущением ничтожности вещей – был правильный. После него бы в гору – к воспоминанию... О чем? По Плотину – о происхождении души?

«Мы не умеем любить», – говорил Баварец. Не помню, к чему это он. Нет, не то...

Застабилизировать бы...

Что застабилизировать? Березу? Плазму? Может, фантомную боль?

Но мы же ей не нужны. Мертвое любит мертвое. Негритянку Гибаряна – кто застабилизировал?

Глядя на сильную руку, вцепившуюся возле меня в сиденье, я вспомнил, как моя Хари не хотела от меня уезжать. Она прилагала все силы, чтоб остаться – ногтями царапала стены, не в ту сторону открывала дверь... А однажды я застал ее в кресле, с продетыми под подлокотники и сцепленными в замок руками. Но страшная сила отталкивала ее от меня. Потенциальный барьер...

Тоннель... Может, прав Горбунков? Как смешно он говорил про душу. У меня встал в памяти его тонкий, детский какой-то – будто он гелия наглотался – голос. Барьер – тоже смешно – связывался с фамилией «Горбунков». «Душа размазывается при движении»... Гейзенберг. Не его ли имел в виду Лем, когда называл отцом соляристики некоего Гизе?

Мне казалось, что я нащупываю некую тропку, но тут заглох мотор; «Урал» бесшумно прокатился еще несколько метров и остановился.

– Бензин кончился, – понял Ярвет.

– Е-е мое, – задрав голову, простонал Стамескин. – Но я жрать хочу!

Мы выпрыгнули из кунга. Шофер долго искал канистру, все ругался, что украли; Горбунков нашел ее, разобрав груду лопат, но в свете подфарников (ему, для смеху, протягивали спичку), и после переворачивания оказалось, что она пуста.

– Сколько осталось ехать? – спросили мы у шофера.

– Считай полпути.

– Делать нечего, – сказал полковник, – пешком давайте.

– А баня хоть будет?

– В бане воды нет.

– Р-р-развор-р-рованная же ты Россия!.. – прорычал вдруг Горбунков и, расставив ноги, шмякнул канистру под себя.

– Ну вот, понимаешь ли, – произнес Стамескин, засунув в рот сигарету и нагибаясь за канистрой. – Зачем же последнее-то ломать?

– Не, ну...

– Семен Семеныч! – ободряюще прохрипел Ярвет. – Ну, что же вы...

Мы двинулись пешком. Сначала шли вместе, потом растянулись – в своих тяжелых сапогах я быстро отстал. Я шел по пустынной ночной дороге, глядел на темные силуэты впереди и думал, что когда нибудь им всем еще поставят памятник – им, труженикам Контакта, в закопченных робах, со старомодными ремнями, с сигаретами во ртах – у меня даже в носу зачесалось от этой мысли. Чтоб проморгаться, я взглянул вверх – там было чистое небо, в звездах; Кассиопея впереди, прямо надо мной – Лебедь; справа и чуть сзади – мне пришлось задрать голову – яркая Вега; напротив, над самым лесом – Альтаир... Я не сразу понял, что же тут необычного. Потом до меня дошло.

– Дыма нет! – крикнул я и вздохнул полной грудью.

– Завтра будет, – откликнулся Ярвет.

Едва передвигая ноги – как видно, я еще в лесу их то ли обжег, то ли натер сапогами – я брел, держа в руке книгу Лема, среди черных вершин, застывших как в карауле, и думал, думал, зачем же вот Лесу дым – и, кажется, понял.

Дым нужен, чтоб видеть, как движется воздух. Надо сказать Шишкину, чтоб брал ту тему, о спутной струе. Дым нужен, чтоб показать, как думает Лес, и что сами деревья – ничто... Что Хари Крису? Она жила у него внутри – в виде чего-то ценного, что мы не знаем пока – но он мучился. Солярис взяла это ценное, добавила плоть – потом убрала плоть, чтоб показать, что она – ничто. Но он не понял. Он опять потянулся к молекулам. Ему была нужна плоть.

В творениях Солярис он видел жажду бежать от плоти – а сам не был способен мыслить мироздание вне ее.

На другой день, выйдя из ванной, я увидел на экране телевизора женщину с черными волосами и фиолетовым макияжем. Вот те раз, подумал я, стоя с полотенцем на голове. Потом последовала панорама – дорога, пожарная машина, голые березы возле нее. И тут – у меня даже дыхание замерло – на экране появились солдаты. Настоящие солдаты, в гимнастерках, с лопатами – некоторые просто стояли, некоторые ковырялись в земле. Я подкрутил звук. На экране возник лейтенант.

– ...А то, что они делают, совершенно бессмысленно, – говорил он. – Огонь уже ушел вперед. Надо было на километр восточнее копать.

– Что ж вы так поздно приехали? – раздался голос той женщины.

– Дело в том, что номера квадратов на картах у нас и у лесников не совпадают. Всегдашняя неразбериха, надоело уже.

– Эти не там копают, – сказала женщина, – а эти не копают вообще.

Внезапно возник Ярвет, сидящий в бруснике, с травинкой в руке. Камера поехала вбок, появились лежащие люди – и в одном из них я вдруг узнал себя, спящего с открытым ртом.

– Фу ты, черт, – выдохнул я, выключил телевизор и принялся яростно вытирать голову. До чего все-таки эти журналисты глупые. Нашла лицо – с самым белым подворотничком...

Отбросив полотенце, я взял вчерашнего Лема и открыл на последней странице, которую не успел дочитать.

«Так что же – годы среди мебели и вещей, которых мы вместе касались, в воздухе, еще хранящем ее дыхание? Во имя чего? Во имя надежды на ее возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание – последнее, что мне осталось. Какие свершения...»

Тут зазвонил телефон.

– Да! – сердито сказал я. В трубке пробулькали какие-то колокольчики, потом раздался голос. Тип А:

– Привет!

– А, привет.

– Вот ведь связь-то как работает! А?

– Чего жуешь?

– Лобстеры.

– Чего?

– Такие штуки. Красные с белым.

– А-а.

– А чего ты такой грустный?

– Я грустный? Потому что ты грустная.

– А я грустная, потому что ты грустный.

Я ждал, что будет дальше.

– Чего молчишь? – спросила «она».

– А чего говорить?

– Ты сегодня не в духе?.. Я потом позвоню.

– Я всегда такой.

– Это плохо. Надо радоваться жизни.

– У нас в армии, если видят кого-то радующегося – ему сразу дают в лоб.

– При чем тут армия?.. Какие вы все-таки злые. Вы злые, я вспомнила, вы там злые все... не хочу с вами говорить...

Что-то пискнуло, потом пошли короткие гудки.

– Мы обуем вас, – пробормотал я, кладя трубку на рычаг, – мы вас обуем. Мы обуем всю страну.

Это из какой-то давнишней рекламы. Потом хлопнул себя по лбу: тьфу ты, черт! Я опять забыл включить магнитофон.

О НЕУПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВ «БЛЯДЬ» И «ХЕР» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Монолог

«С какого конца, – проговорил дядя Тоби и, повторяя про себя эти слова, машинально остановил глаза на расщелине, образованной в облицовке камина худо пригнанными изразцами. – С какого конца подступиться к женщине! – Право же, – объявил дядя, – я так же мало это знаю, как человек с луны».

Л. Стерн

Как уже многие стали обращаться к этой теме (В. Айрапетян «О матерном ругательстве» – М., 1992; Г. Леонтинский «В защиту Елены», его же «О не сущем» Л., 382 г. до н. э. и т. п.), – мне думается, граждане ареопагиты (я, впрочем, могу обращаться не как должно – в таком случае прошу простить меня), – что в своем неведении достиг уже и я предела, требуемого для такого обращения; ибо не силой ума, по словам Дионисия, приобщаемся мы к тому, что превосходит наше познание и возможности разума, но силой порывов, – поэтому ныне я вступаю в сей непуганый заповедник. Я вступаю в него именно как профан, как сознающий всю степень невежества своего человек, и все рассуждения мои обращены к сердцу такого же, как я, человека, – которому небезразлична, однако же, судьба русского слова. «Блядь» и «хер»! Древние, корнями своими в глубь веков уходящие, ни в чем не повинные слова преследуются, изгоняются из художественной

литературы и на глазах гибнут, вынужденные обращаться среди ругательств чуть ли не матерных – не в этом ли, – спрашиваю сам себя вот здесь, ходя взад и вперед, – не в этом ли причина охватившего нас малодушия? Жестокости и бездуховности? Безбожия? Всех бед наших?

1.

«Истинный Бог был рожден во плоти и жил среди нас. И я говорю вам: где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно для глаза, – взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха, – выслушайте. Если вам померещится, что некая истина невыносима, – вынесите ее».

Г. Честертон

«Затворите двери».
Л. Стерн

Чем вызвано такое наплевательское отношение к «бляди»? Или это слово слишком длинное? Неудобопроизносимое? Неблагозвучное?

«Блядь» неблагозвучна... Откройте словари:
фр. ballade – баллада;
фр. ballet – балет;
фр. baladine – танцовщица;
фр. blanc, нем. blatt – чистый, лист;
фр. belles-lettres – художественная литература...
Проникнитесь нежностью:
фр. bluette – искорка;
фр. blonde – светлая;
англ. bland – ласковая;
нем. beliebt – любимая;
англ. beloved – возлюбленная;
болг. възбленуван блян – взлелеянная мечта...

Впервые за всю свою жизнь по возвращении из соседских в родной язык был я охвачен грустью при осознании их утраченного единства. Впервые я согласился, что культура народа определяется отношением к женщине.

Какая, братцы, благодать –
В июльский полдень искупнуться,
С гортанным криком
– Эх, ба-лядь! –
С разбегу в воду бултыхнуться, –

вот единственный найденный мною пример хотя бы нейтрального употребления «бляди». Чаще же встречается такое:

А из-за прилавка, совсем не таяся,
С огромным куском незаконного мяса
Выходит какая-то старая блядь...

Во-первых, блядь не может быть старой.

(И даже если блядь станет старой – тем более следует обращаться к ней ласково: «блядушка» и т.п.)

Но блядь не может быть старой. Как может быть старой вила? Русалка? Воля? В том-то и странность – это мы будем стареть, а девушке, падшей в омут, всегда будет столько лет, сколько было в момент гибели. Как же можно писать такое:

Выходит какая-то старая блядь,
Кусок-то огромный, аж не приподнять...

Блядь не может быть старой и не может перетаскивать тяжести. Как может перетаскивать тяжести облако?

И как мог Д.А. Пригов связать блядь с мясом? Если уж надо красное – мог бы взять кровь (англ. blood, нем. Blut, жена Хас-Булата, различные реки, протекшие в результате падения) – но не лучше ли вообще оставить все это иезуитам? Ясно и так, что русская блядь – это вино и хлеб до пресуществления, это санскр. balaya – девочка, не достигшая зрелости, это Светлана, не помню фамилии (женщина-космонавт) – все то, что связано с невесомостью. Читаем у Хлебникова:

Приятно видеть
Маленькую *(санскр. balaya)* пыхтящую *(англ. blowing)* русалку *(фр. blonde)*
Приползшую из леса,
Прилежно стирающей
Тестом белого хлеба
Закон всемирного тяготения!

Почему на блядь перекладывают свою тяжесть, свою досаду, свой пессимизм?

Я еще могу понять, когда так делают гости нашей страны. Когда человек, с ранней юности вместо «Здравствуйте, я ваша тетя» говоривший «Я ваша тетя, прощайте», провозглашает:

С нами, ох ты бля,
Знамя Октября!

Когда выходец из села Гори, в памяти которого ничего хорошего не связано с белизной, – ни пороша, ни роща берез (фр. boulaie), ни русые косы, – который бросил в лицо России:

– Я не твой, снеговая уродина! –

любивший к тому же красных – произносит:

Поэт,
как блядь рублевая.

Когда малоросс Брут молча бьет ее до тех пор, пока она не отбрасывает «на обе стороны белые нагие руки».

Но как мог выходец из нечерноземья додуматься до такого:

Все мы с одного ведь корабля,
Только он потонет скоро, бля! – ?

Или всему виной Бодуэн де Куртенэ, в родной Бельгии которого белизна тоже народу не близка была и который поэтому в словаре Даля опустил блядь на одну панель с проституткой?

Блядь – проститутка... Словарь блатного жаргона – и тот объясняет блядь как женщину легкого поведения – ничего более! – причем специально оговаривает: *не проститутка*.

Да хоть бы и проститутка! И ею осудит нас Господь – речет Нон: «Что бо мните? Колико часов жена та в ложнице своей умедли, мыющися... да паче всех краснейша явиться очесем временных своих рачителей: мы же имуще Жениха безсмертнаго на небесех, на Негоже ангелы зрети желают, не печемся украсити окаянныя души нашея...»

Но как же блядь может быть проституткой? Ведь это беглянка, изменница; само слово «измена» теряет смысл без душевной близости перед этим. Так, как блядь, обидеть (нем. beleidigen) может лишь нем. beliebt, англ. beloved, русск. «лада» – невеста, жена, любовница говорящего.

В Штатах (вот разумное государство) давно поняли, что главная черта проститутки – флоридский загар. Тогда как блядь принципиально бледна, потому что живет ночью. Читаем у Гоголя:

«Мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета... она опрокинулась на спину, и облачные перси ее... просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности».

«Как пена, грудь ее бела», –
писал Пушкин.

«...И все тело нежнее,
Чище, свежей и блистательней сделалось кости
слоновой», –
писал Жуковский.

Светлана – не помню фамилии – лучше всех (из Ярославля), которая на небе – О Господи! Что с моей памятью – не может, в самом деле, как снег, летит и пасть не может – (но не космонавт!) писала:

Чернил чернее полночь.
У зеркала я, белая вся –
Листа белей. Как сволочь
Пьяна. Ого, что делается!

Сам Даль не касался бляди, вероятно, из опасения обжечься. Он даже к «блуду» отнесся весьма осторожно:

«Слово это, со всеми производными своими, заключает в себе двоякий смысл: народный: уклонение от прямого пути, в прямом и переносном смысле; церковный или книжный, относясь собственно к незаконному, безбрачному сожитию, любодейству».

Немцу «блядь» несомненно напомнила бы нем. blond – светловолосый, Blässe – бледность; тем более что белый цвет в Германии – атрибут духовного благородства (вспомним эдельвейс, Одетту, танец маленьких лебедей).

А у Ожегова значение «блуда» уже одно: «половое распутство». Да как же вот так сразу!

Ведь мы будто ночью в чаще – темно, хоть глаз выколи, и вот что-то сверкнуло – где – за правым плечом, где добрый ангел? за левым, где злой? А может, сверху – ангел смотрит в глазок и записывает в книгу? А может, одноглазые малютки – блудячие огоньки – хотят завести нас в болото? А может, искры костра гаснут в тумане? Ожегов сломя голову (нем. blenden) пошел напрямик, как фр. bélier – баран (таран), русск. балда (кувалда) и, ударившись головой, принял нем. Blitz – вспышку в мозгу за bluettes – искомые искорки. Вы, может, скажете, что я излагаю сумбурно – но так, как Ожегов, тоже нельзя.

Это единственное, что я знаю – что так нельзя; я не знаю, как надо, – может, надо двигать-

ся ощупью или вприкос (фр. obliquement), наклонив набок голову, как Ерофеев – не вижу, куда, – может, по направлению к Свану, может, к Одетте; а может, не надо никуда идти, а надо постоять и подумать.

Главное, ведь так все шло хорошо: bala из санскрита – девочка, дитя, ребенок – откуда же могла взяться грязь, как, с чего началось падение, с какого конца подступиться, в самом деле, граждане ареопагиты! Я ничего не понимаю.

2.

«– И если бы даже, – продолжал дядя Тоби (не отводя глаз от худо пригнанных изразцов), – я размышлял целый месяц, все равно бы не мог ничего придумать.

– В таком случае, братец Тоби, – отвечал отец, – я вам скажу».

Л. Стерн

«Блядь» употребляется неправильно потому, что употребляют ее не гении. Гении же не употребляют вовсе. Вот в чем беда этого слова.

Так вот: это мы виноваты. Представители космического поколения (1957–1965 г.р.) – те из них, кому небезразлична к тому же судьба русского слова. Это мы не досмотрели, граждане ареопагиты, – понадеялись на народ, на школу, на отца с матерью.

Что народ? Он был крив уже во времена Афанасьева. (Вспомните загадку про глаз: «Стоит хата – кругом мохната, *одно* окно – и то мокро».) Сегодня же народ ослеп вовсе – это ясно из анекдота про Волобуева. Вспомните анекдот про ежика, как сучок попал ему в глаз («Ой, блядь!» – «Здравствуйте, девочки») – не тогда ли пропало зрение? В последний раз тогда слышали мы, несмотря на боль, нотки смирения и теплоты по отношению к бляди.

А разве лучше видела школа бельмами своих гипсовых бюстов? Она по сей день культивирует один – тургеневский тип женщин. Она не удосужилась даже открыть Толстого:

«ах, как я тебя люблю... у ней ресницы были длинные...

<...> Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе (да и еще надо сказать, что ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо уж их ругать так, чтоб небу жарко было, или смеяться над ними так, чтоб животики подвело, а не так, как одержимый хандрою и диспепсией Тургенев)».

Когда русское слово, обозначающее всякий другой тип женщин, становится матерным, – что остается отцу с матерью, как не благословить родную bala на отъезд из России?

А что же мы, братья по разуму? Где мы были все это время? Что делали? Правильно пишет Белов: целомудрие и мужество мешали с цинизмом. Резали Наташ как собак. Сажали в ракеты и запускали как Белку и Стрелку. Давали пить жидкий кислород. А ведь это нас Пушкин призывал верить:

Товарищ, верь! Взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
И на обломках сладострастья
Напишут наши имена. (Так. – **О.З.**)

Почему мы не верили?

Из-за мигания (нем. blinzelung, греч. «боле»)? Но если Гермес – бог обмана – моргал, когда врал, то женщина – я специально исследовал этот вопрос – мигает независимо от произносимого; либо даже – как Катя из рекламы про акции – при ощущении взаимного согласия с собеседником о неважности произносимого по сравнению с тем важным, что тихо совершается где-то у обоих внутри.

Из-за длинных ресниц? Если они и длинные у бляди, то все же не закрывают взгляда – пронзительного, взывающего к совести нашей. Вспомним Лермонтова:

И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок.

Вспомним Есенина:

Что ж ты смотришь так синими брызгами?

Вспомним Гоголя:

«И вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем, вторгавшимся в душу...»

В чем тут продажность? В чем предательство? Что она обещала, но не дала? Ведь она уже дала все – своим взглядом. Она дала душу.

Напротив – мы предали. Мы обещали хлеб и дали ей камень. Вместо того чтоб быть братом, мы пошли вслед за Брутом, призванным спасти ее, но забившим до смерти, едва она на него села. Это ли не малодушие? Он даже не захотел узнать – из чистого любопытства! – что будет дальше.

У Хлебникова читаем:

Что же дальше будут делая
С вами дщери сей страны?
<...>
Они сядут на нас, белые,
И помчат на зов войны. *(лат. bellum)*

А когда девичья конница
Бой окончит, успокоясь?
<...>
Страсти верен, каждый гонится
Разрубить мечом их пояс. *(фр. bandoulière)*

Но, похитив их мечи, что вам делать со слезами?
<...>
Мы горящими глазами
Им ответим.

То есть: если братья вместо мечей отдают фаллический символ, надо у сестер взять оружие. После падения – в тот момент, когда само падение значит еще не желание быть внизу (англ. below), не переход от кочевой жизни к оседлой, а свободное волеизъявление валяться, барахтаться (англ. wallow). Ведь пел же народ:

«Наши сестры – это сабли остры!»

Вот только на слезы нам нечем будет ответить. Не у бляди ресницы длинные – это у нас веки тяжелые – как у Вия (фр. villeux – мохнатый) – да и те суть блеф (вежды – греч. «блефарон»). Если поднять их – как советует народ, вилами – мы все равно ничего не увидим. Наши глаза не горят. Вот в чем все дело. Вот на что я хотел бы обратить внимание товарища Ожегова.

Но, может, воспользоваться другими органами?

Что говорит народ?

3.

«У высших существ, таких, как ангелы и бесплотные духи, – все это делается, с позволения ваших милостей, как мне говорят, посредством интуиции: – низшие же существа, ... – умозаключают посредством своих носов».

Л. Стерн

Не вызывает сомнений одно: девальвация значения «бляди» со временем. Даже на блатном жаргоне – еще в 1927 году, согласно словарю ОГПУ, это слово означало «агент», а до революции (словарь, как помнится, Трахтенберга) и вовсе значило «сторублевый кредитный билет» – т.е. «беленькая».

Русскую литературу вообще полагалось бы вести с Аввакума Петрова, и уж во всяком случае, отдать ему предпочтение перед Маяковским при ознакомлении со словом «блядь» на школьной скамье.

«Вот что много разсуждать: не латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетелями хощет, того ради и я не брегу о красноречии и не уничижаю языка своего русскаго...» – написавший так может пользоваться полным доверием всякого, кто хоть сколько-нибудь понимает толк в жизненных порывах.

Откроем «Житие протопопа Аввакума» (XVII в.):

«Наипаче же попы и бабы, коих унимал от блудни, вопят: «Убить вора, блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!»;

«Его же любит Бог, того и наказует... Аще же ли без наказания приобщаетеся ему, то выблядки, а не сыновья есте», – из этих отрывков видно, что блядь, говоря современным языком – это мать-одиночка, защищаемая государством. О продажности ее ничего не говорится, наоборот – можно предполагать, что она отрицательно относится к блуду.

Вчитавшись же в отрывок:

«Трижды воспевающе, со ангелы славим Бога, а не четырежды по римской бляди», –

увидим, что «блядь» имела второе значение – ересь.

В словаре древнерусского языка X–XIII веков у слова «блѧдь» даже не два, а одно значение – «обман, вздор», и только у слова «блѧдство», да и то на втором месте – «распутство».

Когда Козма Пресвитер писал, что богомилы о Богородице «блядоут, их же речи и горъдости нельзя писати в книгы сиа» (X в.), то он, конечно, имел в виду «вздор городят».

Обратите внимание, граждане ареопагиты, на центральный гласный в древнерусском слове: ѧ – это юс малый, обозначавший [ä] переднего ряда, потомок носового [ẽ]. Носовые утрачены во всех славянских языках, кроме польского. Польское «błąd», стало быть, ближе к праславянскому варианту этого слова, существовавшему в V–VI в.; как и следовало ожидать, оно имеет еще более мягкий смысл: «заблуждение, промах».

Уже к промаху я отношусь хорошо (см. об этом мой труд «О движении методом пробок и ошибок») – но все-таки, что касается «бляди», то я хочу докопаться до самых древних корней. Разумеется, мы вступаем на путь смутных догадок – ибо речь идет об углублении в дописьменную эпоху. Но не зря, мне кажется, мы обратились к носу: исконный смысл бляди, чувствую, связан с центральным [ẽ].

«Когда у кого-нибудь нет носу,
Он покупает воску.
Когда у народа нет души,
Он идет к соседнему».
В. Хлебников

Гегель сказал, что искусство начинается с удивления. Но, если взглянуть на этот вопрос трезво, – нельзя не понять, что искусство начинается с боли. Рассматривая же речеобразующий механизм, найдем, что рот есть нормально замкнутый клапан, в то время как нос нормально разомкнут. Поэтому, когда оставляет его Бог и бросает на землю, первые звуки, которые издает человек, бывают подобны скулению беспомощного щенка или хныканию ребенка, когда он просыпается утром и жалеет о невозвратности того, что он только что увидел. A noise like a small dog whimpering – назвал Шервуд Андерсон эту стадию творчества. Потом только у него открывается рот – и появляются звуки, выражающие, вместе с сознанием о невозвратности, желание, т.е. к носовым добавляются [ẽ], [ã] – гласные нижнего подъема, при сильном желании и в динамике неизбежно йотированные: [jẽ], [jã]. Следы этого времени сохранились в англ. yearn – томиться, тосковать, стремиться; нем. jammern – причитать, хныкать. Затем только, когда ангел – или иное подобное – показывается ему, выражает он возгласом удивление (нем. ja! – да! yah – внезапный; фр. yeux – глаза; русск. ё! – возможно, того же происхождения англ. young; нем. jung; русск. юн – что лишний раз доказывает, что блядь не может быть старой). Затем добавилось [b] – неважно, была ли причиной тому, как считает чистая филология, тенденция прикрытости начального слога для достижения возрастающей звучности, или же человек, исторгая звук удивления, забывал открыть рот, и воздух сам натыкался на губы, – а может, он хватал воздух ртом, пытаясь объять необъятное – но ясно, что результатом было [bjẽ!], [bjã!].

Носовые гласные [ã],[ẽ] впоследствии перешли в сочетания -an, -en. Таким образом, линия прямого родства слова «блядь» восходит к французскому bien – «добро, благо».

Собственно, мы могли бы и не прибегать к помощи филологии, а сразу воспользоваться словами Дионисия: «Все сущее исходит из Прекрасного-и-Благого... и все, что бы ни существовало или рождалось – рождается и существует благодаря Прекрасному-и-Благому. В этом-то Божественное вожделение наиболее и проявляет себя бесконечным и безначальным, как бы вечно вращающимся по кругу: чрез Благо, из Блага, в Благе и к Благу... поскольку Благо, будучи благим по существу, уже просто в силу того, что оно есть, распростирает благость свою на все сущее».

4.

«...В таком случае, – сказал дядя Тоби в простоте сердца, – поведение не может быть объяснено ничем иным, – как только стыдливостью. Моя невестка, по всей вероятности, – продолжал он, – не хочет, чтобы мужчина находился возле ее...

Я не скажу, закончил ли на этом свою фразу дядя Тоби или нет, – в его интересах предположить, что закончил, – так как, я думаю, он не мог бы прибавить ни одного слова, которое ее бы улучшило».

Л. Стерн

Злоключения бляди начинаются, когда человек, теряя по пути носовые, бежит рассказывать (баяти) о том, что он увидел.

Первым на этом пути стоит остров Буян. Не знаю, как у кого, а у нас, у космического поколения, океан – это прежде всего Солярис, а Буян – конец фильма Тарковского, где Наташа Бондарчук ценой своей гибели делает благо: а) Сарториусу (осквернитель праха); б) Снауту (англ. snout – рыло); в) Кельвину (абсолютный нуль).

Буян – это уже не совсем bien. Здесь уже возникают сомнения. Какое-то оно чересчур спокойное – не соответствующее ситуации – а после обеда вообще может быть принято за отрыжку и вызвать подозрения, что Боян пьян. Ведь у Лема ничего подобного не было.

Затем к [b] добавилось [l].

Возможно, это тот самый l-epentheticum, который, чисто филологически, возникал на месте j в [bj] в результате воздействия и ассимиляции, как в [bjudo] – «блюдо», – в этом, однако, я

сомневаюсь. Мне кажется, потребовалась целая революция в мозгу, чтобы к произнесению слов был привлечен орган, служивший до того для лакания и толкания во рту пищи. Возможно, воздух сам случайным образом встретил язык – скорее всего, при произнесении [bjẽ], [bjã] во время зализывания раны.

Улучшило ли [l] исходное слово? Нельзя утверждать; лично я сомневаюсь.

С одной стороны, с этим звуком связаны известные понятия ласки, тепла, милости: англ. milk, фр. lait – молоко, англ. lap; фр. laper – лакать; англ. lick, фр. lécher – лизать и т.д., а также такие абстрактные понятия, как фр. lenité – мягкость, legerité – легкость, licence – вольность; русск. Лель, ой-ли-люли-лель и т.п.*

«Любите носить все те имена, что могут онежиться в Лялю», – писал Хлебников.

Нельзя не видеть, однако, что [l] привносит с собой оттенок телесности, закрепощающий душу. Фр. lien значит «связь, общение», но и «узы, оковы»; liante значит «гибкая, упругая», но и «привязчивая»; в «Анне Карениной» читаем:

«Этот четвероугольный вырез, несмотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли».

Опасное соседство санскр. bala – маленькой девочки и Bali – повелителя демонов – могло ли привести к чему-то хорошему?

Блян – мечта – еще тесно связана с Буяном (буянить – метаться); но усиливающая связь с пьянством через възбленуван блян порочит само благо: ср. «блажить», «орать благим матом»; польск. blagier – хвастун.

Приходят на ум дионисийские оргии. С одной стороны, от этих оргий пошла трагедия и за ней все искусство. С другой стороны, вспоминается разорванный вакханками Орфей.

«Провидению не свойственно насиловать природу», – говорит Дионисий. Не знаю; «прослышание», во всяком случае (если его можно так назвать), – насилует ее то и дело.

«Человек, – писал Фрэнсис Бэкон (более известный по выражению «мой органон отравлен алкоголем» из насаждаемой в школе пьесы «На дне»), – думает, что ум управляет его словами, но случается также, что слова... подобно татарскому луку, действуют обратно на ум, сильно путают и извращают мышление».

«Необоримая сила языка, влиявшая на создание человеческих верований, обнаруживалась всюду, где только был к тому малейший повод», – писал также А.Н. Афанасьев. В наш же век грубой силы и неустойчивого бытия такие поводы встречаются постоянно.

Некоторые считают, что «а» в польском bląd произносится как [õ], что дало бы юс большой в кириллице и, следовательно, уже в VI веке блядь и блуд породнились. Я, однако, считаю, что хотя эти слова и близки ощущением общей потери, однако у них совершенно разный характер: «блуд» потерял давно, это уход в темноту, вой на луну, упадок, поиск так называемого счастья (нем. Glück). «Блядь» же может быть сказано, озираясь, потеря произошла только что, падение здесь активно, махание руками естественно, а махающий (фр. ballant) и совершает промах. Кроме того, англ. blunder – промахиваться – дало бы в кириллице юс малый. Но, конечно, наличие опасности очевидно – если не падения, то наклона к живому началу.

Опасно соседствуют в этот период белизна и обилье; санскр. balaya – девушка и baliyan – более; фр. belle – прекрасная и blé – зерно. В самом по себе обилии нет ничего плохого: Анну Каренину, как помним, тоже переполняло нечто – выражавшееся в блеске глаз. Но поражает обилие животных на [l], причем таких разных, как лось, лань, лиса, лошадь; а особенно во французском: lion – лев, lièvre – заяц, loup – волк, loutre – выдра, lynx – рысь, lapin – кролик, louve – волчица, laie – самка кабана... Добавьте сюда лай, линьку, лапу...

Добавление окончания к бляди не выправило положение, а только усугубило наклон.

Чисто филологические конечные звуки – определители склонения – исконно являлись жи-

* *Одна моя знакомая считала, что если у писателя фамилия Лалакин, то этого достаточно для положительной характеристики человека.*

выми; в тот или иной тип склонения входили слова, *родственные по значению*. В один тип склонения со словом «блядь» входят (как и следовало опасаться): рысь, лось, зверь, лебедь, медведь, неясыть и т.п. – а также ночь, огнь, и т.п. слова, тесно связанные с охотой.

Когда жизнь превращается в живот, добро – в имущество, красота – в лепоту (А.Ф. Лосев писал, что искусство греков не могло быть не пластическим, когда человек воспринимался как вещь) – наконец, сама любовь – англ. love – превращается в лов – охоту.

Отходя от филологии, заметим, что в самом по себе родстве с животными нет никакого зла. Какой зверь эстетически ассоциируется с блядью? Прежде всего кошка – по грации, гибкости, «опрятности ума и воображения», как это называл Стерн. Здесь блядь выигрывает по сравнению с называющим ее так, ибо он ассоциируется с обезьяной.

Филологически же с блядью коррелируют, во-первых, пушные зверьки: фр. belette – ласка, а также русская бѣль. Последняя некогда заменяла рубель: славяне платили дань, сообщает Нестор, «кунами и белью». В силу исторической нелюбви к торговле все слова, связанные с обменом, получали у нас «замаранное» значение: кал называли «добром» (в смысле имущества), женский срам – «кункой»; пушистую красавицу (фр. belle, греч. «каллос») вполне мог затронуть этот процесс.

Коррелирует с блядью, во-вторых, лебедь. Заманчиво вообще отождествить лебедь с блядью. Казалось бы, лучшего слова и не надо для обозначения «девы ветреной воды»:

«Имя *лебедь*, – писал А.Н. Афанасьев, – употребляемое в народной речи большей частью в женском роде, означает собственно: *белая* (светлая, блестящая)... Пока народ относился сознательно к этому слову, он вправе был прилагать его к белым облакам... и к светлым струям источников и рек».

Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход...

– писал Пушкин.

«Чужая жена – лебедушка, своя жена – полынь горькая», – приводит Даль народную мудрость.

Современный вариант вызова бляди:

О, приди, приди!
Только предупреди –

есть слабый отголосок хлебниковского:

О, лебедиво!
О, озари!

Свет лебедя, однако, следует признать слабым отражением бляди. Несмотря на всю красоту, лебедь слишком обыкновенен. Даже царевна-лебедь – всего лишь облачная дева, оплодотворяющая землю дождем в момент оргазма при коитусе с Перуном. Русалка – Левкотея – белая богиня, божество пенистых волн, бросившаяся со скалы. Зевс в виде лебедя – всего лишь бог-громовик, электрическая машина. Все это поздние мифы; блядь же возникла еще до того, как Праматерь всего оглянулась – до отделения неба от земли; возможно даже, до возникновения света.

Чисто филологически лебедь, вероятно, произошел от бляди в результате транслитерации, по типу «длань-ладонь». Выходит, он блядин сын, т.е. не кто иной, как (к этому слову надо относиться с сочувствием) выблядок. Однако я могу ошибаться; возможно, у бляди и лебедя одна мать.

Рассмотрим же теперь общее для всех этих слов окончание и задумаемся: по какому принципу объединялись слова?

Первое, что приходит на ум – по значению «ядь» как «еда, пища». В отношении, скажем, стерляди так могло быть; но что касается лебедя – тут я сомневаюсь.

С ядью, кстати, связан «еврейский» вклад в замарывание бляди. Считается, что в Ветхом завете лебедь признан птицей нечистой. На самом деле, однако, там говорится: «Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них: ...лебедя...».

Если о чистоте судить по съедобности, то следует признать нечистой, например, лампочку: висит груша, нельзя скушать...

Разумеется, лебедя нельзя есть! В северных странах даже чаек стали убивать только в эпоху декаданса; голодный же князь Гвидон, увидев борьбу белой птицы и черной, не задумываясь, убил черную:

Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня, –

говорит ему белая птица, –

Ты не лебедь ведь избавил –
Девицу в живых оставил.

Я думаю, Гвидон сам понимал: красота не связана с «ядью». Точно так же и Дмитрию Карамазову, взявшему пестик, не приходит в голову ударить им Грушу Светлову.

Медведь и огнь у язычников были объектами поклонения. Возможно, окончание бляди – редуцированное греч. «диос» – божественный, или «тея» – богиня, фея; во всяком случае, в древней форме мн. ч. – «блядье» – явно слышится фр. dieu – бог.

Могут сказать: «Это кощунство». Отвечу: не бурсак ли Брут для вас образец святости? По-моему, наоборот: опорочение бляди – результат деградации религиозного чувства. Ведь у Иакова в аналогичной ситуации нет сомнения, что перед ним Бог добра:

«И боролся Некто с ним, до появления зари... и сказал: отпусти меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32, 24-26).

Могут сказать: быть не может, чтоб Бог являлся нам, грешным. Даже Моисей в конце восхождения узрел лишь место, где Он пребывает. Но если место есть тело, то это тело скорее бляди, чем Брута, – отвечу я. «Бог создал его таким прекрасным, – говорит Яков Беме, – потому что Сам хотел в нем обитать».

Что же касается названия места – не все ли равно, каким оно будет? Монахи называли Крестом созвездие Лебедя – но разве от этого изменилось расположение звезд? Тот, с кем боролся Иаков, не назвал себя. И что до Богоначалия – «Богословы славословят Его то как безымянное, – говорит Дионисий, – то как достойное любого имени». И в книге Судей: «Что в имени тебе моем? Оно ведь странно», – отвечает Ангел Маною.

Либо же окончание бляди – это рудимент некоего местоимения, своего рода определенный артикль, который в русском языке мог быть не спереди, как в европейских языках, а сзади. Аввакум Петров пишет:

«О имени Господни повелеваю ти, напиши и ты рабу-тому Христову, как Богородица бесатово в руках-тех мяла и тебе отдала, и как муравьи-те тебя за тайно-ет уд ели, и как бес-от дрова-те сжег, и как келья-та обгорела, а в ней все цело, и как ты кричал на небо-то, да и иное, что помнишь».

Определенный артикль указывает на предмет, о котором уже говорилось. Названия зверей часто упоминались в охотничьих байках ночью у костра – и тем чаще, чем трудней было этого зверя «ять». Предка же бляди, скорее всего, «ять» было очень трудно, и следы частых касаний на этом слове остались как приклеенные. Возможно, «блядь» есть не что иное, как англ. belied – оболганная. Невольно вспоминается песня «Ой вы, соколы»:

Мы хотя и не пымали,
Сизы перышки повыщипали...

Но ложь здесь ни в коем случае не должна вызывать неприятия; – она такая, о которой писал Пушкин: «Над вымыслом слезами обольюсь» и т.п. Или такая, которую играла Наташа в фильме «Солярис».

А какое замечательное потомство в сфере вымысла дала лебедь! Дочь Зевса-лебедя и Леды вдохновила Гомера на «Илиаду». Одетта и Зигфрид вдохновили Чайковского на танец маленьких лебедей. Борьба Левина (греч. «левкос» – белый) и Вронского вдохновила Толстого. Дама полусвета Одетта в мозгу Пруста родила от Свана (англ. swan – лебедь) девушку в цвету (нем. im Blute).

Я надеюсь, что и Америка даст миру что-либо лучшее, чем лучший зверек Сэлинджера – ньюйоркская Девочка в Шортах. Надежды мои связаны с человеком по имени Шваб – разумеется, не тот Шваб, который аптекарь в «Лолите» – а Р. Шваб, ведущий инженер группы системного анализа компании Boeing, – работает в настоящее время над преодолением ограничений воздушного пространства в зонах крупных аэродромов.

Суммируя, можно сказать, что из борьбы с плотью блядь вышла не без потерь, но все же вполне достойно.

Прямым наследником bien на этом этапе следует считать англ. blend, имеющую значения:

1) смешивать;
2) вливать, объединять;
3) незаметно переходить из одного оттенка в другой;
4) подбирать цвета;
5) сочетаться, гармонировать;
6) стираться, исчезать (о различиях).

Но тут происходит новая революция – язык осваивает [r], и на сцене появляется брат.

5.

«– Всякая вещь на свете, – продолжал отец (набивая новую трубку), – всякая вещь на свете, дорогой братец Тоби, имеет две рукоятки.

– Не всегда, – проговорил дядя Тоби.

– По крайней мере, – возразил отец, – у каждого из нас есть две руки, – что сводится к тому же самому».

Л. Стерн

Сам корень [ra], по Афанасьеву, есть выражение быстрого, прямого движения. Нельзя не видеть, однако, что противопоставление [r] и [l] нанесло ущерб более слабому [l] – вплоть до того, что понятия добра и справедливости оказались связанными исключительно с правым уклоном.

Почему гнуть вправо (нем. nach recht bieden) значит обязательно поступать справедливо (нем. gerecht), обоснованно (mit Recht) и по праву (zu Recht)? И почему все, что в другой стороне (англ. left, нем. linken), – есть ложь (англ. lie, нем. Luge) и зло (англ. evil, нем. Ubel)? (слабее этот процесс проявляется во Франции, известной своим уважительным отношением к женщине: ср. bien – добро, lien – связь, rien – ничто; bel et bien – прямо).

Кажется, Ф. Халкидонский писал, что справедливое – это полезное для сильного.

«У добра своя причина, – говорит, кроме того, Дионисий. – Если же зло противоположно добру, то у него должно быть множество причин, в творениях которых нет ни смысла, ни устойчивости, а только неустойчивость, немощь и постоянное смешение с греховным».

Но как же Добро могло стать причастным злому? Само ли понятие добра изменилось на ста-

дии blend? Или виной всему порожденные им с утратой носовых новые смыслы – вздор, обман? Наконец, в чем причина распутства?

«Подобные вопросы может задать только тот, чей разум объят сомнениями, – говорит Дионисий, – поэтому, желая обратить его к истине, мы прежде всего скажем следующее: зло не исходит из Блага, а если исходит из Блага, то оно не – не зло».

Правое и левое, красное и белое, брата и блядь можно, разумеется, разделять – если угодно, вплоть до перегородки в сердце, которую можно разрезать разве что лезвием (англ. blade) – однако ясно, что при объятии правая и левая сторона смыкаются. Нагляднее всего этот процесс выражен в соединении прелести и красоты.

«Прекрасный» и «прелестный» соотносятся как правый и левый, и «прелесть» значила «обман, ересь» тогда же, когда и «блядь». Аввакум Петров пишет:

«Яко вся сия внешняя блядь ничтоже суть, но токмо прелесть, и тля, и пагуба. Аз проидох делом и ничто же обретох, токмо тщету».

Присмотревшись, однако, увидим, что с ересью связан здесь побочный смысл, сходный с резью и эросом, или, точнее, «эрисом» – раздором; прельщать в этом смысле – значит нем. reizen – раздражать, дразнить, возбуждать (читаем у Хлебникова:

Она, дразня, пьет сок березы,
А у овцы же блещут слезы).

Для понимания же главного смысла прелести, роднящего ее с грязью, откроем Толстого:

«Едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, *вино* ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя *ожившим и помолодевшим*»;

«В лице ее не было, как прежде, этого непрестанно горевшего *огня оживления*, составлявшего ее прелесть».

Прелесть, как видим, есть тот ил, сапропель со дна омута, взбаламученного ледоходом в апреле, который благодаря самому тлению сохранил тепло жизни и который этим теплом согревает:

«В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таяния земли и от росту трав.

«Каково! Слышно и видно, как трава растет!» – сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы».

Здесь прелесть согревает англ. blade – узкий лист, травинку.

«Она на цыпочках подбежала к кровати, быстро скользнув одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за которым графиня боялась, как бы он не был ее гробом. <...> Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала возиться под одеялом, укладываясь, подгибая коленки к подбородку, брыкая ногами и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то выглядывая на мать».

Здесь прелесть согревает танцовщицу (санскр. natakiyasca; англ., фр. baladine).

Настоящему брату [г] не может быть в радость. Вспомним Есенина, как он стремился изгнать этот звук из своих стихов:

Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.
<...>
Сердце, хоть ты бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.*

** Лев Додин завоевывал симпатии тем, что на вопрос: «Тебе хорошо со мной, Лева?» – всегда отвечал: «Пиятно». Вспомним также «пелестрадал» Каренина.*

Именно в бляди, или в соединении бляди с братом, таким образом, состоят свет, и истина, и жизнь. Насильственная же замена истины правдой есть нелепость. Произошла эта замена вместе с превращением bien в добро как имущество; Шервуд Андерсон (вот ведь Соединенные Штаты) тут все объяснил. В «Книге о деформации» (The Book of the Grotesque) читаем:

«В начале, когда мир был юн, – пишет он, – там было множество мыслей, но никакой такой вещи, как правда. Мужчина делал правды сам, и каждая правда была составлена из многих неясных мыслей...

А потом набежал народ (люд – lewd – похотливый). Как только один из народа захватывал одну из правд, нарекал своей правдой и пытался прожить по ней жизнь, он становился нелепым, а облюбованная им правда – ложью».

(В переводе на русский теряется перекличка thoughts – мысли – truth – правда – и vague – смутный, неясный – vagina – влагалище, cunt).

Вот князь Андрей на стадии полусвета:

«И дела нет до моего существования!» – подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. «И опять она! И как нарочно!» – думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул».

Это «ожидая и боясь» знаменательно. Не могу, кроме того, удержаться и не предложить более точного определения того, что поднялось в душе князя Андрея. Это *лядина* мыслей – кустарник, молодой лес. На этой стадии у князя Андрея он вызывает любопытство, ожидание, боль известного рода («Здравствуй, племя младое, незнакомое» и т.д.)

Когда же князь Андрей посчитал bien имуществом, которым он может распоряжаться быстро, zu Recht – по праву – его будто подменили:

«– Помню, – поспешно отвечал князь Андрей, – я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу».

Сложность, как видим, соединилась у него с ложью, а лядина стала вызывать досаду из-за своей непроходимости. И все потому, что он, как ему показалось, уже знает, куда идти. Ему кажется, что все просто – надо идти быстро и прямо. На самом деле он пойдет вправо – от прелести к ревности, от любви на войну.

От осуждения бляди, таким образом, один шаг до братоубийства.

Простота, как известно, хуже воровства.

6.

«– Так-так-так, – говорит пулеметчик,
– Так-так-так! – говорит пулемет...»
Песня

«Много еще есть дела в этом мире, и что до меня, то мне кажется, все в нем ложно, все не так».
Беттина фон Арним
1834 г.

Брат с блядью... На первый взгляд, странное сочетание; однако не более, чем блестящая красота или красный блеск сигареты в ночной засаде у Льва Толстого.

Блестящая красота... Вернемся к Бруту:

«Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какою-то нестерпимой трелью».

«Блестящая», следовательно, не то слово; более подходит фр. blessant – букв. «ранящая» или, по Гоголю, «резкая»:

«Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе».

В чем здесь странность? Странность, как видим, в новизне чувства – одном из трех, по Л. Толстому, (искренность, ясность, новизна) свойств настоящего произведения искусства. Брут бежит от всего этого:

«Жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело».

Хлебников же бежит в обратную сторону («Беглец науки лицемерья, я туче скакал напролом»). Но он чувствует, что не может оставаться единым, ему нужны «беглянки стран лицемерья»; чтобы их кликнуть, нужно слово Божие. Хлебников все время ищет его – как они называтся,

Девушки, те, что шагают
Сапогами черных глаз
По цветам моего сердца.
<...>
Девушки, моющие ноги
В озере моих слов.

Он понимает, что в ответ на рану необходимо что-то ласковое. «Игнорирование моментов интонации или экспрессии, – писал А.Ф. Лосев, – является жалким, хотя и очень упорным, остатком прежнего рационалистического подхода к языку».

Детуся! Если устали глаза быть широкими,
Если согласны на имя «браток»,
Я, синеокий, клянуся
Высоко держать вашей жизни цветок.

«Браток» не подходит из-за [r] и другого склонения.

«У нас просто нет таких терминов, – утверждает А.Ф. Лосев, – <для обозначения вещи>, которая есть одновременно и отвлеченная идея, и мифическое существо, и физическое тело».

Однако сам-то же он в своей, эстетической области, нашел такое сочетание слов, «совершенно необычное для западноевропейского уха», для обозначения блестящей красоты – *«текучая сущность»*. Но текучая сущность чисто филологически – это же и есть блядь (течь – убегать, Сущий – Яхве – одно из имен Бога). Почему бы поэту-гению не употребить этого слова?

Может быть, потому, что «мысль изреченная есть ложь»? Но ведь Афина тоже вышла из головы – у Зевса, – но когда она облекла «текучей сущностью» Одиссея, тому ведь было неважно, ложь она или кто:

В сторону он отошел и сел на песок перед морем,
Весь красотою светясь.

Все-таки, скажет кто-нибудь, есть нечто, у нас внутри, что запрещает нам сказать женщине, которую мы уважаем, «блядь» вместо «Ваша светлость».

А это малодушие – вот что я вам скажу. Сказать «блядь» может рыцарь – самоотверженно и коленопреклоненно. Кроме того, космическое поколение отрицательно относится к уважению: вага – тяжесть – противоположна невесомости.

И вот ведь что удивляет: как же вот древние греки все понимали? У них лучшим произведением искусства считался космос – но ведь у нас-то ведь как бы тоже?.. Неужели мы не можем вот так ночью взглянуть на небо – а потом встать перед всей этой текучей сущностью на колени?

И ведь что получается? В религиозной и эстетической области мы уже почти встали; все дело-то в какой-то филологии, которая лежит у нас на дороге. Неужели мы ее не пройдем?

Граждане ареопагиты! Чего мы вообще стоим тогда? Чем отличаемся от черни, которая видит счастье в «пожирании гороха», как выразился Г. Темный, и «не умеет ничего ни выслушать, ни высказать, подобно ослам»?

Давайте же наконец возьмемся за эту филологию вплотную.

Ведь это же просто любовь к логосу.

Логос. Любовь. Ведь все же понятно: «познает тот, кто любит» (Платон). Любовь к логосу = понимание. Понять = простить. Но не в сфере «эстезиса» – ощущения, влажного опьянения – а именно в сфере «логоса», т.е. – что такое «логос»? – в сфере 1) слова; 2) причины; 3) разума; 4) спермы рождения; 5) меры назначенного круга времени; 6) сухого блеска души.

Ну и что? Почему тут нет понимания? Пойдем bel et bien.

Когда говорят двое мужчин, понимание возникает с полуслова:

«...до меня дошли слухи об искании ее руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли это?

– И правда, и неправда, – начал Пьер... – впрочем, я не знаю.

– Ну, да это все равно, – сказал князь Андрей».

Женщина мужчину понять не может – она явно не понимает слов. Случайная связь лжи с горизонтальным положением тела совершенно сбивает с толку любившую барахтаться в постели Наташу, и без того доведенную до отчаяния на стадии blend:

«Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на охотников, смотрела то на ту, то на другого.

– Наталья Ильинична, – начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней и отвращения к той операции, которую он должен был делать, – правда это или неправда, это для вас должно быть все равно, потому что...

– Так это не правда, что он женат?

– Нет, это правда».

Но ведь и женщина женщину не понимает – даже родная мать, как мы легко можем убедиться:

«– Не замуж, а *так*, – повторила она.

– Как же это, мой друг?

– Да *так*. Ну, очень важно, что замуж не выйду, а... *так*.

– Так, так, – повторяла графиня и, трясясь всем телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом».

<...>

«– Он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый...

– Что ты врешь? – сказала графиня».

Но ведь и мужчина не понимает женщину! Вот что самое странное. Даже Безухов:

«Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам.

...Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости...»

Может, ее поймет брат? «Николенька бы понял...» – думает Наташа. Так ли?

«Сколько ни вглядывался Ростов в эту туманную даль, он ничего не видел: то серелось, то как будто чернелось что-то; то мелькали как будто огоньки, там, где должен быть неприятель; то ему думалось, что это только в глазах блестит у него. Глаза его закрывались, и в воображении пред-

ставлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания, и он опять поспешно открывал глаза, и близко перед собой он видел голову и уши лошади...

...Ему показалось, что было светлей. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно быть, снег – это пятно; пятно – une tache, – думал Ростов, – вот тебе и не *таш*...»

«Наташа, сестра, черные глаза. На...ташка...» (вот удивится, когда ей скажу, как я увидал государя!) На-ташку... ташку возьми...» – «Поправей-то, ваше благородие, а то тут кусты», – сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов».

Может быть, он бы и понял – если бы не взял вправо. И, конечно, не tache: англ. blur – пятно, blaze – пятно на лбу животного, зарубка на дереве для указания дороги.

А может, взять влево? Там кусты.

Ну и что? Возьмем вот эти кусты; то есть не кусты – возьмем сразу распутство – посмотрим, что в нем плохого.

7.

«– Здесь два смысла, – воскликнул Евгений во время нашей прогулки, тыкая указательным пальцем правой руки в слово «расщелина» на сто тринадцатой странице этой несравненной книги, – здесь два смысла, – сказал он.

– А здесь две дороги, – возразил я, обрывая его, – грязная и чистая – по какой же пойдем?»

Л. Стерн

Что такое распутство и какова его связь со вздором? Ясно, что это синонимы, как путь и дорога. Но не будем спешить.

Заметим прежде всего, что в самом по себе распутстве нет зла. Что такое распутство? а) распущенность, б) распутье.

Но распущенность – это, собственно, отсутствие пут, т.е. свобода. У женщины распущенность связывают с небрежностью в одежде или прическе. Но небрежность – это незащищенность: когда снят пояс – оберег – (вспомним Хлебникова) или бюстгалтер. Отсутствие бюстгалтера более всего почему-то восстанавливает против бляди определенную часть людей, в особенности коммунистов. Почему? Все дело в недостатке культуры. Бюстгалтер как атрибут коммунизма есть сталинизм, фашизм (нем. halter – удерживатель – от halt! – стой!). Интернационал же, как известно, пришел к нам из Франции. Вспомним картину Делакруа «Свобода на баррикадах»: у женщины, символизирующей свободу, открыта грудь.

Попутно заметим, что баррикада, как всякое препятствие на дороге, есть вздор.

Следует развеять также неверное убеждение, что распущенные волосы таят в себе что-то греховное. Напротив, по Афанасьеву, распущенные волосы – символ девственности; грехом же являются самокрутье – когда у незамужней девушки на голове бабий убор.

Итак, распущенность есть свобода, девственность и незащищенность. Поразмыслим теперь над распутьем.

Чисто филологически возможность распутья появляется с присоединенем губного [b]: связанное с двумя губами, оно таит в себе греч. «биос» – лук; англ. bi – «двойной, двояко направленный»; фр. bis – «еще раз», которые в условиях идиотизма могут случайным образом овладеть корнем.

В древности распутье считалось опасным местом. Причину этого Афанасьев видит в суеверном страхе, вызванным пересечением – как бы зачеркиванием пути. Шваб тоже сетует на пересеченность взлетных полос в аэропорту O'Hara.

Толстой, как известно, всю жизнь боролся с суевериями. Самые лучшие девушки у него – черноглазые, что признак нечистой силы. Катя Маслова еще и фр. biais – косая, что признак вдвойне. Наташа Ростова, с другой стороны, более связана с носовыми – главным образом через французский язык – и пересекает дорогу то и дело:

«Князь Андрей, невеселый и озабоченный... подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из-за деревьев он услыхал женский веселый крик и увидал бегущую наперерез его коляски толпу девушек. Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, подвязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но, узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею стало отчего-то больно».

Отчего стало больно князю Андрею? Оттого, что бежали наперерез? Из-за черного глаза? Из-за непорядка в одежде? Нет.

«Эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование». Вот оно что! Это ошибка.

Англ. blunder значит 1) грубо ошибаться, 2) двигаться ощупью, неуверенно, 3) случайно наталкиваться, натыкаться. Ясно, что «ошибаться» здесь имеет смысл «наталкиваться, ударяться обо что-то», причем – это существенно – обо что-то, что «не знает и не хочет знать» о движении ударяющегося.

Больно, кроме того, потому что жаль (нем. leid). Разлука – начало любви; любить же значит страдать (нем. leiden).

Боль происходит от размыкания круга. В круговом вращении от блага к благу, естественно, не испытываешь боли; однако что же это будет, если каждая душа останется в своем кругу?

«Надо, чтобы не для одного меня шла моя жизнь», – думает князь Андрей некоторое время спустя. Если коммунисты скажут, что этот плод не хорош, сам Маркс бросит в них камень.

Разумеется, все это трагично. «Имя луку жизнь, а дело его смерть», – скаламбурил Г. Темный («биос» по-гречески – жизнь и лук, с ударением на разные слоги) – вероятно, по поводу песни, где Дунай выстрелил из лука в круг, но промахнулся и попал в грудь невесте Анастасии. Но тот же Г. Темный учит, что жизнь и смерть одно: «Ничто не ждет, все уступает место другому». Невеста умерла с плодом, но когда Дунай закололся, от их «напрасныя крови» родилась река, объединившая Украину с Россией, а также другие страны. А сколько песен возникло! Если бы промаха не было – на берег чего бы вышла мадьярка? В какую бы воду она бросила свой цветок?

А вот связь распутья со вздором:

«Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой», – сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине.

«Какой вздор иногда приходит в голову!»

Как видим, распутье здесь – чистый вымысел, тогда как вздор есть не что иное, как ясновидение, т.е. обман. Князь Андрей не поддался обману, и Наташа не стала его женой; но еще Г. Леонтинский и аноним. автор сб. «Двойные речи» советовали поддаваться обману. Ясное дело – правда есть только правда, а обман охватывает и правду, и еще кое-что.

Таким образом, в распутстве нет зла. Если и есть какое-то зло, то оно связано с дилеммой – либо туда, либо сюда, т.е. когда только две дороги. Но эта ситуация невозможна в России, где дорог на распутьи трое, и те еще со времен Гоголя расползались как раки. Когда «*это*, изменившись, есть *то*, и обратно, *то*, изменившись, есть *это*» – как говаривал Г. Темный – тогда никаких дилемм нет, и «по какой бы дороге ты ни шел – не найдешь границ души».

Тогда, может быть, зло во вздоре?

Вздор связан с ложью через ошибку при укоризне. Укоризна – это снятие коры скобелем. Вздор же есть сучок, о который спотыкается скобель при движении его rasch – быстро – по находящемуся в горизонтальном положении бревну.

Но следует сразу же отмести (фр. balayer) расхожее мнение, что Наташа должна быть укоряема за измену князю Андрею.

«Блажен человек, могущий равно полюбить всякого человека, – говорит Максим Исповедник. – Если ты одних ненавидишь, а других ни любишь, ни ненавидишь; если одних любишь умеренно, а других сильно, то из этого неравенства познай, что ты еще далек от совершенной любви, которая предполагает равную любовь ко всем людям».

Но ведь – возразит кто-нибудь – она же «променяла Болконского на дурака Анатоля!»

«Кто, подражая Богу, творит милостыню, – учит Максим Исповедник, – тот не делает различия в [вещах], необходимых телу, между худым и благим [человеком], между праведным и неправедным, но раздает всем поровну, соизмеряясь с нуждой».

Могут сказать, что под милостыней здесь подразумевается не раздача тела; устами того же Исповедника возражу:

«Не через одно только раздаяние имущества познается [благое] расположение любви, но куда более – через раздаяние слова Божия и телесное служение».

Могут сказать, что и под телесным служением подразумевается не то, о чем пишут Миллер и Ерофеев, – опять-таки возражу, устами святейшего Иерофея, автора «Гимнов о вожделении»:

«Мы считаем, что вожделение – будь то Божественное, ангельское, духовное, душевное или телесное – это некая сдерживающая и соединяющая сила, подвизающая высших существ к промышлению о низших, единочальных же, напротив, – к общению между собою, и, наконец, обращающая младших к старшим и вышестоящим.

...Ну и теперь, вновь собрав все виды вожделения воедино, мы скажем, что это и есть та простая сила, которая самоподвизает к некоторому объединяющему слиянию все существа».

Именно это и делает Наташа Ростова:

«Князя Андрея она любила – она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля она любила тоже...

Она живо представила себя женою князя Андрея, представила себе столько раз повторенную ее воображением картину счастия с ним и вместе с тем, разгораясь от волнения, представила себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолем.

«Отчего же бы это не могло быть вместе?» – иногда, в совершенном затмении, думала она».

Выступающая при этом на лице краска стыда (англ. blush) считается следствием унижения:

«Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая...»

Но что, если это и есть разгорание костра из искры? Костра, который объединяет. Писал же француз Жюль Ренар:

«Когда вы краснеете, приятно и грустно смотреть на вас, как на пылающие поленья».

Да и может ли разъединять блядь? «Мрак разделяет, свет объединяет, – говорит Дионисий, – ...все сущее она, подобно свету, озаряет излияниями своих глубинных, созидающих красоту лучей, как бы призывая к себе все сущее».

А может, возразит кто-нибудь, блядь заляпана грязью? «Не оскверняй плоть свою срамными деяниями и не пачкай душу лукавыми помыслами, – говорит Максим Исповедник, – и мир Божий снизойдет на тебя», – и в этом все дело?

Слова Исповедника, отвечу я, надо понимать по-другому: «*Если* не запачкаешь душу лукавыми помыслами, то *мир* снизойдет на тебя». В Писании же сказано: «Не думайте, что Я мир пришел принести на землю; не мир пришел Я принести, но меч». И еще сказано: «Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».

Брат, взявший вправо, избегнул гибели:

«И не успел еще Ростов разглядеть что-то, вдруг зачерневшееся в тумане, как блеснул огонек, щелкнул выстрел, и пуля, как будто жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха<...>

Другое ружье не выстрелило, но блеснул огонек на полке».

Избегнул гибели и Аввакум Петров:

«И на пути он же наскочил на меня паки со двемя пистольми и запалил ис пистоли. И Божиим мановением на полке порох пыхнул, а пистоль не стрелила. Он же бросил ея на землю и из другия запалил паки. Божия же воля так же учинила: пистоль и та стрелила... Он меня лает, а я ему говорю: «Благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет».

Гибнет Наташа:

«Какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда и хотя ничего не было, – инстинкт говорил ей, что вся прежняя *чистота* любви ее к князю Андрею погибла».

И гибнет брат Петр:

«Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю...»

Почему в одном случае в человека дважды стреляют в упор, и он остается жив, а в другом случае в него вообще не стреляют, а он гибнет? Вы думаете, все дело в партнере? – нет, все дело в степени открытости (=девственности=распущенности = незащищенности). Просто надо быть искрой на лету, и всякое зло обратится в благо – падение, грязь, лай – и заодно уж и сладострастие, про которое я даже забыл совсем:

«Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него».

Почему Денисов плачет, как блядь? Потому, что ему сладко. Пенелопа, как помним, тоже наслаждалась слезами, перебирая вещи Одиссея.

Понял ли сестру брат Петр? Нет, он ее смертью очистил, но ничего не понял. Начал понимать князь Андрей:

«Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между ним и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшие на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удержаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями...»

Любовными слезами – над заблуждениями!

«... вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно...»

Казалось бы, ничего не поздно: князь Андрей умирает, но мы-то живы. Его опыт для кого-то и в самом деле может иметь громадное значение. Ведь он понял Наташу, понял ее всю: не одну только прелесть, но и душу, стыд, раскаяние, жестокость своего отказа. Беда только в том, что, по-моему, Наташа уже не блядь.

8.

«Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын».

С. Есенин

«Сейчас мы поглядим, какой это Сухов».
«Белое солнце пустыни»

Граждане ареопагиты! Настало время поговорить о синонимах. Что такое «отлив в синь»?

Понятно, что «синь» – знак (фр. signe). Но что он означает? «Блядь» и «синь» – синонимы или антонимы? Вопрос очень серьезный. И дело тут не в номинализме.

«Разрешите мне, старому писателю, сказать, что литература по происхождению своему противоформалистична, – писал В. Шкловский. – Она сдвигает знак с места и говорит: это то, да не то». Вопрос так стоит: разделение или соединение.

Моя малая родина, Вологодчина, чуть было не отделилась от большой – России. Первым моим порывом было – поддержать: так, ей-богу, иногда хочется отделиться!

Но, если смотреть трезво, нельзя не видеть, что как раз тут надо быть очень внимательным. Тут руль надо держать крепко, отслеживать все знаки и, чуть что, жать на тормоз.

С князем Андреем случилось то, что я бы назвал синдромом Есенина. Он любил девушку в белом, а потом стал любить в голубом. Но, в отличие от Есенина, этого даже и не заметил.

Казалось бы, какая разница. Синь и блядь легко перепутать; во многих языках они даже созвучны (фр. bleu, англ. blue, польск. błękit и т.п.). У них общее происхождение – от носовых. Синь, собственно, сестра бляди (soeur, sister, schwester). Младшая, т.к. появилась после отделения неба. Это следует из правила общей судьбы; ср.: sink – тонуть, sheen – сияние, shift – изменение, silly – глупая, slip – промах.

На первый взгляд, синь даже красивее бляди. У бляди глаза блестят, у сини сияют. Блядь мечется, синь стремится на небо. Синь поет как сирена. У сини качели лучше: balançoire – небылица, swing – стиль джаза. И т.д. и т.п.

Но дело вот в чем. Помимо данной, конкретной красоты, есть еще красота вообще. Сократ первым это заметил; не зря А.Ф. Лосев назвал его трезвым среди пьяных. Я утверждаю, что и помимо данной, конкретной бляди, есть еще вообще блядь. В мировом масштабе. Со мной согласится всякий, кто не спал ночью. А что есть в сини, кроме сини?

Не будем обольщаться, что фр. cygne – лебедь. Тогда было бы «кинь»: кому это знать, как не космическому поколению.

– Циники вы все, – говорила нам учительница литературы. Киники – это те, кто кинетическую энергию предпочитает потенциальной. Для кого кино – «единственное утешение в жизни» («Собачье сердце»). Кто живет как собака, т.е. сходит с ума по Луне, поет от растяжения мехов гармони, все время что-то ищет, и плохо видит, но носом чует чужого.

Есенин сам был киником, когда писал:

Если кликнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю –
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

А потом перестал понимать лай, и качание хвоста для него перестало что-либо значить. «Пожалуйста, дружочек, не лижись, – говорит он Джиму Качалова, – и не лай ты! Не лай! Не лай!» Мы видим, что вслед за «р» он хочет изгнать и «л» из своей поэзии. Рискованное дело: ладно lie – ложь, но как же light – свет? И зачем нажимать на «ж»?

Дальше – больше:

Голубая кофта, синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: «Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель».

Я ответил милой: «Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель.
У меня на сердце без тебя метель».

Суть измены очевидна: вьюге он предпочел няню. Женщине легкого поведения – избу.

Мне думается, вот в чем дело: в крестьянском сознании Есенина огнь соединялся с печью. Не случайно он ухватился за трубу, когда повесился. У народа огонь, неизвестно почему, синий: «Гори все синим пламенем!» – говорит он.

Это идет с запада, где ангел произносится как отдергивание руки (ange). В женщине, действительно, есть некий ожог; хотя жена уже связана с жатвой. О бляди нельзя сказать, горячая ли она, потому что ее толком никто не трогал. Есть одно неясное место в «Анне Карениной», где блеск лица напоминает пожар, но и там Анна неуловима:

«– Ты не в постели? Вот чудо! – сказала она, скинула башлык и прошла дальше, в уборную».

Не всякий же огнь горячий: как же неопалимая купина?

Но даже не в этом дело. Блядь же по сравнению с синью – как бы это сказать – не то, что более вабна (хотя и вабна). Только не подумайте, что я пишу это без боли! Гаврилов* мне все время так говорит; но я с болью пишу! Синь меня притягивала чрезвычайно; в сиянии (sheen – shine) мне даже слышалось начало моей фамилии. Я, конечно, ошибался, т.к. линия прямого родства слова «синь» восходит к французскому sien – его (ему принадлежащее). И в sheen мне теперь слышится свист, вылетающий с опусканием головы: «Узнав об этом, он тихо присвистнул», – как мы в таких случаях говорим.

Но неправа и Элеонора. Когда И. Козлова выгнала нас на улицу ночью, и мы стали на гавриловской кухне вино пить – она доказывала, что моя фамилия татарского происхождения. Досадуя, что польстился на ее фамилию**, не мог я сказать ей тогда, что «Шарып» значит «пучеглазый». Это принципиально – как говорил Сократ, «узкоглазый глядит только вперед, а пучеглазый – во все стороны».

И дело не в том, что его (sien). *Только* его – вот в чем дело! Синь – это Анастасия, на голове которой Дунай устанавливает кольцо: она и просит, чтоб он не устанавливал, а все же не убегает и не препятствует ему. Как же так! Да пусть он хоть какой голубой! – то есть она и фр. sinueux – извилистая – а все же его рабыня. Блядь никогда бы себе этого не позволила.

Или, скажем, Анастасия Римлянина. Да! Она стремилась на небо, хотя ей резали сосцы. Но в чем ее аргументация за такое свое поведение? В том, что там больше богатства. Что оно нетленно. Что там твердь, а тут какой-то песок. Который дожди размоют.

Еще неизвестно, как бы оно все было сейчас, при данных разведки, что на десять миллиардов световых лет вокруг нет никакой тверди. А блядь мечется.

«Если только дать себе труд подумать, цвет тяжелее света», – писал А.Ф. Лосев.

Синь – вот она вся; кажется – огромное небо, а с точки зрения космоса – всего лишь земная атмосфера, округлая и объятная. Блядь же – только что была тут, совсем рядом, а вот уже:

Там где жили свиристели,
Где качались тихо ели...

оглянулась и лишь рукой помахала, – и только, сотрясая землю, чугунные жернова уходящего поезда

В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели...

---

* *Писатель Анатолий Гаврилов (г. Владимир).*

** *Беляева – в честь вологодского космонавта.*

Если сестра притягивает как сирена, то всегда можно указать, откуда она притягивает. А с блядью так: голос ее слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит.

Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна...

И вообще. По мне, чем отлив – лучше уж разлив, хоть он и красный. (Если не будет прилива.)

Князь Андрей счастлив: уже одно это наводит на подозрения. Счастья ведь нет. Есть покой и воля, как вы знаете, и разница между ними такая же, как между млением и обомлением. Князь Андрей сомлел, т.е. стал мелким. Понимание вышло из него вместе с волей к жизни, как у Шервуда Андерсона в теплой конторке сила вышла из Кейт Свифт.

Следовательно, он понял няню. Что есть событие самое обыкновенное. Тогда как, по Шкловскому, вдохновение – это как раз опровержение обычного представления. «Если взять у Толстого ощущение военного вдохновения, – пишет он, – то это чувство, что именно сейчас надо выступить, ударить на врага, и он побежит».

Мы не вправе как-то винить Толстого: наоборот, мощь его сказалась в том, что до Мытищ на протяжении 1200 страниц Наташа была настоящей. Ерофеев в «Russkoy красавице» выдержал только 150, а Набоков в «Лолите» и вовсе 10, да и то с помощью Гоголя:

«Россыпь звезд бледно горела над нами промеж силуэтов удлиненных листьев... На фоне неба со странной ясностью так выделялось ее лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние...»

Но вслед за тем:

«Но ее ноги, ее прелестные оживленные ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, что искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности – не то боль, не то наслаждение – появилось на ее детском лице».

Я думал, что князь Андрей видел блядь в виде фантомной боли. Здание из иголок и паутинок, которое он наблюдает, похоже на творение Солярис, и женщина является после сна. Толстой не указывает, что при этом фамилия ее Ростова. Допустим, Бондарчук. Но ведь князь Андрей, как Гумберт Гумберт, дотрагивается до ее кожи! И она реагирует на него:

«– Простите меня за то, что я сде...лала, – чуть слышным прерывным шепотом проговорила Наташа...

– Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, – сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.

Глаза эти, налитые счастливыми слезами, сострадательно и радостно-любовно смотрели...»

Учитывая даже регресс искусства, я сомневаюсь, что кино в прошлом веке достигало подобного совершенства. Он сколько угодно мог смотреть ей в глаза, но при попытке ять ее подбородок всякий раз должен был обнаруживать, что перед ним белая простыня.

Настоящая Наташа – baladine – танцовщица – вот какая.

После разговора с князем Андреем она должна быстро, как котенок, перебирая ногами, убежать из кадра и ласковым, очень ласковым голосом спросить кого-то другого:

– Are you o'key?

Ведь блядь – само слово. А цель слова – не в том, чтобы осоловеть или медлить (англ. slow), а чтобы слать. Как Кити Левина. Оно вылетело – и его уже не поймаешь. Но понимание не вышло, а вошло в него. При этом он обомлел, т.е. стал как мел, белым. Не обезумел – ни в коем случае! – но стал не в своем уме. Вообще не в себе – не в своих чувствах, не в своей прелести. Одним словом, подобно Одиссею, – он облядел. Это и есть вдохновение.

Потом он почувствовал, что «все бы мог сделать – что полетел бы вверх или сдвинул бы угол

дома, если б это понадобилось». А иначе бы он умер, как князь Андрей, и после 50-й страницы и его бы не было.

Вот только зря Катя, по незнанию слов, говорит «этого не может быть». Так можно повеситься. Учитывая, что Левин был конькобежцем, следовало бы сказать: «Катись».

9.

«И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити – бум, – ударилась муха... И внимание его вдруг перенеслось в другой мир...»
Л. Толстой

«– Я тебе не сделаю больно, – сказал дядя Тоби, вставая со стула и переходя через всю комнату с мухой в руке, – я не трону ни одного волоса на голове у тебя, – ступай с Богом, бедняжка, зачем мне тебя обижать? Свет велик, в нем найдется довольно места и для тебя и для меня».

Л. Стерн

Так если подумать: синее пламя, может быть, из боязни перед красным. «Лишь бы войны не было», – любит повторять народ. Синий огонь, синее небо, голубые каски и т.д. и т.п.

Отправляя bala из России, отец ее говорит: «А что, если тут гражданская война».

В сущности, положа руку на сердце, если выбирать между войной и миром, то кто же из нас пойдет на войну? Мы, киники, за мир тоже.

Но ведь за другой мир! Вот в чем все дело. Не за этот же дурацкий мир, с его дурацкими словами и знаменами! В этом мире жить невозможно, особенно женщинам – почему они любят, чтобы их нежили? Чтобы и они как бы не жили. Поэтому – повторяем мы за Г. Темным – «война есть отец всего».

Но чем отличается Яшка-цыган от богоборца-Иакова? – спрошу я у вас. И кто такие русалки, как не неуловимые мстительницы, мстящие тем, кто толкал их в реку?

То есть я ни в коем случае не против эмиграции евреев или чего-нибудь в этом роде. Но блядь должна оставаться у нас! Если вы еще не поняли, почему, – то я объясню.

Надо только просчитать скорость и размеры потока – чтоб знать, сколько осталось времени.

Многие думают, что им, как невестам, нужен вестник – греч. «ангел», и они путают его с англичанином. Но это не совсем так.

Да, они не понимают нашего языка. Положение тут просто катастрофическое. Они понимают лишь отдельные слоги: звук «сит», как написано в «Камасутре», разные «чин-чин», «сим-сим», «пинь-пинь-пинь», как тарарахнул зинзивер у Хлебникова, и как Муслим Магомаев поет: «Лала-лала-лала-ла». Сердце сжимается при виде складок, перерезающих их лоб, когда они читают какое-нибудь длинное слово.

Именно это обстоятельство, вероятно, дало повод Пьеру посчитать свою будущую жену глупой (нем. blöd)... Странная логика! Если есть какой-то безумный мир, куда блядь попадает, так давайте бороться с его идиотизмом (нем. blödsinn), а не с ее светлостью (англ. Ladyship)!

Может, они мыслят кровью. Я бы вообще запретил тампоны; но ограничусь тем, что Эмпедокл сказал: «Мысль есть омывающая сердце кровь».

Посмотрите в их глаза: неужели вам не очевидна разумность? Тут все дело в отсутствии передачи – поверьте мне.

У кого глаза горят – как у Левина («Он, с его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами», – думает о нем сука Ласка) – у того вообще нет проблем, потому что он может говорить взглядом.

«Если можете меня простить, то простите, – сказал ее взгляд, – я так счастлива».

«Всех ненавижу, и вас, и себя», – отвечал его взгляд.

Иногда, может, и за границу они едут только в поисках своего языка: наш не подходит; может, подошел бы эскимосский, где одни vaques – смысловые пятна. Бог его знает. А английский, видимо, притягивает потому, что многие слова там короче. Вот и все.

И еще – он, как бы это сказать, нейтриннее, что ли. Проникновеннее. Ближе к тому идеальному языку, на котором говорит океан.

В связи с этим вспоминается один случай.

Когда Эйнджи Сидоров улетела, всем нам было, конечно, жаль, всему космическому поколению, потому что она писала:

Раздувая, как кони, ноздри,
Мы в немое уйдем кино, –

и я, например, так и считал, что она киничка. Да еще за неделю до своего отъезда она писала:

«Какая лезет в голову первая мысль? Мне, например, что блядь я гиблая, суечусь не по делу, а чувствую, что надо где-то по делу, вот по этому, которое – в музыке, в небе, в словах, а вот нет. <...> Я вот между прочим, вот сейчашная, и вовсе не хочу в Америку, я знаю, что 3 меня там загнутся и сдохнут*, а одна надуется и будет ходить, есть, хотеть**. Вот ведь веревки какие. Я же, Шарыпов, все понимаю, беда какая, лучше бы наоборот, а сделать ничего не могу».

Вдруг как-то ночью звонит Шваб и спрашивает:

– Тебе жаль Акакия Акакиевича?

Спросонок плохо соображаю.

– Нет, – говорю.

После паузы он мне и говорит, изменившимся тоном:

– А я думал, жаль. Если бы ты сказал, что жаль, я бы спросил тебя: а как же ты тогда пишешь, что наши пути расходятся?

И бросил трубку.

Я так расстроился, что не мог спать. Что у нас за язык, в самом деле, твою бога душу, в кои-то веки мне позвонили из-под земли, и я не мог высказать то, что надо.

И вот лежу я и думаю: почему мне не жаль Акакия Акакиевича? (А мне правда не жаль.) Мне жаль Терезу у Милана Кундеры. И Анну Облонскую (по мужу Каренину). Мне даже Лизавету Ивановну жалко. Мне так стало их всех жалко, что я не выдержал и пошел в туалет.

В туалете у меня так: если сесть лицом к двери, то спереди, прямо в душу, смотрит поэт Пучков. Сзади – улыбающаяся сквозь слезы Орнелла Мути.

И вот сижу я и думаю. Представляю Лизавету Ивановну, когда Томский вышел из уборной, а она осталась одна. Представляю Терезу, как она сидит в туалете, и «нет ничего более жалкого, чем ее нагое тело, сидящее на расширенной оконечности сточной трубы». («Расширенной» лишнее: без этого было бы еще жальче.)

Потом вспомнил попрыгунью на параходе, как чайки Волге кричат: «Голая! Голая!»

И тут я стал понимать.

Во-первых, все они были голые. Акакий Акакиевич потерял шинель – это не то.

«Голое существо есть тупик», – писал еще А.Ф. Лосев. Самое ценное в голой женщине – это единственное неясное место, ее cunt. Да и то если смотреть как Набоков, т.е. видеть пушистый холм. Если смотреть сверху, through, то увидишь дыру.

С другой стороны, они были голые *реки*. Акакий Акакиевич – это какая-то ждановская Пиявка. Т.е. опять не то.

** Вера, Надежда, Любовь – Наташа Бондарчук в фильмах «Услыши, Господи, молитву мою», «Звезда пленительного счастья» и «Солярис».*

*** София – Наташа Бондарчук в фильме «Юность Петра».*

Садко лег спать с красной девицей и накинул на нее левую ногу – думая, что сей акт гражданского состояния не вырубить топором – а утром проснулся под Новгородом, а левая нога в реке Волхове. Вот она, вся тут, гражданская война.

Ни в одну из них, по Г. Темному, нельзя было войти дважды. В этом суть неуловимости. Но надо же, по Мармеладову, чтобы в человека хотя бы один раз можно было войти. В Ак. Ак. нельзя войти ни одного раза. Это совсем не то.

В-третьих: жаль – не то слово.

В-четвертых, и это самое главное – у этого слова не тот тон.

Из длительных, мучительных разговоров с блядьми, из молчания тяжелейшего, из слез, наконец, я твердо усвоил – у нас тут какая-то дисгармония. А суть ее в том – я уловил как-то, по пьяни, краем сознания – что мы все тут не попадаем в тон.

Что такое «тон» – я еще не совсем понял; но вот Платон, например, учил, что расстояние между воздухом и водой равно тону. И между рассудком и греч. «пистин» – верой. И сигналы точного времени – тон. И гудки в телефонной трубке.

У нас гудки с модуляцией, а в Америке – чистый тон.

«Тонос», вообще, значит «натянутый».

И вот следите: я начну объяснять.

Когда И. Козлова, ночью, выгнала нас с Гавриловым, мы стали вспоминать, что им нравится больше, и пришли к выводу, что – козлы. Как ни крути. Потом я вспомнил, что еще – сгущенка. Потом – гитара. Еще я вспомнил, как Эйнджи Сидоров из двух девушек, стоящих у меня на стене, у пальмы, рекомендовала мне ту, чья поза более напряженна. Вплоть до обозначения ребер. Потом вспомнил стихи:

Дрожали листья, как мембраны
До нервов оголенных чувств.
Я пробовала воздух ранний
На запах, ощупь и на вкус.

Все это было бы совершенно необъяснимо, если б не древние греки. Я удивляюсь на них, как они похожи на женщин, до каких глубин тут дошли. Чего стоит один Демокрит с его атомами-пуговками и якорьками. И читать их приходится, как женщин – в переложениях других людей.

Так вот. Когда Анаксагора спросили, для чего лучше родиться, чем не родиться, он ответил: «Чтоб созерцать космос». Лучшего кино для них не было. И оно было звуковое! Вот в чем все дело. Греки представляли пространство в виде сгущений и разрежений, и эти сгущения можно было понюхать, тронуть пальцем. А если их закрепить – на туго завинчивающиеся колышки, как нервы Анны Карениной – они издавали звук. Музыка небесных сфер – так греки называли все это. И они слушали эту музыку.

А если учесть, что струны кифары они делали из туго скрученных овечьих кишок – то становится понятной и тяга к козлам Иры Козловой, и всегда смущавшая меня связь бляди с англ. bleat – блеянием.

И – граждане ареопагиты! Я нашел то слово, которое нужно. И где я его нашел? В английском языке. Вот ведь какое дело.

Путь моих мыслей был такой:

1) Реки и греки были голые.

2) Кама-сутра.

3) Звук «сит» происходит от боли.

4) Жаль того, кто делает больно.

5) Кто порхает как бабочка и жалит как оса.

6) Это сказал Мохаммед Али.

7) Мы отвергли магометанство, а вместе с мечетями – мечту, т.е. блян.

8) Мы отвергли, потому что «Руси есть веселие пити».

И вот я вспомнил магистерскую диссертацию Эйнджи Сидоров, параграф *On the Toilet*, где вместо «нагая и жалкая» стоит: naked and pitiful. Вот же оно, это слово! – Pity.

И мало того: я нашел нужный тон!

«...Какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и ти-ти»...»

Именно после этого Наташа явилась князю Андрею.

Мы думаем, что это морзянка из космоса; но тут все дело в тоне. При чистом тоне, в американской аппаратуре, получаем чистое ... – – – ... «спасите наши души» – SOS; в нашей аппаратуре – при модуляции – «и пити-пити-пити» означает «е-н-н-н»; а если «и-ти-ти» – «с» – «слово» – указание на то, чтоб буквы понимать как слова, то «е-н-н-н» означает «есть наш, наш, наш».

Так что же получается? Бляди Америка не нужна. Ей нужны границы, как таковые. Ей нужно вырваться на свободу – но не в этом мире, а совсем в другом. Ей нужно быть натянутой, чтоб издать звук, т.е. последовательность воздушных сгущений и разрежений.

Ветер волосы крутит, пытаясь выжать.
Ветер голос мой давит в крик.
И ломает так, что уже не выжить, –

вот что ей нужно. Однако же –

Дом наш гол, похмелен и дик.

Рано или поздно она поймет, что в том доме, нежном, заполненном сгущенкой, она как отвязанная от гитары струна.

Наш дом плохой – но и тот тоже не в жилу.

Невольно возникает мысль, что помимо утраты носовых, большой вред пониманию нанесло также падение редуцированных. И может быть, если бы между «б» и «л» что-то было, и если бы вместо «пить» было «пити», это и был бы другой мир. Где все всё понимают как надо. То есть, может быть, не совсем одинаково, но это всем все равно.

Где Вронского не ненавидят, а поют ему «Черный ворон». А потом садятся на коней и вместе с белыми едут при серебристой луне. Потом все вместе вповалку ложатся: Анки, Петьки, Наташки, Сережки, Василии Иванычи, Ира Козлова, Ленька Кмит...

И если кто-нибудь увидит блядь в объятиях Анатоля, он только скажет: «Толян! Блядь...» И пойдет на озеро слов за водою. И, препоясавшись, вымоет ему обе ноги.

А слыша: «Катись!» – покатится со светлыми чувствами.

Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим: что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое.

И флаг пусть будет трехцветный. Только не теперешний российский. Лучше, как у Милана Кундеры. Еще лучше у Франции: синь – блядь – красота. «Какая глубина, какая смелость и какая стройность!» То же самое у Голландии, только в горизонтальном положении. А еще лучше вот как.*

Красота есть соответствие между внешним и внутренним – поэтому красный должен быть в середине. Синий и белый есть несоответствие – но с противоположных сторон.

Синему нужна твердь – он у древка. Синий с красным и четвероугольный – Пьер Безухов. А белый – Наташа Ростова.

---

* *Синь – блядь – красота напоминают мне «шик – блеск – в жопе треск», как выражают понятие «комильфо» на нашей с Вас. Ив. Родине.*

Синий, красный, белый. Не просто символизм, а по Гегелю: символизм – классицизм – романтизм. Дух ищет воплощения – воплощается – выходит за пределы плоти.

Вот такой флаг. И пусть его треплет ветер. Т.е. Господь. Ведь в Библии сказано, что он за легкое поведение (3 Цар., 12):

«После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра».

10.

«Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом и не намерен ставить препятствий своей фантазии. Вот почему я поступаю так:

Если бы в человеческую грудь вправлено было стекло, согласно предложению лукавого критика Мома, – то отсюда, несомненно, вытекло бы, во-первых, то нелепое следствие, – что даже самые мудрые и самые важные из нас должны были бы до конца жизни платить той или иной монетой оконный сбор».

Л. Стерн

Женщина не понимает слов. А для нас что самое непонятное в женщине легкого поведения? Отсутствие видимых колебаний. Баланс любви предполагает блядь фр. balancante – колеблющуюся; между тем только еще пришли в театр, только что сели в ложу, а Наташа уже готова lie down – лечь в постель:

«Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не слышала, не видела, и не понимала ничего из того, что делалось перед нею; она только чувствовала себя вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно, что безумно. Позади ее сидел Анатоль...»

Я могу предположить следующие объяснения дела.

Г. Темный учит: «Путь вверх и вниз одно». То, что для нас – вниз, для Америки – вверх, и наоборот. Все, что нам кажется падением, там может быть взлетом. Я уже давно это понял. Так, может быть, снятие пояса – воля – «все позволено» (англ. let; фр. laiss; нем. lass; русск. леть) для женщины значит – можно лететь?*

Когда «блядь» значило «ересь», и взлет как таковой вызывал осуждение. Но проанализируем патриаршую грамоту 1636 г.:

«Вместо духовного торжества и веселия жители предаются играм и кощунам бесовским, сзывают по улицам медведчиков и скоморохов, приказывают им на торжищах и распутиях сатанинские игры творити и в бубны бити и в сурны ревети и руками плескати и плясати и иная неподобная деяти».

Как видим, церковь осуждала не полет как таковой – а разные нелепые способы, профанирующие идею воздухоплавания. Например, бестолковое плескание руками (фр. les bras ballants), которое из-за Майи Плисецкой (слава Богу, хоть она эмигрировала) дискредитировало и лебядь.

С появлением авиации, когда взлет приобрел торжественность, всякое осуждение его было снято.

Вспомним, как хотела лететь Наташа Ростова:

«Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот так!» –

Она и не собиралась махать руками.

** Одна моя знакомая ушла ночью в театр только потому, что у режиссера была фамилия Воль (фр. vole – полет).*

Она хотела лететь за счет какой-то завернутости, как у спиральной галактики* – за счет «женской хаотической силы, тоскующей по властно наложенном на нее пределе» (Флоренский), «тоски по бесконечности в стихийной жизни, томления хаотической воли выразиться и притом не ограничить себя образом и формою» (он же) – вот за счет чего она хотела лететь. Возможно, это та самая «энергия заблуждения», о которой писал Толстой.

Если результат готовности бляди – падение, то ее целью может быть невесомость. Расхожее убеждение в том, что невесомость возможна лишь в космосе, неверно. Там возможна длительная невесомость – не что иное, как свободное падение, когда падающий предмет промахивается мимо Земли.

Нельзя не видеть, что пик непонимания приходится на момент, когда блядь идет нам навстречу. Причина, по-моему, в том, что, пытаясь понять блядь и встать на ее место, мы разворачиваем лишь пространство. Но, когда Толстой писал, что у мужчин поступки вытекают из деятельности мысли, а у женщин деятельность мысли направлена на оправдание поступков – не имел ли он в виду, что надо разворачивать также время?

Развернем время бляди в обратную сторону – и последовательность ее действий будет коррелировать с братской:

1) «Выехав на дорогу, он придержал лошадь в нерешительности, ехать по ней или пересечь ее и ехать по черному полю в гору // *Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь; ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея?*»

2) «Пошел за мной», – проговорил он, пересек дорогу и стал подниматься галопом на гору // *Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая, взглянула на него испуганно-вопросительно и пошла к двери*».

3) «И не успел еще Ростов разглядеть что-то //, *что она не видела ничего* //, вдруг зачерневшееся в тумане, как блеснул огонек, // *Блестящие мужские глаза его так близки были от ее глаз* // щелкнул выстрел, и пуля, как будто жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха. // *Горячие губы прижались к ее губам, и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободною*».

4) «Ростов придержал лошадь, повеселевшую так же, как он, от выстрелов, и поехал шагом. // *Наташа, оживленная и тревожная, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселей, чем обыкновенно*».

5) «Ну-ка еще, ну-ка еще!» – говорил в его душе какой-то веселый голос. Но выстрелов больше не было. // *Наташа смотрела на толстую Georges...*» и т.д.

Если же одна из двух последовательностей перевернута, то, при попытке вычислить корреляцию получается свертка:

«И небо скрылось, свившись как свиток...»

«...точно ли это старуха?.. Пред ним лежала красавица, с растрепанною роскошной косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез».

Наконец, возможно, блядь оперирует вообще не с временем, а с частотой колебаний. Мы не видим этих колебаний, потому что у них спектральное представление! Частота – это соединение чащи и чистоты, так полюбившихся бляди. То есть дело не во времени, время – черт-те что; мы оперируем с *периодом*, т.е. берем колебание и заполняем его черт-те чем, – а они берут черте что и заполняют его колебаниями. Если колебаний одно или два, то никакой разницы; но надо учитывать, что у них оно может быть составлено суперпозицией множества эрогенных зон.

Тогда для взаимопонимания между мужчиной и женщиной надо переходить к двумерному представлению энергии в плоскости частота-время, которое через преобразование Фурье связано с функцией неопределенности. Для понимания бляди мужчина должен брать обратное пре-

** Не случайно одна знакомая писала мне, что когда мы будем светящимися вселенными, тогда все будет хорошо.*

образование Фурье. Теория гласит, что полное понимание невозможно, т.к. надо жить от минус бесконечности до плюс бесконечности; однако есть ряд способов выйти из тупика.

Во-первых, надо поднять редуцированные и найти носовые. Правильно делает Маркин, когда поет:

«А я тнк жднл, наденлсн и вернл...»

Во-вторых, у нас совершенно неудовлетворительная классификация. Не надо быть как Безухов:

«Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», – сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной».

Уже Левин разделял девушек – правда, как болезни в XIX веке – на чахотку и горячку, – на всех, кроме Кити, и Кити.

Катаев выделил еще «холеру» и «последний день парижской коммуны»; но наиболее интересующий нас тип чохом объединил в «ай-дабль-даблью».

Набоков успел развернуть нимфетку:

«Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была всегда: Лолита». (Неточность: нимфа в объятиях – это фр. oblation – дар).

Я бы обязательно выделил в отдельный тип вологжанок, по их способности давить змея: «Девки у нас хорошие, толстопятые», – писал Вас. Белов.

Вообще, если бы я составлял классификацию, то я бы вывел четыре ветви, исходящие от общего [n] – три русско-французские и одну англо-американскую; а в этих ветвях (разумеется, начерно, первое, что приходит на ум) –

а) yearn, e!, bien, блян, blend, блядь, лебядь;

б) ange, огнь, женщина, Жанна (д'Арк), Русь (жена Блока), вологжанка, просто жена, последний день парижской коммуны, баба, бесполое существо;

в) няня, синь, рублевская «Троица», три сестры, сестра милосердия, Соня, просто сестра, голубка дряхлая, сфинкс;

г) нимфа, нимфетка, Девочка в Шортах, Ло, Лола (у Есенина – Лала), Долли, oblation, холера (Долли Облонская), Валерия, Пассионария (Долорес).

Далее. Женщина многое теряет от того, что полагает сигнал равным нулю везде, кроме того сектора, куда она смотрит. А когда пытается заглянуть (как Наташа в IV томе), то при недостаточной гибкости видит (хорошо известное явление Гиббса) паразитные лепестки. Надо попробовать треугольное окно вместо прямоугольного, а также окна Бесселя и Баттерворта. Это мы должны делать сами, граждане ареопагиты, женщины не помогут – при Брежневе, я так думаю, математику нарочно скрывали от блядей.

Ведь Филолай не зря говорил: «Число есть душа гармонии». Почему Афродита родила Гармонию от Ареса, а не от мужа? Не потому, что Гефест был хромоног. Просто трое лучше, чем двое. Четверо – еще лучше. А если бы блядь знала эстетику бесконечных числовых структур – представьте, какой бы КГБ был тогда нужен.

Что касается обработки – дело облегчается тем, что появились методы высокого разрешения. Настоятельно рекомендую, граждане ареопагиты, статью С. Гуна, Д. Рао и К. Аруна из книги *VLSI and Modern Signal Processing*, вышедшую в 1985 году. Там прямо говорится: мы не разрешаем многого потому, что применяем старые методы обработки. В современной обработке для достижения бесконечности обязательно ангажируется модель.

Вспомните демонстрацию 22.8.93 г., когда девушки в мини-юбках прошли по сердцу Москвы под лозунгами «Модели не для постели». Они нас давно уже ждут.

Идея проста, как все гениальное. Если Her Ladyship не понимает мужских слов, то надо послать ей женские слова, а мужчину использовать в качестве промежуточного фильтра.

На вход мужчины должен поступать белый шум, т.е. шипение лебеди. Также подойдут:

Фр.: babil – детский лепет;
balbutiement – бормотание;
baliverne – бредни;
billevesйe – вздор;
Англ.: balderdash – галиматья, набор слов;
blab – болтовня;
blah – жарг. чепуха, вздор;
blether – вздор.

Задача фильтра – минимизировать взаимную информацию Кульбака-Лейблера таким образом, чтобы получающийся спектр был наименее предсказуемым (самым «белым»). Обработка сводится к решению уравнений Юла–Уокера. Корреляционная матрица при этом получается теплицевой, а для такого случая Левинсон нашел красивый алгоритм.

И я уверен, мы таким образом поймем друг друга.

Можно использовать две модели – к шипению (когда лебедь в России) добавлять ее песню из Америки, т.е. чистый тон. (Это все детально описано; см., напр., Pr. of the IEEE, № 4, Vol. 63 и т.п.)

А бояться вычислений не надо. Раскольников считал лепестки на обоях, Крис – пертурбации сателлоида; и вообще, это обычная практика тех, кто хочет убедиться, что он не сходит с ума.

II.

«Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать».
В. Набоков. «Лолита»

«Степан Аркадьевич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену».
Л. Толстой

Если девальвацию слова «блядь» еще как-то можно объяснить, то как слово «хер» стало матерным, – это вообще непонятно.

Дошло до того, что все флаги в морском своде можно назвать словами («Аз», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро» и т.п.) – а флаг, означающий «конец учений» – только буквой.

Хер – это та же самая буква, «23-я в русской азбуке, – пишет Даль. – Херить – перекрестить либо вымарать. Выхерить – зачеркнуть вкрест. У него ноги хером – противоп. колесом».

Изымая хер из художественной литературы, мы лишаемся редкой возможности соединения жеста и слова для выражения противоречий – именно такого соединения, которого нет ни в каком языке, и которое в поисках утраченного времени пытался найти отец Свана:

«Они сделали несколько шагов в парке, где было немного солнца. Вдруг г-н Сван, взяв моего деда рукой, воскликнул: «Ах! мой старый друг, какое счастье гулять вместе в это прекрасное время!.. Чувствуете этот легкий ветерок? Э, как ни говори, жизнь хороша все-таки, мой дорогой Амеде!» Внезапно воспоминание о мертвой жене вернулось к нему, и, будучи не в силах в момент остановить движение радости, он удовольствовался жестом...»

Хер – это то самое, из другого мира, что, как поет Ван Клиберн, «thrудно высказать и не высказать».

«...Все сущее есть в какой-то мере сущее, а в какой-то – не сущее, – говорит также Дионисий, – и поскольку оно отпало от вечного Сущего – его нет, но поскольку оно причастно бытию – оно есть, то есть все сущее всецело удерживает и сохраняет как бытие свое, так и не-бытие».

Хер указывает, что поиски утраченного времени бесплодны. Что надо как раз утрачивать время и искать поднесущую частоту. Если невозможна обработка на несущей.

В некоторых случаях – я согласен – можно обойтись без «хера», например, в выражениях: «*А хер ли?*» – поскольку его можно заменить более коротким «А что?» – или: «*Какого хера?*» – поскольку хер всегда одинаков, и неважно, какого именно. Однако без потери интонации и экспрессии нельзя передать сущность таких выражений, как:

1) «*захерачить*»;
2) «*ни хера (нет)*»;
3) «*все каштаны от мороза херакнулись*»;
4) «*один хер*»;
5) «*херово*».

«А если быть до конца откровенным, – говорит Дионисий, (как раз по поводу американцев, которые, как вы говорите, пока мы тут утрачиваем время, спят там под сенью наших девушек in blossom), – то необходимо признать, что даже противоборствующие Благу существа получают от него бытие и возможность противоборствовать, и, обобщая, можно сказать, что все существа, поскольку они существуют, блага по своей сути и исходят из Блага; если же они лишены Блага – они не блага, а потому и не существуют».

А «...то, что совершенно лишено каких-либо следов Блага, никогда и никоим образом не было, не есть, не будет и не может быть».

Разговоры с Андреем Пермяковым

Андрей ПЕРМЯКОВ – Максим АМЕЛИН

– Вы говорили о себе как о «стороннике идеи последовательной деградации культуры». Сейчас, когда очень многие считают, что в России происходит новый поэтический бум, эта теория в Ваших глазах неколебима?

– Конечно. Деградация культуры прослеживается на всех уровнях, и это неизбежный процесс, впрочем, его можно замедлить или ускорить. В современной России этот процесс заметно ускорился, и поэтический бум есть его прямое следствие. Если рассмотреть историю языков, то каждый предыдущий язык окажется сложнее языка последующего, так и в поэзии – каждая предыдущая поэтика сложнее последующей. Как на дереве, уже сформировавшемся, большая ветвь отрастает от ствола, у нее есть своя структура, но она неизбежно зависима от ствола и отличается от него отсутствием прямой связи с корнями. На ней появляются более мелкие ветки, которые в свою очередь дают множества веточек, устроенных все проще и проще. Но ничего не поделаешь, поскольку дереву надо расти, цвести и давать плоды. Теоретически можно попытаться отрастить новую ветвь от ствола, но подобное мало кому удавалось.

– Понятно, что поэты прошлого во многом остаются современниками, но может ли такой автор, оставивший заметный след в истории, «умереть»? Т.е. был, влиял, а теперь все? И есть ли случаи возвращений? Это в развитие идеи Элиота о том, что поэт чувствует себя современником всех когда-либо живших поэтов. Кто-то ж может умереть, раз живет одновременно с Вами?

– Серьезные стихотворцы всегда выстраивают свой пантеон, состоящий в основном не из ныне здравствующих, а из прежде бывших поэтов. Причем не застывший, а подвижный и живой. Прежде всего, он необходим стихотворцу для соревновательности, чтобы, как у Маяковского, ревновать

к Копернику, —
его,
а не мужа Марьи Иванны
считая своим соперником.

Проще говоря, поэтам неплохо бы ревновать к Гомеру, Данте и Шекспиру, а не к Пупкину, Мупкину и Дрюпкину. Иначе ничего хорошего у них не выйдет. Можно завладеть на некоторое время вниманием неискушенной публики, можно даже заморочить головы профессиональных

Максим АМЕЛИН – поэт, издатель, переводчик. Родился в 1970 году в Курске. Окончил коммерческий колледж, учился в Литературном институте. С 1995 года коммерческий директор издательства «Симпозиум». Работал в жюри литературных премий «Антибукер» (1999-2000), «Букер» (2003), Независимой литературной премии «Дебют» (2007). Занимается издательской деятельностью. Член Русского ПЕН-центра и союза «Мастера художественного перевода». Стихи, эссе и переводы печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Арион», «Новая юность» и других изданиях. Автор книг стихов «Холодные оды» (1996), «Dubia» (1999), «Конь Горгоны» (2003). Переводчик античной поэзии («Лирика» Гая Валерия Катулла, «Приапова книга», «Победные песни» Пиндара). Автор ряда статей и эссе о поэтах и поэзии. Составитель «Избранных сочинений графа Хвостова» (1997), одного из разделов поэтической антологии «Девять измерений» (2004) и «Антологии современной российской поэзии» (Пекин, 2006).Стихи переведены на немецкий, английский, французский, итальянский, польский, китайский, вьетнамский и другие языки. Лауреат премии журнала «Новый мир» (1998), независимой премии «Антибукер» (1998), поэтической премии «Anthologia» (2004), большой премии «Московский счет» (2004) и др.

ценителей, особенно когда их общий уровень понимания невысок, но если у стихотворца нет установки на создание «шедевра», то все это – ничто перед лицом Смерти. Я говорю не о физической смерти сочинителя, а о той смерти и том забвении, через которые неизбежно должны пройти его сочинения. И либо рано или поздно они воскреснут для новой жизни, либо нет. На многие десятилетия и века забывались произведения даже великих поэтов. Примеров этому множество: Катулл, которого заново открыли в эпоху Возрождения, Луис де Гонгора, которого начал пропагандировать в начале XX века Рафаэль Альберти, или Джон Донн, воскрешенный тем же Элиотом.

– Если взять более короткий промежуток времени, скажем, последние лет 20 и ограничиться только русской поэзией, то как изменился ее пантеон? Кто из признанных, великих авторов стал значить больше, кто меньше?

– Мой личный пантеон изменился достаточно сильно. Например, Пастернак, который мне нравился в ранней юности, для меня теперь совершенно не существует. У графа Хвостова есть такая притча «Туча, гора и куча». Идут двое, видят, что на них надвигается грозовая туча; они пугаются, что вымокнут до нитки, но движутся дальше. Потом оказывается, что это вовсе не туча, а гора; они пугаются, что не смогут ее перейти, но движутся дальше. И вот:

Где видели Кавказ и бурю грозну,
Нашли
Лишь кучу там навозну.

Я думал, что это моя оптика как-то изменилась, но когда прочел статью покойного Максима Шапира, понял, что это все-таки объективная реальность. Зато для меня за эти годы становился все более и более значим, например, Ходасевич. Вырос и Случевский, особенно после издания достаточно полного корпуса в «Библиотеке поэта». Скоро в ОГИ выйдет его том, после которого можно будет сказать, что все поэтические тексты Случевского наконец-то опубликованы. В свое время он повлиял почти на весь Серебряный век, но потом был забыт, а в советское время находился под негласным запретом. Теперь трудами Елены Тахо-Годи он воскрешен, и мне кажется, что значение этого русского Блейка будет осознано, и влияние он еще окажет колоссальное.

– Возврат к звучащему стиху: вечера, фестивали, как-то должен повлиять на развитие поэзии в нашей стране?

– Поэзия, на мой взгляд, совсем не буковки на бумаге, а звучащее слово. К сожалению, в поэзии нет такого разделения, как в музыке, на композиторов и исполнителей. Композитор сочиняет, а исполнитель доносит музыку до слушателя. Теоретически композиторы могут вообще не уметь играть ни на каком музыкальном инструменте. В поэзии так не бывает. У поэта нет исполнителя. Есть чтецы, которые совершенно не понимают, как обращаться со стихами, и лучше бы они их и не касались. Помню, как однажды на фестивале в Варшаве одно мое стихотворение читала актриса, – я слушал и думал, что сейчас я выйду и задушу ее шарфиком. Я удержался, но с трудом. Поэтому сам поэт должен обладать умением доносить свою поэзию до слушателя. Это – одна из его прямых обязанностей. При написании стихотворения автор обязан думать, как оно будет звучать.

– Татьяна Бек назвала Вас однажды «архаистом-новатором». На мой взгляд, это очень существенный момент: противостояние архаистов и новаторов в том виде, в каком о нем писал Тынянов практически исчерпано. Но именно противостояние всегда было и будет источником развития. Где сейчас может пролегать линия плодотворного разделения?

– Сейчас в поэзии, да и вообще в искусстве, нет больших идей. Все серьезные идеи в Россию приходили с Запада, и лишь переосмысливались на русской почве, подковывались как та блоха. Например, споры о языке и стиле начала XIX века, о которых писал Тынянов, были отголосками французского спора «о древних и новых». Едва ли не последней стоящей идеей вообще был

символизм, породивший у нас то, что теперь называется Серебряным веком со всеми его течениями от акмеизма до футуризма. После этого появился лишь постмодернизм, замечательный по сути, но попавший у нас на неподготовленную почву, отчего был профанирован и обессмыслен. Подозреваю, что расслабленный Запад больше ничего ценного нам не предложит, и придется выдумывать нечто свое, кустарное... Линий же разделения может быть много. Например, поэзия для произнесения и для чтения, для слуха и для глаз. Выдающимися, каждый по-своему, «произносителями» являются у нас Дмитрий Воденников и Андрей Родионов. Достижение ими определенных поэтических эффектов происходит не за счет особенностей языка и стиля, а за счет голоса и напора.

– В 2007 вы работали в жюри независимой премии «Дебют». Просматривается ли некая общность идей у тех, кто только-только вступает в литературу теперь, в конце первого десятилетия нового века? То есть: существует ли «Поколение Дебюта», о котором столько говорят?

– Я не сторонник деления на поколения. Поэтов не бывает много, тем более при полном отсутствии больших идей; они не родятся как поросята по десять штук в одном помете. Наличие достаточного числа людей, которые сочиняют нечто не совсем убогое, говорит только о том, что в России существует пока всеобщая первичная грамотность, а знание букв еще не стало привилегией немногих. Готов поручиться, что абсолютно все 28 авторов, из которых мне нужно было выбрать лауреата «Дебюта», по-своему талантливы. Но я не увидел ни одного законченного текста.

– Но авторов этого поколения наоборот чаще обвиняют в «сделанности»...

– Общим для всех молодых сочинителей недостатком является незнание и непонимание ими русской поэзии, а также отсутствие внятных эстетических принципов. Это хорошо видно по текстам дебютантов: они, в лучшем случае, знакомы со школьной программой и какими-то новомодными авторами, в основном интернетными. Мало написать более или менее удачно отдельно взятое стихотворение, важна попытка вписать его в контекст предшествующей русской поэзии. Ей уже, как минимум, 400 лет, если не брать в расчет фольклор и духовную поэзию. Она давно сформировалась и похожа на разросшееся дерево (если развернуть другую «древесную» метафору), быть может, кривое и косое, но ничего с ним поделать уже нельзя – поздно, надо понять, как оно устроено, из чего состоит, какие соки его питают, чтобы впустую не заниматься мичуринскими экспериментами. К сливе не привьется капуста брокколи, а к осине ананас. Напрасно втыкать в него инородные черенки. Они отторгнутся.

– Вообще, премия «Дебют» во благо или во зло? Скажем, родись Вы на пять лет позже, и могли бы ее получить. Что-то могло измениться, если бы Вашими первыми литературными наградами стали не «Антибукер» и премия «Нового мира», полученные в 28 лет, а «Дебют» года в 22-23?

– Никогда я об этом никому не рассказывал, но здесь, пожалуй, будет уместно. Когда мне было 22 года и я учился в Литинституте, издательство «ПИК» (было тогда такое) объявило литературный конкурс, и я выиграл Мандельштамовскую премию. Это была довольно солидная награда – 1800 еще советских рублей плюс публикация стихов в «Московском комсомольце», тогдашний тираж которого был несколько миллионов экземпляров. За год до меня, кстати, лауреатом этой премии стал Виталий Пуханов. Ни со мной, как видите, ни с ним ничего плохого не произошло. На меня никак это событие не повлияло. Но вообще – я противник столь ранних наград, потому как знаю, что далеко не каждый способен стоически пройти даже сквозь микроскопические медные трубы. Впрочем, премия «Дебют» определенную функцию выполняет. Ее задача искать и находить будущих писателей. Возможно, из лауреатов и «короткосписочников» всех лет в литературе останутся три-четыре человека, но они, тем не менее, останутся. Когда я был в жюри, наиболее эстетически внятным мне показался Владимир Кочнев, который и стал лауреатом. Не знаю, как и в какую сторону он будет двигаться дальше, но я уверен, что никакие трубы ему нипочем.

– Ваша предыдущая книга «Конь Горгоны» вызвала весьма бурные споры и привела к Большой премии «Московский счет». Это (не премия, а прежде всего книга) стало каким-то личным этапом, что-то изменилось в поэтике, в воззрениях?

– Каждая книга для меня – иная поэтика, хотя между последующими и предшествующими проложены некие мостки. Это как разные комнаты в одном здании. Поэт не может до полной неузнаваемости изменяться. Хотя и такие случаи известны. Например, некоторые средневековые японские поэты известны под разными именами, почувствовав, что одна поэтика закончена, они меняли имя. Или Фернандо Пессоа, который один создал едва ли не весь португальский модернизм – 15 абсолютно разных поэтов, от деревенщика до урбаниста, от традиционалиста до крайнего авангардиста, нескольких прозаиков. Все равно как, если бы вдруг выяснилось, что Мандельштам, Ходасевич, Кузмин, Клюев, Нельдихен, Маяковский и Цветаева – на самом деле один человек. Я же перед собой подобных задач не ставлю, но писать одинаковые стихи мне абсолютно не интересно.

– Что-то осталось недопроявленного в русском языке ранее XVII века, что может напрямую повлиять на современную литературу, или уже будет необходим перевод? Скажем, Житие Аввакума людьми, имеющими качественное гуманитарное образование, может быть понято и в значительной мере принято. А то, что было раньше – это совсем другой язык?

– Литература XVII века очень разная. Житие Аввакума, например, начинается с полной абракадабры, с цитат из церковнославянских книг, а потом он медленно, но верно переходит едва ли не на разговорный язык. Кстати, просторечие с того времени почти не изменилась. Я недавно читал допросы монахов и защитников Соловецкого монастыря после взятия крепости в 1676 году, и меня поразило то, что монахи писали цветисто, а простые ратники – как будто вчера их допрашивали в отделении милиции. Просто стилей тогда было больше. Симеон Полоцкий, современник Аввакума, вообще писал не на русском, а на неком диалекте церковно-славянского языка. Первым поэтом, сделавшим русский поэтическим языком, был Антиох Кантемир. Кстати, давно пора взглянуть на силлабический стих, данный в сочинениях и переводах и обоснованный в его теории, новыми глазами. Мне кажется, у него есть будущее, и даже, может быть, большое, особенно это касается нерифмованной силлабики. В США, например, многие современные поэты, устав от верлибра, обратились к силлабическому стиху.

– Радикализмом в «радикальные девяностые» оказалось Ваше обращение к прошлому. Что может стать радикальным теперь?

– Я не вижу в обращении к прошлому ничего радикального. Мне кажется, что русская поэзия к концу XX века дошла до точки осознания самой себя как единого целого. А это предполагает пересмотр всего, что было в ней сделано, под новым углом зрения. Единственной оригинальной философской концепцией, которая родилась на русской почве, стала «Философия общего дела» Николая Федорова, и связана она с идеей всеобщего воскресения. В какой-то мере я просто попытался применить эту идею к поэзии, ничего больше. Что выразилось в обращении к забытым поэтам, в определенном отношении к языку и стилю, в жанровых и формальных экспериментах. Если это и радикализм, то внутренний. А внешне радикальным явлением я воспринимал и воспринимаю, например, Кирилла Медведева. Его поэтика, опирающаяся на опыт некоторых американских поэтов второй половины XX века, в том числе опыт прозаиков, пишущих стихи – прежде всего, Берроуза и Буковски, смотрелась крайне неожиданно, но вскоре стала мейнстримом и открыла дорогу тысячам стихоплетов, ничего не ведающих об истоках. Что могло бы стать радикальным сейчас? Да все, что угодно. Например, если бы какой-нибудь поэт записал вдруг нерифмованной силлабикой, о которой я говорил. Или индивидуальными строфами, скрытая возможность использования которых существует у нас с начала XIX века. Это выглядело бы абсолютно ново и неожиданно. Не бывает крупных поэтов без формальной новизны, об этом говорит весь опыт мировой поэзии. Крайне любопытными мне казались опыты Игоря Вишневецкого и Данилы Давыдова писать сапфическими строфами, например. Были бы интересны эксперименты

с народным стихом, если бы кто-то поставил перед собой такую задачу. Для этого нужны широко мыслящие и деятельные (не в смысле карьеры) поэты. В поэзии выигрывают не спринтеры, а стайеры – не те, кто быстрее всех пробежит стометровку, а те, кто принесет весть в Марафон, чего бы это ни стоило.

– Приведу цитату из Вашей давней статьи: «У поэзии есть враги, внешние и внутренние. К разряду внешних можно отнести филологов и историков литературы. Прежде всего поэзию стоило бы защитить от воинствующих филологов. Поэзия, как никакое другое искусство, своим существованием доказывает бытие Божие. Филология же, как никакая другая наука, особенно на протяжении последнего столетия, безуспешно, но с особым рвением стремится доказать обратное...» – Ваше мнение на этот счет осталось прежним? Т.е. совмещение ролей филолога и критика – это зло?

– Филология и критика занимаются принципиально разными вещами. Если сравнить с медициной, то филолог – патологоанатом, а критик – участковый терапевт. Первый занимается мертвыми авторами и завершенными поэтиками, а второй – живыми и, соответственно, подвижными. Например, рано умершим Борисом Рыжим уже несколько лет активно занимаются филологи (вышли две биографии в России, одна в Голландии, пишутся научные статьи, защищаются диссертации), а здравствующими, скажем, Иваном Волковым или Григорием Петуховым – должны были бы заниматься критики, да только не делают этого. Почему? – По недомыслию и лености, потому что больше всего нынешних псевдокритических статей пишется о том, что плавает на поверхности и прет изо всех щелей. Точно такая же у нас и филология: она в основном исследует уже исследованное вместо того, чтобы заниматься неисследованным, как это делается на Западе. Оттого-то у нас почти никому не известна и толком не издана поэзия XVII и XVIII веков, плохо исследован XIX век, более-менее сносно объяснены и изданы лишь Пушкин и некоторые поэты русского модернизма начала XX века. Будь я главврачом, я бы таких патологоанатомов уволил без выходного пособия, да где взять других. Я считаю, что это – наша беда, поскольку отсутствие текстов предшествующих поэтов в активном употреблении вредит развитию поэзии современной. В принципе, хороший филолог и хороший критик в одном лице, хотя и с трудом, но сочетаться могут, и сочетание это может дать интересные результаты. Многие нынешние критики лишены методологии, и как следствие глубины понимания текста. В то же время случаются и казусы – например, пресловутый 62-й номер НЛО, где филологи сели в лужу, попытавшись принципы, которые они применяют к исследованию мертвых поэтов, применить к живым. Думаю, что в сложившейся ситуации, когда критиков в области поэзии вообще мало – их можно пересчитать по пальцам, и в основном они обслуживают отдельные группы и поэтические объединения, а есть и «монопоэтные» критики, их роль должны на себя брать сами поэты, как это было и сто, и двести лет назад.

– И вторая цитата из той же статьи: «Несмысленные поэты – порча поэзии изнутри. В результате массового притока в литературу малообразованных искателей привилегий у читателей отбит вкус к истинной высокой поэзии. Стремления ко мнимой понятности, призрачные старания не отрываться от народа привели к упрощенчеству». – Вроде бы сейчас немногие пишут «в простоте». Скорее можно обвинить в чрезмерной усложненности. Вы, последовательный сторонник культурного регресса, как оцениваете прошедшее десятилетие?

– Сказанное мной 10 лет назад в основном относилось к советской поэзии и к ее тяжелому наследию, до сих пор не преодоленному. Сейчас пишут, может быть, чуть посложней – у Бродского и Цветкова чему-то да научились, а вместо повернутых на 90 градусов схем с прямоугольниками четверостиший все чаще приходится видеть рваные графики мнимых верлибров, но в целом ситуация не поменялась. Из поэзии ушла ремесленность. Я говорю не об умении написать сонет или рондо. Почему-то у нас именно это, видимо, со времен «Цеха поэтов» считается мастерством. Уверяю, никакого мастерства тут нет, это абсолютно бессмысленное занятие. А вот жанры, например, не пустой звук. Я говорю все время о формальной стороне поэтического дела, потому что

не считаю, что тому, кому нечего сказать, вообще стоит им заниматься. Существует множество разных других занятий. Что же касается первого десятилетия XXI века, то оно, прежде всего, еще не закончилось, а его итоги будут подведены минимум лет через 20-30. Можно даже устраивать тотализатор – что останется от этого бурнокипящего бульона? Современникам, увы, недоступен взгляд на ситуацию сверху. И Мандельштам, и Ходасевич, например, в 1910-1920-е годы казались третье-, если не двадцатистепенными поэтами, и уж точно не были у всех на устах и на слуху.

– Что остается в переводе?

– В плохом поэтическом переводе может и ничего не остаться, а в хорошем в любом случае что-то да остается, иногда – довольно многое. Единственное, что теряется всегда – фонетическая структура. Я, кое-что понимая в том, что такое переводы, стараюсь их не читать. Читать стоит оригиналы, хотя никто не может знать все языки на свете. Но ради чтения некоторых поэтов без посредников стоило бы какие-то и выучить. Какого рода задача стоит перед переводчиком поэзии? Допустим, есть некий мраморный храм, построенный на скалистом острове посреди Эгейского моря в минус V веке, а необходимо построить такой же на Русском Севере. Как ни упирайся, казалось бы, все равно выйдут деревянные Кижи. Но хороший переводчик все же может найти наиболее сходный ландшафт, добиться некоторого внешнего и внутреннего сходства, однако не более.

– Недавно Вы ездили по многим городам России с литературным экспрессом... Насколько страна осталась литературоцентричной?

– Россия по-прежнему достаточно литературоцентрична, во всяком случае, у меня сложилось такое ощущение. На выступления приходило довольно много людей с умными лицами, вполне осведомленных о том, что происходит в столице, задавались интересные вопросы. Многие вещи они видят точнее: кто голый король, кто одетый. Но в целом, конечно, на общую массу населения страны, которой правит царь-телевизор, современная литература не оказывает и не может оказывать никакого влияния. Сейчас наиболее активные люди стараются всеми правдами и неправдами сбежать в Москву, тем самым сильно ослабляется региональная элита. Я терпеть не могу слово «провинция», потому что в России нет провинций, как в Древнем Риме, но существуют регионы. Вообще, страны бывают двух типов: центростремительные и центробежные. Яркие примеры первых тот же Древний Рим, Франция и Россия, вторых – Древняя Греция, Италия и Германия. Это два абсолютно разных типа мышления. Однако иногда противоположно направленные тенденции могут в них проявляться. Например, объединение Италии и Германии во второй половине XIX века, или бурное развитие регионов во Франции и в России в то же самое время. Советская власть «опустила» регионы и снова усилила роль столицы, даже Питер сделав «провинциальным» городом, и утвердила ее исключительность в сознании граждан. Надеюсь, что кто-то из государственных мужей все же об этой проблеме задумывается хоть на минуту, и не все еще потеряно.

– На ваш взгляд, поэтические вечера – это явление литературное или скорей имеющее отношение к культуре в широком смысле?

– Поэтический вечер – своего рода ритуальное действо, во всяком случае, так должно быть в идеале. Он должен состояться, даже если никто не пришел, или пришел один человек, Можно читать и птицам, как Франциск Ассизский. На вечера у нас приходит одна и та же публика, в основном, та же самая поэтическая братия. Я думал, что только с поэзией это так. Но в позапрошлом году организовалось сообщество современных композиторов, пишущих неатональную музыку. Я совершенно случайно увидел объявление в Интернете, с удовольствием сходил на этот вечер и понял, что композиторские вечера ничем не отличаются от поэтических. Я был единственным некомпозитором, а обыкновенным слушателем, который там был и никого из них не знал. Искусство окончательно вытеснено на обочину общественного сознания, во всяком случае, в столице. Голос Муз в современном мире заглушается не грохотом пушек, а звоном монет и шелестом купюр.

Андрей ПЕРМЯКОВ – Юрий ЦВЕТКОВ – Данил ФАЙЗОВ

– Не секрет, что публика на фестивалях и разных мероприятиях состоит из поэтов чуть менее, чем полностью. Вообще, это нормально: так постепенно в орбиту вовлекаются новые имена – пришел, послушал, да, мне это интересно, о! и я так могу... Но нет ли признаков коллапса, замыкания на себе? Скажем, сколько новых имен вы открыли за последний год?

Юрий Цветков: Я скажу то, что уже неоднократно озвучивал. Казалось бы, как куратор литературных программ, я должен стремиться к тому, чтобы на наши вечера приходило как можно больше людей. Однако я скорее опасаюсь этого и могу объяснить почему. Опыт мировой и российской поэзии, последний такой яркий пример – Серебряный век, показывает: в неблагоприятные для жизни времена литература чувствует себя хорошо. Вот и в девяностые годы в России не было работы, не было денег, система ценностей перевернулась с ног на голову, а с поэзией все было в порядке. По-моему, импульс, заданный в предыдущее десятилетие (очень важное время), был настолько мощным, что его хватило и на нулевые годы. Так что интересные процессы происходят и сейчас. Но как только мы приведем на выступления поэтов массу людей, а масса, как известно, это касса, тут же появятся деньги, пристальное внимание СМИ, все сразу исчезнет или, по крайней мере, перестанет развиваться. Иначе будет то, что теперь происходит, на мой взгляд, с театром, кино, другими видами искусства. (Деньги есть, разговоров много, а факта искусства нет.) Либо на поэзию обратят внимание политики, государство снова займется разделением на главных и неглавных поэтов. Возникнет очень опасное положение. Во всех этих вопросах нужно сохранять некую золотую середину. Пока ситуация замкнута на себя, она честна. Хочу заметить, что я отнюдь не являюсь адептом «башни из слоновой кости», пытающимся не допустить к поэзии «непосвященных». Приучать читателя (в том числе и массового) к поэзии нужно, но делать это стоит тонко и осторожно, чтобы не навредить.

Что касается новых имен, то мы так вопрос не ставим. Поэт – дело штучное. Мы же не «Фабрика Звезд».

Данил Файзов: Вообще, по опыту организации и участия во многих мероприятиях могу сказать, что ситуация в Москве, где очень много авторов и на литературные вечера действительно в основном приходят литераторы, и ситуация в регионах – в Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде – отличаются разительно. Там на выступления авторов приходит как раз очень много слушателей, непишущих людей.

Юрий Цветков: Я бы здесь поспорил. Действительно, процентное соотношение там чуть сдвинуто в сторону слушателей, но преобладают все-таки поэты. И это очень хорошо, что профессиональная среда имеет возможность плотно общаться.

Если все-таки вернуться к проблеме открытия новых имен... Я всегда говорю, что «КИ» не оценивает автора, а представляет. При этом я понимаю, что немного лукавлю. Приведу сравнение,

---

Юрий ЦВЕТКОВ – поэт, журналист, литературный деятель. Родился в 1969 году в Кишиневе, окончил факультет журналистики Кишиневского государственного университета и Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Татьяны Бек и Сергея Чупринина) в Москве. В 2004 году вместе с Данилом Файзовым придумал проект «Культурная инициатива», проводящий литературные вечера на различных московских площадках. Как поэт и куратор участвовал в многочисленных московских и региональных поэтических фестивалях и книжных выставках. Публиковал стихи и статьи в периодических изданиях: «Независимая газета», «Кольцо А», «Воздух», «Октябрь» и др.

Данил ФАЙЗОВ – поэт, литературтрегер. Родился в 1978 году в городе Игарка Красноярского края. С 6 лет жил в Вологде, с 20 – в Москве. Окончил Литературный институт (семинар Татьяны Бек и Сергея Чупринина). Стихи публиковались в журналах «Арион», «Новый мир» и др. В 2007 году вышла первая книга стихов. Работал в московской системе клубов ОГИ-Пироги-Билингва продавцом книг и товароведом. Вместе с Юрием Цветковым организовал проект «Культурная инициатива».

вероятно, не очень корректное, но вполне точное. Я похож на неверного мужчину, меняющего любовниц. Вы понимаете, что «я» в данном случае не персонально Юрий Цветков, а «Культурная инициатива». Я нахожу некоего поэта, который мне понравился, и начинаю каким-то образом его вытаскивать, показывать Москве, делать ему вечер за вечером. К примеру, в 2003 г. я увлекся Андреем Родионовым. В 2004 г. «Культурная инициатива» первой в Москве сделала вечер Алексея Цветкова после 17 лет его молчания. Некоторое время назад у нас очень часто выступал Борис Херсонский. Действительно, отличный поэт... Потом появился Федор Сваровский, за ним Николай Звягинцев с новым циклом, после «Улья» – Ирина Ермакова. Я, как и положено неверному мужчине, бросаю один предмет увлечения и занимаюсь следующим. Последнее такое открытие, наверное, Дмитрий Веденяпин, поэт не новый, но который очень интересно работает. Завершая эту тему, скажу: я честный любовник в том плане, что все свои любови я продолжаю опекать.

Намеренно не говорю здесь о молодых, чтобы не раздавать авансов. Хотя мы видим все молодые силы, двигающиеся сегодня в поисках собственного художественного языка в самых неожиданных направлениях. К тому же мы плотно работаем с молодежными премиями «Дебют», «ЛитературРентген», т.д. А вообще я склонен оценивать автора без оглядки на возраст – теория о вертикальном поколении. Если я вижу юного, а он по мастерству вровень (или потенциально вровень) с маститым, я готов признать этот факт без всякой оглядки на регалии.

Данил Файзов: У меня с новыми именами в последнее время несколько хуже. Зачастую нравятся отдельные стихи давно любимых поэтов, от которых, может быть, и не ожидал взрыва и всплеска. Например, книга «Трава и дым» Дмитрия Веденяпина, которого уже упоминал Юра, мне казалась, возможно, немного однообразной. А последние пару лет, следя за его публикациями, новыми стихами, я изменил свое мнение и его новой книги жду с огромным нетерпением.

Сотрудничество с премиями «Дебют и «ЛитературРентген» дает достаточно молодых имен. Можно назвать Екатерину Соколову, Наталию Боеву, Дмитрия Машарыгина – у каждого из них собственная яркая творческая манера.

– Деятельность вашей группы достаточно долго была связана с системой ОГИ. Теперь многие из этих кафе закрыты. Когда и если все ОГИ снова откроются, вы будете стремиться к еще более широкому охвату площадок или останетесь в некоторых рамках?

Юрий Цветков: Отвечу коротко: мы вышли из ОГИ. Во всех смыслах...

– В какой мере нынешний поэтический бум – заслуга Интернета?

Данил Файзов: Что мы подразумеваем под бумом? Наличие большого количества поэтов и большого количества качественных текстов, которого не было очень давно? Да. Определенная заслуга Интернета здесь есть, но эта заслуга двоякая: с одной стороны, польза, с другой – несомненный вред. Человек, написавший стихотворение, немедленно вывешивает его в свой блог, получает двадцать или пятьдесят восторженных отзывов от друзей и останавливается в своей работе. Это, на мой взгляд, не оченьхорошо. Web 2.0 идеальным образом совпадает с такой вещью, как авторское честолюбие. С другой стороны, конечно, благодаря Интернету мы можем гораздо лучше представлять себе, что сейчас пишут поэты, проживающие во Владивостоке, Нью-Йорке или Иерусалиме, а это для нашей работы точно плюс.

Юрий Цветков: Я не раз повторял фразу: в России происходит поэтический бум, не замечаемый основным населением страны. Возможность говорить эту фразу мне, в том числе, дает интернет. Да, в интернете есть отдельные сообщества, интересующиеся поэзией, а за их пределами никто ничего об этом поэтическом буме пока не знает.

– Способен ли фестиваль поэзии изменить литературную ситуацию или он возникает, когда все уже созрело для его появления? Т.е. как чаще возникают фестивали: как

свидетельство того, что город «готов», или сначала фестиваль, затем – формирование среды?

Данил Файзов: Без среды формирование фестиваля невозможно. Я, как человек задумавший фестиваль «М-8» в Вологде, проводимый «Культурной инициативой», знал, что там есть авторы, которых мне хотелось показать каким-то московским гостям, чтобы они их услышали. И, конечно, чтобы эти люди, которые зачастую варятся в собственном соку, имели возможность максимально широко познакомиться со всем спектром современной хорошей поэзии. Прожив в Вологде некоторое время, я знал, что там есть поэтическая среда. Без нее существование фестиваля все-таки невозможно.

Юрий Цветков: Региональные фестивали должны быть саморегулирующейся системой. Все проводимые на сегодня фестивали были «движением снизу» и начинались они действительно после того, как в регионах стало что-то происходить.

– Нужно ли увеличение числа всероссийских поэтических фестивалей? А региональных?

Данил Файзов: А у нас нет ни одного общероссийского поэтического фестиваля. Из больших фестивалей могу назвать Международное поэтическое биеннале в Москве, но у него другая направленность. Больше ни в Москве, ни в России подобных фестивалей нет.

На очень хорошие крупные фестивали, проводящиеся в Санкт-Петербурге, региональных поэтических столицах: Нижнем Новгороде, Саратове, Калининграде, Екатеринбурге приезжают участники, скажем, из десятка городов. Но по многим причинам организаторы фестивалей, проводимых в европейской части, не могут позволить себе привозить поэтов из Сибири и с Дальнего Востока. У нас большая страна, поэтому каждый из фестивалей занимает свою нишу.

Нужно ли дальнейшее увеличение региональных фестивалей? Я не знаю. Если бы у нас одним из центров поэзии был, скажем, Ростов-на-Дону, я был бы рад проходящему там фестивалю. Однако, поскольку там почти ничего не происходит и ярких новых имен оттуда мы не слышим, то, наверное, это пока не нужно.

Юрий Цветков: Что касается Всероссийского фестиваля: мне кажется, он очень нужен, однако неясно, кто за это возьмется, где найти денег на такую махину, и, кроме того, надо учитывать, что руководство таким фестивалем – работа очень неблагодарная. Окажется огромное количество недовольных, ибо всех пригласить невозможно, а критерии отбора будут неясными. Я не вижу институции, способной взяться за это и сохранить объективность.

– Многие ли авторы, регулярно читающие на ваших вечерах, пришли через региональные фестивали?

Юрий Цветков: Таковых немало, но дело не в этом. Всех авторов и их тексты мы обычно заочно знаем, во многом благодаря рекомендациям знакомых литераторов, интернету и т.д. Но тут очень важно непосредственное общение. Часто из личности поэта N, его манеры чтения, ночных споров о жизни и литературе ты понимаешь, случаен автор или нет. В Москве из-за рутины часто глаз замутнен. А на выезде, когда ты расслаблен, отдыхаешь, знакомишься с городом и людьми, появляется другой угол зрения. Мы туда за этой атмосферой и едем.

Данил Файзов: Как правило, мы достаточно часто находим на региональных фестивалях интересных местных авторов – тех же молодых нижегородцев: Евгению Суслову, Марию Ташову, Дмитрия Зернова. Иногда мы заранее знакомы с этими людьми, иногда – только с их текстами. Абсолютно неизвестный автор – редкость. Случаются и забавные казусы, например, москвичку Таню Данильянц, пишущую верлибры, лично я впервые встретил на фестивале в Нижнем Новгороде. Но это, конечно, исключение.

– Литературные группы в России – это прошлое? Ну, допустим, в США их много, но, например, Алексей Алехин говорит, что это не группы, а вариант приуниверситетских ЛИТО с собственными изданиями. У нас реальные группы есть?

Данил Файзов: Естественно, литературные группы у нас есть и будут всегда. Просто в силу извечной тяги русского человека, особенно творческого русского человека к тому, чтобы найти единомышленника, сесть с ним за стол, что-то обсуждать и выпивать. Это никуда не денется. Группа «Алконостъ» существует двадцать лет, все ее участники друзья и довольно близки по поэтике. Долгое время достаточно плотной группой был «Осумбез» («Осумасшедшевшие безумцы»), ныне распавшийся. Наверно, нельзя в чистом виде назвать литературной группой сетевой проект polutona.ru, поскольку на их сайте зачастую публикуются эстетически далекие авторы, но ядро «Полутонов» составляет арт-группа «РЦЫ» (Павел Настин, Ирина Максимова, Юлия Тишковская, Евгений Паламарчук), которую объединяет эстетическая близость и товарищеские отношения.

Юрий Цветков: Склонность образовывать группы, конечно, есть, но в большей мере это свойство молодых. Как только поэт приобретает собственное значение, он, как правило, пытается из всего этого выйти. Примеры известны... Но это кучкование на определенном этапе вполне понятно. Вместе легче выжить.

Сейчас все литобъединения строятся на факте личной дружбы, приязни. Там нет каких-то эстетических заявлений или манифестов, как было в прошлом.

В свое время мы тоже пытались объединить авторов в группы. Это было, когда мы проводили ставший уже легендарным командный чемпионат Москвы по поэзии. Мы пригласили «Алконостъ», «Осумбез», «Полутона», но некоторые группы пришлось придумывать, создавать специально – например, «Прагмагерметики» (долгие наши переговоры с Виталием Пухановым). Или блестяще выступившая «Сборная толстых журналов». Однако это искусственный, несколько игровой опыт, интересный скорее для зрителей.

– Когда-то толстые литературные журналы были не только литературным, но скажем так, культурным явлением. Теперь как культурный феномен они малозаметны. Роль их в литературе, опять-таки, в частности, в поэтической ее составляющей важна? Будет ли она расти или падать?

Юрий Цветков: Я считаю толстый литературный журнал уникальным русским явлением, которого больше нет нигде в мире, и это явление надо сохранить обязательно, потому что такие журналы как «Знамя», «Октябрь», «Новый мир» и др. в некотором роде наследуют большой культурной традиции. Да, в «перестроечные» времена они возвращали литературу, их читала вся страна, у них были сумасшедшие тиражи и огромное влияние в обществе. Наверное, в это качество им уже не вернуться, но то, что они существуют – это прекрасно.

Данил Файзов: Хорошо, что такие журналы есть не только в Москве, но и в провинции. Например, «Волга» и «Урал», дающие нам представление о том, что происходит в регионах. Я очень рад, что «Волга» возродилась после нескольких лет небытия. Кроме того, печатный журнал остается определенным средством легитимизации автора. У нас была достаточно смешная история. Периодически нас донимают графоманы, выпустившие за свой счет несколько книг. Люди эти хотят сделать у нас презентацию. Отказывать неудобно, поскольку часто это пожилые, уважаемые господа. И вот однажды Юра сказал одному такому дедушке замечательную фразу: «Скажите, а Вы печатались в «Новом Мире»?» Человек взял свои книги, развернулся и ушел. Больше мы его никогда не видели.

– Какую из нынешних литературных премий (в отношении поэзии, конечно) вы считаете наиболее репрезентативной?

Юрий Цветков: По моему мнению, каждая из существующих премий занимает свою нишу. Есть премия «Поэт», вручаемая за заслуги: абсолютно прекрасная премия – и в материальном, и в любом другом смысле. Есть не менее прекрасная премия «Московский счет»: цеховая с правильной системой голосования и очень интересной внутренней интригой. Я слежу за ней с очень большим интересом. Есть авторитетная премия Андрея Белого, в прошлом андеграундная. Она принципиально не имеет материального выражения – лауреат получает один рубль, яблоко и бутылку водки. С премиальным прозаически пулом, чего уж замалчивать, не все так хорошо. Но это тема отдельного разговора.

Данил Файзов: Существуют уважаемые журнальные премии: «Нового мира», «Октября», «Знамени», но эти премии занимают собственные ниши и вручаются за лучшие подборки в течение года именно в этих изданиях. Для Москвы самой репрезентативной премией, наверное, является «Московский счет»: в рамках этой премии оцениваются все изданные в Москве за год поэтические книги.

– Насколько велика роль Литературного института в формировании нынешней поэтической картины?

Юрий Цветков: Трудно быть объективным, учитывая, что мы с Даней его окончили.

Данил Файзов: Мне кажется, что критика, направленная в адрес Литинститута, чрезмерна. Интересных, хорошо работающих поэтов десятки, если не сотни, при этом из них в Литинституте училась, насколько мы знаем, значительная часть. Мы ежегодно проводим мероприятие «Летняя сессия», куда приглашаем талантливых поэтов, окончивших нашу Альма-матер.

Юрий Цветков: Мы даже придумали этот вечер потому, что в последние годы отношение к выпускникам Лита в профессиональном сообществе весьма снисходительное, как к чему-то второсортному. Однако если мы посмотрим список выпускников, начиная с тридцатых годов до наших дней, то увидим там массу прекрасных поэтов, от Сергея Михалкова, как бы к нему не относились современники, до Беллы Ахмадулиной, Маши Степановой, Юлия Гуголева и др. Через Литинститут прошло много интересных и разнообразных поэтических сил. Другое дело, что с Литературным институтом что-то случилось в последнее время. Он уже не играет той роли, какую играл раньше. Говорят, на некоторые отделения в последние годы постоянный недобор – это в ВУЗе, который раньше считался престижным. Туда просто не хотят идти.

Данил Файзов: Совсем неплохо, если человек из провинции может пять лет жить в Москве, посещать литературные мероприятия, получать гуманитарное образование. А ряд педагогов Литинститута я вспоминаю с огромной нежностью. Прежде всего, это наши мастера, Татьяна Бек и Сергей Чупринин. Замечательная кафедра Современного русского языка, Наталья Георгиевна Михайловская, Татьяна Евгеньевна Никольская, многих еще можно вспомнить.

– Зачем вообще люди становятся кураторами, литературтрегерами? (оба слова многим не нравятся но они достаточно точно отражают суть). Показательно, что этот вопрос взят из ЖЖ Саши Петрушкина, вообще-то, довольно известного куратора. Он на него не ответил.

Юрий Цветков: Эта область деятельности, разнообразные названия которой мне тоже не нравятся, появилась в последние два десятилетия. Говорят, будто кураторы заменили собой литературных чиновников, но тут я возражаю: чиновники могли раздавать материальные блага, наши возможности в этом плане скромнее, хотя кое-что и мы можем. Почему начинаешь заниматься этим? Ну, лучшие кинофестивали устраивают режиссеры, лучшие выставки – художники, лучшие музыкальные фестивали – музыканты. Человек, занимающийся определенным видом деятельности, разбирается в этом лучше. Пишущие люди просто вынуждены заниматься организацией

литературного процесса, не привлекая профессионалов в кавычках. В самом деле, не звать же менеджеров культуры, слышал, в Москве таких теперь выпускают.

Данил Файзов: И, кроме того, нам все это просто нравится, мы любим поэзию, любим общение с интересными людьми. Нам интересно слышать живую поэтическую речь. Ко всему прочему, у нас самих таким образом складывается более полное представление о современной поэзии.

– Проекту «КИ» исполнилось 5 лет. Создавая проект в 2004 г., вы ставили какие-то долгосрочные задачи, и если да, то насколько они реализованы?

Юрий Цветков: Никаких глобальных задач мы не ставили. Нам хотелось сделать большую, демократичную программу, которой не было в Москве. Подразумевался еще и просветительский аспект. Тем более, у меня удачный возраст, я вроде еще понимаю молодых и хорошо знаю старшее поколение, которое хочется показать молодежи, а наиболее одаренных ребят – «старикам». С тех пор мы кропотливо создаем пространство литературного бытования. Как сказал Дмитрий Кузьмин, «КИ» представляет современную поэзию фронтально, от края до края. Это не значит, что мы позволяем тянуть в свои программы всякую ерунду, но нам хочется дать возможность составить впечатление о текущем литпроцессе. Поэтому, когда через некоторое время я стал встречать в разных статьях высказывания о нас вроде «организовывают чтения и посиделки, да так культурно-инициативно, что все это уже приобретает статус литературной жизни» или «неужели «Культурная Инициатива» возомнила себя литературным процессом», то очень удивлялся. Потому что понимал, что процессом, казалось бы, должны заниматься толстые журналы, литературные премии, критики, филологи. Одним словом, гуманитарии, коими, скромно замечу, мы тоже являемся. Опять же, сошлюсь на Дмитрия Кузьмина. Он сказал мне: «Юра, неважно, как ты очутился на этом месте, важно, что теперь с этим делать». И привел свою любимую цитату из «Алисы»: «Для того чтобы стоять на месте, надо бежать изо всех сил», и добавил: «чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». А вообще когда мы начинали свою программу, мы не ожидали такого резонанса.

– У вашей группы масса разных проектов. Можете выделить один-два самых любимых и, соответственно, одну-две самых любимых площадки?

Юрий Цветков: Все наши проекты нам очень дороги, не хотелось бы что-то выделять. Напомню: изначально концепция «Культурной инициативы» предполагала, что у нас нельзя выступить просто по желанию. Нужен информационный повод – для писателя это выход книги, юбилей и т.д. Потом мы решили, что таким образом суживаем программу, упускаем много интересного и важного. Так родились циклы, тематика которых была подсказана самими особенностями литературной жизни. Исторически первым нашим циклом, так сказать, до всего, стали «Полюса», которые предполагают выступления авторов противоположных поэтик. Потом сложился цикл «Пункт назначения», где мы представляем авторов, живущих вне Москвы, география, как мы сами смеемся, обширна, от Мытищ до Нью-Йорка. В цикле «Раритет» мы приглашаем выступить авторов, более известных своими достижениями в других областях, нежели поэзия. После, между прочим, они больше обращают внимание на свои занятия поэзией: выступают, выпускают книги. Закономерный, но не становящийся от этого менее печальным ход жизни дал цикл «Незабытые имена», посвященный авторам, недавно покинувшим нас. Два цикла, посвященных проблемам художественного перевода – «Соавтор» и впоследствии заменивший его цикл «Метаморфозы». Аналитический проект «Система координат» – очень важный для нас цикл историко-литературных лекций, посвященных русской литературе 1970-х-2000-х годов, живая история, пытаемся ухватить уходящую натуру. Отдельно упомяну наши игровые проекты – «Слэм», «Квартирник», премию «Пироги-Живая вода». В последнее время мы их не очень жалуем, однако их любят и именно они когда-то принесли «Культурной инициативе» немалую долю популярности.

Из площадок в первую очередь назову почившие в бозе «Пироги на Никольской». Мы их очень любили. С этого исторического подземелья возле Кремля, с этих узнаваемых краснокирпичных сводов начиналась вся наша литпрограмма. И, конечно, практически музейный уже клуб «Проект ОГИ», и двухэтажный книжный клуба «Билингва». Последнее время любимый клуб – «Улица ОГИ» с выделенным залом для выступлений. Интересной площадкой со своим особым форматом обещает стать клуб «Дача» на Покровке.

– Значительная часть вашей программы проходит в «питейных заведениях». Мне кажется, или роль алкоголя, а также явных психических патологий в нынешнем литературном мире снижается?

Юрий Цветков: Поэт Глеб Шульпяков, не лишенный остроумия человек, однажды сказал мне: «Знаю я вашу литературную программу – Большой Водочный Стиль». Творческие люди бывают подвержены и алкогольному синдрому, и наркотическим чудесам: вполне понятно почему. По этому поводу написаны большие работы, и для подробного ответа на вопрос необходимо читать длительную лекцию. Кроме того, не надо забывать, что водка и алкогольные напитки играют еще и коммуникативную роль.

Данил Файзов: А снижается ли роль алкоголя в жизни нашего общества вообще? Мы видим в метро меньше пьяных? Литературный мир неотделим от всего нашего общества, со всеми его плюсами и минусами.

– Огромное количество поэтов, в том числе и весьма значимых, проходящих перед вами, как-то влияет на вашу собственную поэтику, или на каком-то этапе развитие автора определяется исключительно им самим?

Данил Файзов: Поскольку я автор условно молодой и подверженный влияниям, это, безусловно, чувствовалось, особенно в начале. Но так происходит и с теми людьми, которые не занимаются организацией мероприятий – это естественный процесс, особенно в юном возрасте. Кстати, после окончания Литературного института я вообще ничего не писал несколько лет, и стихи вновь появились, когда мы начали литературную программу. Вопрос обретения собственного голоса с самый важный для любого автора. Говорить же о собственных текстах – полагаю, не совсем моя задача.

Юрий Цветков: Во-первых, мне нужно вдохновение не только для того, чтобы писать стихи, но и чтобы о них говорить. Во-вторых, не очень представляю, как буду рассуждать о своем творчестве, занимаясь тем, чем я занимаюсь теперь. Но, конечно какие-то вещи, слышимые на вечерах, очень важны. Ведь известно, поэты не учатся друг у друга, не воруют строчки, они набираются друг у друга смелости.

– Вопрос, задаваемый всем: спор архаистов и новаторов в том смысле, в котором о нём говорил Тынянов, себя исчерпал. Понятно, что источником развития поэзии должно стать другое противоречие. Какое, на ваш взгляд?

Цветков: Не стал бы делать такие категоричные утверждения насчет Тынянова. Там все не так просто. И кстати, противоречия – далеко не единственная и не главная причина движения. О линиях развития русского стиха я не буду рассуждать здесь подробно по двум причинам. Первая: о том, что было раньше, всем интересующимся достаточно хорошо известно**.** Вторая: чтобы объективно оценивать сегодняшнюю ситуацию, нужно дождаться, когда она станет вчерашней. Все должно устояться. Есть очевидные тенденции: с одной стороны, активная борьба за русский верлибр последние 20 лет, с другой стороны, продолжающееся, на каком-то новом уровне, развитие русской силлабо-тоники. Кого сегодня читают? Это авторы, которых не один я считаю

современными классиками: Олег Чухонцев, Инна Лиснянская, Тимур Кибиров, Бахыт Кенжеев, Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Алексей Цветков. Да это и не так важно, та или иная линия развития стиха преобладает. Как писал один из моих любимых поэтов, Борис Пастернак: «Талант – единственная новость».

– Примерно ко времени выхода интервью вы планируете открыть первый в постсоветской России магазин поэзии. Сможет ли этот магазин стать одним из центров поэтического сообщества?

Данил Файзов: Если этот магазин не станет таким центром, он очень быстро прогорит.

Юрий Цветков: Очень странно, что, живя в такой литературоцентричной стране, мы до сих пор не имеем магазина поэзии. Это, кстати, показывает отношение и государства, и бизнеса, и всего общества к поэзии... Крупным магазинам неинтересно торговать поэтическими книгами по сугубо коммерческим соображениям. В результате, когда приезжает человек из провинции или из-за границы, его некуда привести, чтобы показать: вот что сейчас происходит в русской поэзии. Такого места просто нет. Надеемся, что будет, хотя бы и в подвале. И если наш поэтический магазин не станет таким центром, зачем он тогда вообще нужен.

Марина ПАЛЕЙ

Портреты в режиме клипа

Сергей Костырко. Простодушное чтение. – М.: Время, 2010 – 367 с.

I. Кто? Где? Когда?

По-моему, это написал Ромен Гари: из уважения к читателю, покажите ему хотя бы, как в незнакомом жилище отпираются двери, где там включается свет, какие странности своего характера обнаруживает иногда электрический обогреватель – и т. д.

Под «незнакомым жилищем» он, конечно, имел в виду новый текст, книгу.

В «незнакомом жилище», куда я попала этой зимой, у меня сразу возникли два важных вопроса. Первый: какой конкретно период охватывает в целом этот изящно изданный том? Второй: из каких именно печатных источников Сергей Костырко отбирал для него свои критические работы?

Эти сведения мне пришлось узнавать непосредственно у автора. В самой же книге информации на сей счет, увы, нет – ни в редакционной аннотации, ни в авторском вступлении, ни далее, по ходу дела.

Благодаря приватному расследованию, мне удалось означенный пробел восполнить. Во-первых, оказалось, что хронологический размах книги можно, в конце концов, высчитать. Для этого следует лишь принять во внимание, что критические отклики были написаны в те же самые годы, что и рецензируемые публикации (даты выхода которых в книге, к счастью, проставлены) – а также запастись некоторым терпением, поскольку рецензируемые публикации идут в книге не в хронологическом порядке. И вот, выявив самый ранний отклик, а именно, рецензию 1984-го года (на сборник стихов Геннадия Калашникова «Ладонь»), – и самый последний, 2009-го (это эссе «Вайль и Генис как отцы-основатели») – и вычтя из второго числа первое, я получила двадцать пять лет. В нашем контексте это величина серьезная. Нет надобности комментировать.

Далее. Отбросив крайние точки, я заметила, что наибольшая частота работ С. Костырко (в дальнейшем – С. К.) приходится на период 2001-2006 годов.

И здесь наступает черед перейти к пункту «во-вторых»: то есть к выведанным мной у С. К. исходным изданиям. Кстати сказать, именно на протяжении только что указанных лет (притом в атмосфере «максимального благоприятствования», исходя лишь из своего выбора), С. К., с регулярностью одного раза в неделю, писал свои тексты для «Русского журнала». Остальные работы в книге – поделены более-менее равномерно – между «рефлексиями», взятыми из «Журнального Зала», рецензиями из «Нового мира», заметками из «Частного корреспондента», а единичные публикации – распределены между малотиражными московскими газетами «Вести» и «Взгляд» (последнюю не путать с современным интернетным изданием), а также между журналами – «Иностранная литература» и «Октябрь». В целом, это и есть источники критических текстов, выборочно помещенных С. К. в свою книгу.

Таким образом, в общих чертах, мы разобрались с вопросами «когда?» и «где?» Перейдем к вопросу – «кто?»

Для этого вернемся к хронологической оси. За двадцать пять лет на сцене российской изящной словесности, одно за другим, успели «вылупиться» два-три литературных поколения – со своими направлениями, манифестами, амбициями, «ноу хау» и т. д. (Понятно, что – по частоте своего возникновения – генерации в искусстве не совпадают с демографическими и, в период «акселерированного времени», дают знать о своем рождении примерно раз в семь-десять лет.) Кто они, авторы, собранные С. К. под единой обложкой?

Не упоминая конкретных имен (обратное было бы бессмысленным, ибо в книге, так или иначе, перечислен *поименно* основной корпус современной русской литературы), назову только цифры. Количество писателей, произве-

дения которых разбираются в книге подробно (берется по одному произведению «с носа»), – таких писателей около пятидесяти. Если же сюда добавить чуть менее детальные критические реакции С. К. – например, написанные в связи с информационным поводом (первый сезон «Большой книги») – или в связи с необходимость сетевого обзора в Журнальном Зале за год – то число так или иначе привлеченных для анализа имен суммарно подойдет к сотне (!). Добавим сюда еще полемические заметки – идеологической, социальной и политической направленности – т. е. записи, имеющие свой собственный сюжет и свои собственные выводы...

Если говорить о «специализации» анализируемых авторов, то они представлены, в основном, прозаиками (за исключением Веры Павловой и упомянутого уже Г. Калашникова) и публицистами (это Р. Капущинский, П. Вайль и А. Генис, П. Эстерхази, Брассаи, он же Дюла Халас – и др.). Если же подойти к статистике с позиций национального контекста, отметим, что из полусотни детально разбираемых авторов восемь являются зарубежными (среди них, например, Анаис Нин и Гюнтер Грасс).

Однако под вопросом «что?» я имела в виду не только «исследуемый материал», но и преследуемую цель.

Отчасти ответ на этот вопрос дает сама структура книги.

«Тематических» разделов в ней – пять: **1.** Новые архаисты и старые новаторы; **2.** Вечные темы; **3.** В погоне за «духом времени»; **4.** Тяжесть свободы; **5.** О критике вчерашней и «сегодняшней».

Но это, повторяю, лишь частичный ответ.

II. Соблазн

а). Проникнуть в замысел С. К.

Полагаю, автор не ставил перед собой такой глобальной задачи, как изображение (в неком монументальном панно) периодов и направлений изящной словесности за четверть века. Отсутствие такой задачи выражено в книге наглядно. Например, отрезок в пятнадцать лет (между 1984-м и 1998-м годом включительно) представлен, по воле автора, всего семью рецензиями. А отрезок в три года (между 2007-м и 2009-м годом включительно) – всего тремя. Таким образом, мы можем предположить, что цели у С. К. были более реалистические, а именно: **1.** Подвести ориентировочный итог собственным «трудам и дням» за вышеуказанный период; **2.** Обозначить – пунктиром – основные направления своих профессиональных интересов (сложившихся так, как они естественным образом формируются у активно работающего критика – по ходу жизни, оперативно); **3.** Выяснить (опять же для себя), совпадают ли вектора личных профессиональных интересов с объективными проблемами литературного процесса.

Как было сказано выше – скорее всего, С. К. и не пытался достичь задачи, обозначенной мной как «монументальное панно». Иначе, возможно, он бы составил книгу более традиционно. То есть так, чтобы реализовалось «золотое правило перцепции», изначально ограничивающее либо количество «разнородных источников» (в нашем случае – авторов), либо количество исследуемых направлений.

А здесь мы видим словно бы личный дневник. В котором С. К. (процитируем его косвенно) каждый раз, с каждым текстом, *разбирается заново*. Да: это дневник, только уже слегка переработанный, а именно: хронологическая последовательность в нем заменена смысловой.

Но... Дневник дневником – а, с другой стороны, автор, как мне кажется, все равно не мог не питать надежды дать *суммарный слепок* «взятых под прицел» литературных времен. Ведь если специалист, притом с железной регулярностью, регистрирует функциональное состояние «отдельных организмов» – а это именно то, чем занимается критик на договоре (представим для наглядности осциллограф) – то у такого «устройства», то есть у критика, в конце концов возникает небезосновательная надежда получить картину всех линий в целом.

Возникает и гораздо больший соблазн, который лучше всего выражает цветаевский императив: «Критик: увидеть за триста лет и за тридевять земель». Так или иначе, суммирующая «точки осциллографа» книга в своей *бумажной версии* (грозящейся вот-вот отойти в прошлое, но до сих пор остро актуальной) со-

вершает традиционное превращение: придает скомпонованному под единой обложкой материалу качественно новый аспект.

Единого панно я не вижу, но шум времени слышу. Громкий, крайне разнородный, живой, несмолкающий. С хорошо узнаваемыми «музыкальными фразами», характерными для тех или иных лет...

б). Дать совет, хотя его не просят

Здесь следует отметить, что – *внутри каждого* из пяти разделов «Простодушного чтения» – рецензии расположены в той последовательности, которую определяет интрига. Да, интрига – не всегда различимая читателем – но, бесспорно, хорошо продуманная автором. Именно эта внутренняя (чаще всего – имплицитная) связь, «тайное родство», «перекличка» текстов сообщает каждому из них – и разделу в целом – дополнительную исследовательскую, смысловую и художественную ценность.

При таком принципе структурирования оказался – как менее значимый – проигнорирован хронологический порядок, что (например, для меня) во многом чтение осложнило. Выскажу предположение: ведь если какие-либо из этих произведений (как анализируемых, так и критических), были знакомы читателю раньше, то, скорее всего, они уже спаяны в его чувствах с конкретными отрезками времени – и в такой именно (прочной) последовательности запечатлены в памяти, в подсознании...

Каким же образом организовать ценнейшую информацию, чтобы она смогла быть воспринята с максимальной эффективностью? Конечно, скорее всего, читатель все равно станет поглощать книгу в последовательности, удобной для себя самого. Однако если уж выстраивать книгу по принципам более смыслоемким, чем прямой хронологический, то, на мой взгляд, следовало бы выявить родство между всеми смежными текстами эксплицитно. То есть: либо перед каждой рецензией сделать мини-врезку – либо дать микро-послесловие. В любом случае – какой-нибудь очень небольшой (ограниченный одинаковым объемом) пояснительный, связующий текст – так и просится, на мой взгляд, *между* отдельными критическими работами. Кроме пояснения порядка, такой текст давал бы необходимую *разрядку, передышку* читательскому вниманию. Возможно, книга в целом обрела бы дополнительную элегантность. Хотя, разумеется, в другом «формате». (То есть: не исключено, уменьшила бы свои шансы соблазнить издателя...)

в). Вспомнить школьную химию

Книга «Простодушное чтение» чрезвычайно насыщена. Причем не только в информационном, интеллектуальном и этико-эстетическом аспектах – но также и в смысле частоты тех радикальных перенастроек внимания, которые читателю необходимо проделывать всякий раз, переходя к новому автору, к новой теме, к новому герою, к новой задаче. То есть, в среднем, кардинальные «перефокусировки» точек обзора читателю надлежит проделывать каждые три-пять страниц. И вот такая насыщенность делает это чтение (по контрасту к тому, в процессе которого ловил свой кайф С. К.) очень далеким от «простодушного».

Мне могут возразить: ведь именно переключения внимания способствуют «активному отдыху», то есть освежению читательского восприятия (перед встречей со всяким новым «объектом»). Если говорить *о самом процессе* чтения, притом на коротком участке – так, пожалуй, и есть. Но когда несколько рецензий (о разных авторах) оказываются прочитанными подряд, без каких бы то ни было *переходов,* каждый новый текст начинает словно бы «гасит» предыдущий.

По-моему, эти глубокие, вдумчивые (я бы сказала даже – раздумчивые), высококвалифицированные тексты надлежит читать по одному. С большими перерывами. Затем перечитывать. Снова по отдельности.

В противном случае «роение» отдельных «морфологических» единиц книги даст не тот результат, на который он был рассчитан. Ведь каждая такая «единица» книги (рецензия, статья, заметка, эссе, отклик, «рефлексия») имеет собственных героев, собственные обстоятельства места и времени, собственный «конфликт», собственный вывод. А к этому «перенасыщенному раствору» следует добавить (!) еще и высочайшую концентрацию социально-политических событий, которые, в свою пору, не только словно бы катализировали бег времени, но нашли отражение в так называемой

«актуальной» литературе – и также, тем или иным образом (чаще всего – стилевым, формообразующим), оказали влияние даже и на литературу «неактуальную»...

И вот если принять во внимание перенасыщенность данной книги в целом, то становится очевидным, что читателю, от ее изобилия, остается одно: выпасть в осадок.

г). Примерить роль последней инстанции

Полагаю, подавляющее большинство читателей понимает, что такое *обратный перевод*. Возможно, некоторые видели такие штучки своими глазами. А отдельно взятые читатели-авторы, может быть, даже занимались обратным переводом сами. Вот эти, последние, думаю, задавали себе неизбежный вопрос: сколько раз можно перегонять данный текст с языка на язык и обратно, чтобы в нем еще сохранился смысл оригинала?

Судите сами. Некто Брассаи, он же Дюла Халас, представитель парижской арт-богемы, дает портрет Генри Миллера («Иностранная литература», 2002, N1). В том числе – на материале его книг. То есть «портрет» – это в некотором роде и рецензии Брассаи на произведения Г. Миллера. В свою очередь, С. К. пишет рецензию на рецензии Брассаи. А я...

Так что же делаю я? Возможно, довожу толкование «снов» (см. ниже) до такого уж тонкого помола, когда они, сновидения то есть, могут стать «родными» даже для привыкших спать, как бревно?

Марина Цветаева:

«Народ, в сказке, истолковал сон стихии. Поэт, в поэме, истолковал сон народа. Критик (в новой поэме!) истолковал сон поэта.

Критик: последняя инстанция в толковании снов».

(Но Цветаева не была бы собой, если бы тут же не уточнила:

«Предпоследняя».)

III. Центон

Теперь, когда читатель, на что надеемся, несколько «разогрет», дадим ему возможность попробовать текстовое «мясо». Итак, цитаты С. К., выбранные мной из его книги.

«Писатели у нас, слава богу, есть, и такие, которыми могла бы гордиться литература любой страны. А читатель?» (Редкое в России противопоставление. Ведь, как правило, «у нас нет» – писателей, литературы, литпроцесса, издателей, меценатов... Отметим, кроме того, что слово «читатель» употреблено как троп (синекдоха) от «читатели». То есть: писатели «у нас» постепенно остаются без *массы читателей*; писатели остаются без *массы*; писатели читают друг друга в своем элитарном кругу. Вполне закономерное и необходимое, на мой взгляд, вне-имущественное расслоение социума на сословия. Чтение, самой природой, в психофизиологию *массы* не включено. Здесь и далее комментарии в скобках – мои. – М. П.)

«...единственной нишей для художника-интеллектуала будущее оставит электронные игры». (Ну, это еще при наличии электричества – в одичавшем обществе, в глухих катакомбах интеллектуала...)

«...мы наблюдаем и одновременно переживаем вместе с героем самое сокровенное: созревание музыки – жизнь того душевного органа, в чьем ведении творчество. <...> Глухота и слепота героя в начале “Флейты” – это просто неразвернутость в нем будущей музыки. <...> ...нажитая героем музыка ложится на партитуру. Цикл завершен. Наступает тишина. <...> Эмоциональное напряжение, созданное им в тексте, само оживляет слово» (Об А. Гаврилове, 2002.)

«Одна беда: то, ради чего мы, собственно, и читаем литературу – не как критики читаем, а как читатели – вот эта, находящаяся в стадии перманентного брожения, литература, почти не дает. Не дает возможности проживать в эстетическом пространстве собственно жизнь». (Это замечание С. К. относится к 2002-му году. Подтверждаю: да, за последние десять лет в русскую литературу оказался глубоко инкорпорирован высокосортный, безупречный, безукоризненный *силикон*. Эти превосходно сработанные муляжи, имитации, изворотливо-конъюнктурные эрзацы не содержат в себе ни одного нерва их продувных «продуцентов»; в них нет ни одного джоуля живой энергии, ни единого эритроцита подлинной крови. Но «продуценты», чаще всего, лауреаты – фигуры не уважаемые, зато «статусные» – продолжают

выбрасывать на рынок свой бойкий косметический гешефт: силиконовое увеличение читательских черепов.)

«Стратегия эта изначально противостоит самой природе литературного творчества как игнорирующая, скажем так, провиденциальный характер литературного творчества, как *уравнивающая* творца и человека. Точнее, *опускающая то, до чего смог в своем творчестве дотянуться писатель, до уровня его личности*». (Имеется в виду «легенда» автора о самом себе как залог литературного успеха. Курсив в авторском тексте здесь и далее – мой. – М. П.)

«В этом интеллектуальном блуде, опьянявшем потребителя иллюзией раскрепощенности мысли, а изготовителя – неожиданной податливостью объектов "анализа"...» (о новорусском варианте «постмодернизма» в одной из рецензий 2007 – 2009).

«Герой массовой литературы обязан быть победителем, он должен завоевывать "большой мир", а не погружаться в себя, в "мир малый"» (2004).

«Ну а чтение – это то, что происходит вдали от телекамер, чтение – дело тихое, личное, интимное, можно сказать. Один на один с текстом. В известной степени, *процесс, противостоящий "литературе"*» (2007).

«Нет, это роман не брутальный, самодовольно-циничный, а, скорее, грустный». (О романе В. Пелевина «Empire V», 2006.)

«Именно на энергетику художественного образа во многом ориентируется Капущинский в своих (публицистических – М. П.) книгах. На его емкость, неоднозначность, позволяющую мысли жить неоскопленной – жесткостью и однозначностью политической формулировки». («Феномен Рышарда Капущинского», 2007.)

«Долиняк написал повесть – и это очень важно понять – не о столкновении своего героя в детстве с "дурной компанией", не о неких гримасах послевоенной действительности, а об одной из универсальных ситуаций нашей жизни, о некой неизменной данности. По сути, предложенный Долиняком образ "третьего мира", смысловое его наполнение, очень близки к тому, что французский философ-экзистенциалист Симона Вейль определяет понятием Сила». (И. Долиняк. «Мир третий», 1993.)

«И ничего не остается, как вернуться к извечному – к мысли о *самовоспроизводстве войны, самовоспроизводстве злобы.* <...> ... непонятно, кто *потерян для жизни* – познавшие то, что знает Костелянц <...> – или мирно дремлющие в своей непотревоженной уверенности в правоте и гармоничности мира "нормальные люди". <...> Гармония может быть гармонией, только находясь *внутри явления* и, соответственно, попытки уравновесить Освенцим фактом существования, скажем, Венеры Милосской, просто уравновесить, нелепы – их внутренняя связь неизмеримо сложнее.

Гармония жизни – понятие не для слабонервных». (О повести О. Ермакова «Возвращение в Кандагар», 2004.)

«Да, действительно, свобода может испугать. Но ведь точно так же может испугать жизнь вообще. И пугает. Кому страшно, а кому и нет». (Финал рецензии на повесть В. Маканина «Буква "А"», 2000.)

IV. Стоп-кадр

Отдельно – об авторе «Простодушного чтения», Сергее Костырко, который, благодаря заведованию «Журнальным Залом», известен в любых «русскочитающих» точках планеты – и который, для меня лично, оказался главным героем книги: с ним я вела диалог.

Возможно, знакомые с ним «персонажи» удивятся тому, что на первое место в ряду «старорежимных» достоинств С. К. я поставлю... деликатность. Почему? Потому что у С. К. это свойство многокомпонентно. В него входят профессиональная добросовестность, человеческая добротность, вдумчивая, нежная осторожность по отношению к анализируемому «объекту». И все эти слагаемые, в своем взаимодействии, служат, как минимум, одному: не нарушить хрупкую, ускользающую красоту текста.

Далее – «по списку». С. К. никогда не станет корить писателя за иной вкус, мир, взгляд; он вообще исходит из презумпции невиновности автора. Крайне типична для С. К. – человека сильного – эта его постоянная обеспокоенность – *не задеть бы человека без надобности.* Говоря проще – не зашибить бы кого ненароком. (И это в наше-то время!)

Мы не совпадаем темпераментами. В роли критика (даже когда пишу прозу) я человек быстрый, резкий, довольно ехидный. Это, наверное, от небольшого роста. А Сергей Павлович очень нетороплив, обстоятелен. Вихри московских торнадо, конечно, крутят его весьма безжалостно, однако уклад внутри его собственного мира, отвоеванного им у мира внешнего (главным образом – для углубления размышлений), – этот уклад совсем иной.

Его приватное слово никогда не расходится с публичным.

К нему применима его же собственная цитата о польском прозаике Корнеле Филипповиче): «Ему не нужно развешивать атрибуты интеллектуальной прозы, как игрушки на елку. Для него и елка сама по себе – и тайна, и чудо».

Почему? Потому что он, С. К., действительно любит литературу, «текст», чтение. А ведь для современного литературного критика это стало почти не обязательным.

И при всем при том... вот что, пожалуй, не менее ценно (в той же книге «Простодушное чтение»):

«Это к вопросу – а что такое современная проза?

Какая она есть, и какая она должна быть? Кто-нибудь знает? Я – нет».

Maassluis, Nederland
2010

Олег РОГОВ

Поэзия философии: три трамплина для прыжка в глубину

Ольга Седакова. Апология разума. – М.: МГИН, 2009. – 138 с.

С годами становится все более очевидным, что Ольга Седакова не только замечательный поэт, но и своеобразный философ (каковыми, собственно, и являются все настоящие поэты).

Читатель Седаковой наверняка знаком с ее многочисленными статьями, всегда столь же интересными и глубокими, сколь и ее стихи. Сначала это были преимущественно литературоведческие работы, начиная еще с эпохи самиздата, теперь эти тексты щедро рассеяны в современной периодике (особенно стоит отметить регулярные публикации Седаковой в «Континенте»). Наиболее значимые статьи были частично собраны во втором томе ее избранного, вышедшего в 2001 году, и в сборнике «Музыка», приуроченному к присуждению поэту Солженицынской премии. Теперь перед нами небольшая книга, изданная в университетской серии «Современная русская философия».

В сборник вошли три работы: «Земной рай в «Божественной комедии» Данте: О природе поэзии», «Символ и сила: Гетевская мысль в “Докторе Живаго”» и «Апология рационального». Заголовок последней статьи, перекликающийся с названием книги, вызывающе парадоксален, ведь поэтам свойственно приписывать приоритет интуитивного мышления над рациональным. Этот текст – размышления о Сергее Аверинцеве в контексте новизны его понятия рациональности, восходящей корнями к античности и Библии. «Аверинцев показал умное начало прежде всего как начало позитивное, соединяющее, а не отстраняющее, связанное с *целым* ближе, чем какая-нибудь еще из человеческих возможностей». Рациональность в ее глубинных основаниях противопоставляется как соблазнам модернизма и постмодернизма, так и обыденному пониманию разума.

Две статьи посвящены классическим текстам. Первая рассматривает райские образы Данте, одного из главных для Седаковой поэтов, вдохновленного христианской доктриной, которая отнюдь не связывает, а, напротив, освобождает поэтическое воображение. Вторая статья – о глубинных связях Гете и Пастернака, ведущих, конечно, к единому истоку – религиозному мировосприятию как «органическому познанию органического». Важный для советской эпохи жанр – философствование посредством литературоведения – в творчестве Седаковой достигает высот вполне горних и вплотную приближается к точке слияния богословия, филологии и философии в мощное течение единого текста.

Один лишь упрек можно адресовать книге, и он относится к обложке. На фоне известной скульптурной группы расположено стихотворение Седаковой «Ангел Реймса», да вот беда – белые буквы едва проступают на желтом фоне, приходится внимательно вчитываться. Хотя, впрочем, ведь именно это усилие на самом деле и требуется от читателя, разве не так?

Андрей ПЕРМЯКОВ

Для честного просмотра

Александр Переверзин. Документальное кино. – М.: Воймега, 2009. – 48 с.

Создание клипов на тексты современных авторов – далеко не худшая из популярных тенденций, время от времени возникающих в литературной среде. Кажется, сделать видеоряд для стихов из первой книги Александра Переверзина удивительно легко, поскольку автором уже сказано многое:

Курили, мялись у сараев,
решали, как доставим груз
я, Марк и Гена Николаев,
наш однокашник и не трус

Был Гена третьим, внешним оком,
пока снимали втихаря
мы радиатор, ручки с окон
в цеху при свете фонаря

И далее – вполне законченный сюжет, даже снимать интересно не очень, нет свободы для режиссерского творчества. Все, однако, гораздо сложней. Ритмическая, смысловая и образная простота обманчива. Впрочем, «обманчива» здесь слово явно не точное, относящееся к области престидижитации, а в стихах происходит волшебство – целое оказывается гораздо больше суммы составляющих его частей:

Тополя люди здания
облака облака
колесо-испытание
в парке вднх

в кубе свежеокрашенном
сделав круг до земли
астронавты бесстрашные
задохнуться могли

распаленные встречные
губ губами ловцы
наверху были вечные
а сошли мертвецы

Чтобы показать зрителю сказанное здесь, недостаточно обычных визуальных средств. Да и модная ныне 3D-кинематография окажется бессильной. Необходим выход в принципиально другое измерение. По случайному, наверное, совпадению на бывшей ВДНХ, давно уже обозванной еще более царапающей слух аббревиатурой ВВЦ, стоит сооружение, где приезжему народу обещают четырехмерное, пятимерное и даже семимерное изображение. Однако фокусы с панорамными экранами и ароматами во время сеанса к искусству отношение имеют косвенное. Тем более, к искусству выхода в иное. А вот стихи эти позволяют оказаться за гранью пространства, ограниченного унылыми понятиями длина-ширина-высота-время, как позволяют сделать это, например, картины Пикассо. Только работают стихи менее императивно – все-таки речь имеет свойство несколько большей деликатности в сравнении с изображением.

В то же время диапазон воздействия слова в каком-то смысле шире, чем у картинки. В смысловом плане сочетание повторяющихся букв: «губ губами» вполне однозначно, но на уровне звуков спектр восприятия становится куда более широким: тут могут быть услышаны и уходящий поезд, и дружеский тычок в плечо на прощание, и торопливый звук каблуков по тающему снегу – многое, в общем.

Подчеркну: поэт совершенно не навязывает своего восприятия окружающего мира, что неизбежно происходило бы, имей мы дело с изображением. Более того, авторская позиция скорее декларативно-сдержана:

Очередное черно-белое
документальное кино:
в железной рамке опустелая
платформа Косино.

Зима просторная и жуткая –
кругом куда ни посмотри,
осенний холод с промежутками
последней, как всегда, любви.

Обживши тамбур одноразовый,
окно застывшее протри.
Живи и миру не показывай,
какое бесится внутри.

Оба глагола повелительного наклонения в последнем катрене обращены исключительно к лирическому герою, это речь внутрь себя, но читателю требуется минимальное усилие, дабы ассоциировать себя с этим героем. Так бывает, кажется, в детстве при чтении авантюрных романов. Правда, там главный персонаж, как правило, отменно деятелен и храбр, а в «Документальном кино», зачастую совсем наоборот:

Пока расспросами не мучай, допьем –
отвечу напрямик...
На всякий – повторяю, – случай я здесь
хочу зарыть тайник,
блок «Явы», спички – там, под грушей,
под яблоней – огромен сад,
но ты слюней моих не слушай,
я пьян и немощен, медбрат.

Такая капитулянтская, вроде бы заведомо проигрышная позиция позволяет автору пребывать в роли незаметного и не вызывающего зависти наблюдателя, способного из своего укрытия замечать самые тонкие колебания реальности, игнорируемые высокомерным взором. Вообще, желая сказать о поэте нечто положительное и не слишком утомляя себя поисками формулировок, принято указывать на «собственный мир» и «собственный язык» автора. В случае Александра Переверзина такой номер не проходит: его мир это наш мир, а его язык это наш язык. Более того, автор часто и с удовольствием упоминает о той самой общности нашего мира, обращаясь порой к конкретному, кажется, собеседнику, но вполне открыто, без намеков «для своих»:

Если забыла, напомню тебе
встречи с культуркой на Бронной.
Ты не подумай, я не по злобе –
по доброте беспардонной.

Двери не заперты. Недалеко
наши кучкуются в сквере.
Помнишь, тогда еще очень легко
было входить в эти двери.

Значение тонкой книжки «Документальное кино», конечно, предстоит оценить со временем, но, кажется, она заключает в себе гораздо больше, чем можно предположить, глядя на скромные выходные данные. В общем-то, влияние стихов Александра Переверзина на значительную часть молодых и не очень молодых стихотворцев совершенно очевидно. Впрочем, говорить от лица множества – занятие неблагодарное, скажу от себя: внимательно прочитав «Документальное кино», через некоторое время замечаешь неброскую, но вполне заметную его печать на собственных новых стихах. Возможно, даже не печать, но нечто вроде водяных знаков, заметных на свету. И здесь таится ловушка: вдруг да покажется, будто писать «в манере Переверзина» весьма легко: у каждого из нас есть воспоминания индивидуальные, но способные вступать в резонанс с чувствами окружающих. В конце концов, угол, под которым любой автор видит мир, не так уж сильно отличается от угла зрения тех, к кому он хочет обратить свои стихи. Стиль же этого автора при невнимательном прочтении может представиться вполне доступным для «ненавязчивых заимствований».

Дело не в том, что подражание всегда хуже своего объекта, хотя это, безусловно, так. Проблема в ином: Переверзин в своих кристально ясных и, кажется, наивных стихах проникает в ткань бытия необычайно глубоко. Он говорит с тем, с кем стоит говорить: «Смотри – вот твой мир. Он очень простой на самом деле, надо только глядеть на него внимательно и честно. И невооруженным взглядом. Во всяком случае, не через чужие очки». Подражатель же, увы, на эти самые чужие очки обречен. И попытки заемный стиль приукрасить пойдут исключительно во вред.

На последней странице обложки «Документального кино», в соответствии с авторским замыслом, указано: «Предназначен для

частного домашнего просмотра. Не подлежит обязательному прочтению». И не хватает другой надписи, обычно зрителями не любимой: «Не допускается незаконного копирования». Конечно, не в отношении запрета на распространение в электронном виде – книга уже выложена на замечательном сайте «Полутона», но в смысле более глубоком, том, о котором писал поэт, тоже говоривший о вещах бытовых, привычных, но во многих смыслах противоположный Александру Переверзину:

Колея это только моя.
Выбирайтесь своей колеей.

Тогда предостережению многие не вняли, создав множество невнятных кло(у)нов. Хорошо б в этом случае подражателей было меньше: объекту-то подражания это не повредит, но потенциальных поэтов, свернувших на бессмысленную дорогу эпигонства, заранее жалко.

Наталия ЧЕРНЫХ

«Слушая голоса на воде»

Елена Сунцова. Голоса на воде: книга стихов /Предисл. А. Иличевского. – М.: Время, 2009. – 176 с. (серия «Поэтическая библиотека»)

Поэзия Сунцовой при знакомстве кажется неяркой, подчеркнуто женской, косноязычной («городская юродивая»). Однако она покоряет безотчетной интимностью, внезапной доверчивостью к адресату. Возникает чувство, что на читателя обрушились тысячи страниц лирического дневника. Хотя стихотворение редко больше, чем 24 строки. Это очень насыщенная поэзия. Переживание, касающееся только двоих, сплетено с ощущением трансатлантического расстояния, их разъединяющего – и с чувством того, что именно расстояние прочно их соединяет. Эта вселенная с остановившимся временем. Прошлое в ней длится, настоящее раскинулось от Старого до Нового Света и будто замерло, а будущее почти осязаемо.

Интимность высказывания сочетается с осторожностью, а косноязычие выглядит изящным. Возникает радуга лиризма: и переживания, связанные с взрослостью, и детские воспоминания, и едва ли не домладенческие видения. Но все они поверх океана – поверх глубокого и даже религиозного чувства: радуга над океаном.

И волна ли или нам и
ветер врет, напомни,
пели, верили, не знали,
плакали о ком ли.

По живому морем небу
догуляв счастливо,
так не берег ждет ковчега,
голубя – олива.

Настоящий путешественник – тот, у кого есть своя страна. Она всегда одна, но у нее (тоже признак путешественника) есть отражение. Для героини Сунцовой это Америка, страна-индеанка, похожая на подростка:

Это как раковины в песку,
гребень волны шихана,
долгий, глубокий рисунок скул
берега океана.

и ее отражение:

Желтые деревья,
черные такси
(это не в России),
статуя Минервы.

Сунцова не то чтобы видит в человеке божественный образ, – она, скорее, чувствует его, трепещет от этого чувства, возмущается им, ведет себя к нему. В «Голосах на воде» более чем в других стихах Сунцовой заметна – как идущая от киля корабля волна – складка, смещение грамматики и смыслов. Возникает танец звуков и жестов. Поэтесса повторяет движения своего адресата, но о сказанных им словах можно лишь догадываться по ее ответным репликам, всегда оставляющим ощущение недосказанности. Смещение речи происходит само собою, без усилия. Сунцова говорит с адресатом на секретном, тайном языке, но этот язык возникает нечаянно, по мере говорения.

Невнятица «словно удалась / отвердела словно завязь / распустилась вязь» – возникает там, где должны быть ответы адресата. Там, где искрит от напряжения электрическая плоть связи.

В поэзии Сунцовой чувствуются (участвуют) Хлебников, Елена Гуро и Александр Введенский. Некоторые стихотворения напомнили мне раннего Вордсворта. Из современных авторов наиболее близкие – Ольга Мартынова и Игорь Вишневецкий. У поэтессы есть вкус к языковым играм. Однако она не злоупотребляет ими. И порой нужно усилие, чтобы обнаружить эту игру. В книге действительно очень много музыки.

Здравствуй, горло расстояний.
Празднуй, музыка и дух
одного из двух сияний.
Поглоти одно из двух.

Название книги «Голоса на воде» по-английски звучит как «Voices on the water». В английском варианте чувствуется мягкая звукопись, для Сунцовой весьма характерная.

«Эс – эн – вэ» – как в русском названии, так и в английском. Предлог «on» может означать как «на» («лежащий на столе», «надетая на голову»), так и «над», «по-над». «Голоса понад водою» – «Голоса, стелющиеся по воде (над водой)». По-русски «на воде» означает «замешанные на», «настоянные на» (молоке, вине, воде). Получается целебная вытяжка из голосов, квинтэссенция звука (в письме). А вода превращается в самый верный носитель звука, самое верное средство связи. Не зря в книге так много образов, связанных с водой: волна, океан, град, снег, дождь, река. Где вода – там звук, тон, голос; где звук и голос – там божество.

Сергей ТРУНЕВ

По Гамбургскому счету

Леонид Костюков. Снег на щеке. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение. 2009. – 48 с. – Книжный проект журнала «Воздух», вып. 42.

Снег на щеке... Если тает, значит ты еще жив. Если не тает, возможны разные варианты, однако в любом случае снег на щеке суть нечто временное, хрупкое, мимолетное. Как сама жизнь, бренность которой столь явственно проступает уже в самом первом (и, мне кажется, одном из самых лучших) стихотворении сборника – «Памяти тестя» – в каждой из ничтожных вещей, найденных в кармане куртки ушедшего из жизни родственника:

Дождь все лил, сводя ручейки в ручей,
и в сиротстве бедных его вещей,
в каждой мелочи проступала смерть,
как когда-то из вод – твердь.

В сборнике сорок восемь страниц, двадцать одно стихотворение. Удачная, на мой взгляд, компоновка, позволяющая свести к минимуму самоповторы. Просто заметил както, что наилучший объем сборника, если это не антология, демонстрирующая различные манеры письма, – 30-35 стихотворений. После 45-ти читатель либо заканчивает читать, либо начинает тихо ненавидеть автора.

Периоды написания делят сборник на две неравные части. Первая, более объемная, включает стихи, написанные в период с 1996 по 2003 годы, и объединяет тематически настолько разные вещи, что принцип отбора остается под вопросом. Условно сквозным смысловым стержнем можно признать тему времени, на которую соответственно нанизываются мотивы отцов и детей, смерти и памяти.

Стилистически многие составляющие подборку тексты оставляют впечатление того, что автор устал, но мужественно и мучительно писал их, сознавая, что *надо*. Такое случается, когда вдохновения (простите за архаизм) нет, и приходится вытягивать текст за счет либо небанальных рифм (это не наш случай), либо за счет неожиданного, на грани потери смысла, сочетания образов. Результат – стихотворение теряет целостность, распыляется, разваливается на ряды удачных строк, к которым произвольным образом (потому, что *надо*) крепятся неудачные. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров:

Вот он, твой синий костюмчик матросский,
Выстиран, выглажен, ждет тебя,

Маленький, как-то нелепо плоский,
Напрочь бессмысленный без тебя,
Эти кресты, якоря, полоски,
Воздух дрожащий – все для тебя.

Это фрагмент стихотворения «Приемный сын», призванного передать ощущения отца, смотрящего на спящего в кроватке приемного сына. Очевидно, что рифма «тебя-тебя-тебя» едва ли может быть оценена как наиболее удачный из всех возможных вариантов, но, видимо в глазах автора ее наличие вполне окупается сочетанием «матросский-плоский-полоски». Стихотворение «Я вижу: высуко-высуко летят» содержит еще один прозрачный пример банальности:

Он видит: вот береза, а вокруг никого,
а впереди как будто река,
и голоса оттуда окликают его,
но больно тут земля глубока.

Здесь, даже не принимая во внимание ритмическую нестыковку (в конце концов, придерживаться твердой формы или нет – это дело автора), закрывая глаза на смысловую несуразицу, все равно натыкаешься на рифму, каковую к настоящему времени разве что ленивый графоман не использовал. Как, собственно, и глагольную рифму, на которую давно пора наложить запрет, жаль, некому:

И, глядя в вязкую черноту,
я понял, кого жалеть.
Хребет спасает, но по хребту
больнее можно задеть.
Что ж, опереться на пустоту –
ладонь об асфальт стереть.

Все та же смысловая нестыковка, за ради «красивости»: опереться на пустоту нельзя, в то время как стереть ладонь об асфальт при достаточном желании можно, так что приравнивающее одно к другому тире здесь совершенно неуместно. Рифма «жалеть-задеть-стереть» также представляется не вполне удачной, а слово «можно» выпирает из строки, аки заусенец из пальца.

Стихотворение «Падают листья...» в ряду других выглядит наиболее целостным, звучит красиво, лирично, с ясным и безболезненным выходом в Вечность:

Ветер ощупывает золу –
ветер возьмет свое.
Слышишь, пластинка скребет иглу?
Останови ее.

Отдельным блоком в сборнике представлены так называемые «Длинные стихотворения», о которых я практически ничего не могу сказать, поскольку чисто субъективно не люблю, если так можно выразиться, «длинную поэзию». То есть, прочитав их, я понял лишь то, что Леонид Костюков может писать практически обо всем на свете, и всегда это будет *достаточно* хорошо, и, возможно, кому-то из читателей и критиков импонирует именно такая поэзия, но вот лично меня – не зацепило. По субъективному читательскому опыту, который, разумеется, не является достаточным критерием правоты, замечу, что километры поэзии, как бы технично они не были сделаны, не способны разбудить в читателе иных чувств, кроме скуки и восхищения авторским упорством. Наступаю на горло собственной песне, дабы признать, что «длинные стихотворения» совершенно соответствуют мнению самого Леонида Костюкова, высказанному в интервью А. Пермякову: «Я говорил, что проза – один из живительных источников, которым питается поэзия. [...] То есть это один из возможных источников» (Волга. № 2. 2008. С. 215). И это правда, но это же не означает, что напитавшись прозой, поэзия с необходимостью должна стать, как бы это сказать? Прозоподобной.

Второй блок включает всего семь стихотворений, написанных с 2005 по 2008 годы, и в этой небольшой подборке наиболее интересным мне показалось стихотворение «Крестный отец». Я бы назвал его гениальным, но интеллектуалы всех мастей и областей тут же поднимут на смех, со свойственной им вежливостью пояснив провинциальному недоучке, мол, в эпоху постмодерна гениальных стихотворений быть не может. Не буду спорить, скажу лишь, что одну и ту же реакцию я наблюдал при прочтении «Крестного отца» разным людям, а потом нечаянно выучил его наизусть и даже купил неоднократно виденный одноименный

фильм с молодым Аль Пачино, и даже успел еще раз посмотреть. Оказалось, что стихотворение не только блестяще передает общую атмосферу фильма, но практически точно цитирует отдельные фразы. Помните?

в синем воздухе тают последние ноты
в поле зреет золотой злак
усталых людей с настоящей работы
везет огромный жук-кадиллак

прольется много дурной крови
лучше не светиться возле струи
никогда не объединяйся ни с кем кроме
кроме своей семьи

На фоне этого стихотворения все остальные смотрятся *«ничего себе»* текстами, а чего, собственно, ожидать? В ряде их просматривается все та же тема бренности, хрупкости бытия, непрерывно изменяющего свои черты в столь же непрерывном потоке времени, где так трудно, почти невозможно ни удержаться, ни удержать, и поэтому, наверное, строчки замыкающего подборку стихотворения звучат практически как призыв:

Здесь мы и останемся, давайте останемся здесь.
Дальше только хуже, теснее, темнее.
Не уходите далеко, постоянно перекликайтесь.

В целом, сборник производит неоднозначное впечатление. Ну, был бы Леонид Костюков начинающим, никому не известным, провинциальным автором, мечтающим о «столичной публикации». Так ведь нет... И от того непонятны мотивы, следуя которым, автор, способный писать блестящие стихи, согласился на выпуск этого, по гамбургскому счету, среднего сборника, основное содержание которого составляют явно «проходные» тексты.

Ефим ВОДОНОС

«И вот оказалось – вещунья...»

Нонна Слепакова. Избранное в 5-ти тт. Т. 5. «Жизнью помяни меня ...»: Рассказы, статьи, воспоминания. – Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2010 – 440 с.

Наконец-то вышел последний том посмертного издания избранных произведений Нонны Слепаковой, представляющий ее рассказы ранней и зрелой поры, замечательную мемуарную эссеистику 1990-х годов. Существенным дополнением его стали воспоминания и статьи о ней самой Александра Городницкого, Ильи Фонякова, Льва Куклина, Александра Кушнера, Дмитрия Быкова и ряда других людей из ее окружения. Завершает книгу обширная подборка стихов прекрасного поэта, глубокого теоретика и историка изобразительного искусства, блистательного художественного критика, мужа Н.М. Слепаковой Льва Всеволодовича Мочалова. Он же был составителем пятитомника, именно на его плечи легла нелегкая текстологическая работа.

И вполне справедлива оценка этого подвига памяти: «Чудо посмертного торжества Ноны Слепаковой, на наших глазах занимающей наконец заслуженное место в русской литературе, – его заслуга». (Д. Быков). Л.В. Мочалов в сопроводительном письме раздумывал о завершающем томе «Избранного» Слепаковой: «По-моему, он получился как некая веха разрыва времен и их ... связи. В этом собеседовании ушедших с остающимися (или наоборот!) что-то выявляется и для меня самого».

Ничуть не умаляя действительно громадной заслуги составителя, как и всех тех, кто посильно помогал ему в этом (прежде всего, конечно же, считающего себя ее учеником Д. Быкова), думается все же, что «Возвращение Нонны Слепаковой» (так называется статья А. Кушнера о ней), – главным образом заслуга ее самой: оно предопределено не только масштабом поэтического дарования, но и масштабом личности поэта. Не зря было сказано: «Судьбу под землю не заямить...» А Слепакова в силу своего характера смолоду была обречена на судьбу.

Чутко отзывчивая на веяния эпохи, она оказалась поразительно свободной в своих реакциях на текущие события, абсолютно независимой в их оценке от каких-либо групповых пристрастий. Не случайно свою рецензию на книгу ее стихов «Полоса отчуждения», вышедшую в августе 1998 года в Смоленске буквально неделю спустя после смерти автора, Л. Куклин назвал «Стоящая отдельно». Она републикована в пятом томе слепаковского «Избранного».

А переиздание «Полосы отчуждения» стало его первым томом.

Часто повторяют проницательное замечание А. Кушнера о том, что широкому прижизненному признанию Слепаковой мешала сама Слепакова. Она была из числа «рано проснувшихся». Миропонимание ее сложилось уже в юности. Принадлежа к младшему поколению шестидесятников, не разделяла радужных надежд своих старших товарищей в пору хрущевской оттепели. Трезвое осознание реальности не позволяло ей заблуждаться и по поводу действительных целей и вероятных возможностей пресловутой перестройки, которую она, лишенная эйфорических иллюзий, саркастически именовала «перетруской». Есть что-то знаменательное в том, что именно Нонна Слепакова стала автором пьесы по киплинговской сказке «Кошка, гуляющая сама по себе».

Она чуралась любой «стайной» позиции – как консервативной, так и либеральной. Ее внутренняя свобода, несгибаемая стойкость в отстаивании собственной оценки явлений и событий кому-то могла показаться капризом, упрямством: оставаться самим собой во все эпохи бывает трудно. Но что было делать ей, интуитивно проницательной, прямодушной и видевшей достаточно отчетливо изнаночную сторону любой медали?!

Цельность мироощущения и осознание своей поэтической правоты позволили ей четко сформулировать жизненное кредо: «Носа не драть, шею не гнуть! / Самодостаточность – и в обоймах / Несостоянье: ни в бронебойных, / Ни в элитарных. Не обессудь». Она всегда готова была поступать наперекор любой ангажированности. Вполне сознавала, что такая позиция мешает успеху, тормозит широкое признание. Но изменить себе не могла: «Я знаю, как надо жить, но я так жить не хочу!» – вспоминает ее реплику Д. Быков. И это не пустая декларация: она подтверждена всей жизнью. Почти по Ахматовой: «Какая есть, желаю вам другую». Слепакова хорошо сознавала известную свою «посторонность» и дорожила ею.

Нонна Слепакова, безусловно, была поэтом глубоко социальным. Но вовсе не в казенном и не в программно-оппозиционном смысле, а по трагическому ощущению нашей повседневной жизни. «Она умерла оттого, что приняла метастазы Отечества», – горестное восклицание Л. Мочалова откорректировано им же самим: «И однако же она не стала поэтом Заката». Спасали от этого подлинный талант и жадное любопытство ко всем проявлениям бытия. Эфемерность поэтического, да и чисто житейского благополучия не отучили ее от искрометного юмора, от умения, не чураясь самой затрапезной обыденности, окунаться в густо насыщенную бытом атмосферу повседневной жизни, воссоздавая ее в стихах, прозе и драматургии ярко, яростно и неотразимо убедительно.

Ее стихи и проза отличаются бесстрашной откровенностью, погруженностью в пульсирующую стихию современной речи, непринужденностью интонации и выразительностью деталей, подмеченных слету острым слепаковским взглядом. Иногда кажется, что мыслит она не словами, а непосредственно визуальными образами. Присущая ей «въедливая зоркость» материализована прицельными эпитетами, не затасканными и достаточно неожиданными, но не выдуманными, а выхваченными из живого речевого потока.

Удивительна спонтанность ее поэзии и прозы, полных динамики, порыва, оставляющих впечатление рожденности, а не свинченности. И это не только в лирических стихотворениях, но и в сатирико-эпических поэмах, требующих серьезной обдуманности композиционно-логической основы. В них едва ли не больше непроизвольной раскованности и эстетического озорства, нежели в ее лирике. Вспоминают, что она называла себя «советским символистом», обозначив тем самым кровную связь с поэзией «серебряного века». Думается, что и в лирике, и в эпических жанрах ей ближе символика классической русской литературы, а не символистская образность начала XX столетия.

В слепаковском «Монументе», определяемом ею как «последняя петербургская поэма», прямая перекличка с мотивами «Медного всадника». Эпатирующе-саркастическая поэма «Жопа», обозначенная ею как произведение вымышленного Хаима Зенса, тоже выдержана в русле пушкинской стилистики. А мотивацию фантастического сюжетного хода (с отторжением и самостоятельным бытием существенной части тела) получила от гоголевского

«Носа». Поэмы Слепаковой объединяет общность имени главного героя, восходящего к трагикомическому персонажу «Медного всадника».

«Монумент», написанный в 1969-1970 годы, навеян невиданным размахом празднования столетнего юбилея В.И. Ленина, на который Слепакова реагировала пророчески трезвой оценкой действительной роли основоположника коммунистической империи: «Еще не виден был вдали / Тот коллективно-физкультурный, / Безликий и многофигурный / Порядок сталинской земли, / Но ты на Господа восставый, / Хитроприщуренный, лукавый, / Ты в Октябре как раз туда / Качнул страну, делец отважный, / Несостоявшийся присяжный / Поверенный! Твои года / Прошли декретно, чрезвычайно... / И знаешь это не случайно, / Что под тобой взамен коня / Машины мертвая броня / Покорным скульптором в металле / Повторена. Живая стать / С тобой увяжется едва ли... / Здесь Медный Всадник должен стать / Гигантским Медным Пешеходом: / Так он понятнее народам – / Как будто свой, а не достать». Писать так об Ильиче (даже в стол!) решались в ту пору немногие.

Ирония Слепаковой обращена не только к персонажу монумента, но и к главному герою, нашедшему среди разбушевавшейся стихии спасение у подножия бронзового державного истукана. Все так, но выводы, сделанные на этом основании Д. Быковым, что «свобода легализует низость и отрицает иерархию», а потому она «не может быть целью», кажутся явно натянутыми. Разгул раскрепостившейся общественной жизни, пророчески предугаданный поэтом, напрасно отождествляется автором предисловия со свободой. Это явления разной природы. Вспомним Б. Слуцкого: «Не о воле я говорю...»

В самом начале перестройки Слепакова писала: «По оголенным временам / Блуждаем гневно, как по чаще. / И вседозволенное – нам / Всезапрещенного не слаще». Так ведь и здесь вовсе не о свободе речь. Подлинная свобода все-таки нечто совершенно иное, нежели вседозволенность или необузданный произвол. Тем более во времена, когда, по ее же словам, дана «насильственная вольность» и «левое направо обратимо». Какая уж в этом свобода?

Пишущие о лирике или прозе Слепаковой справедливо отмечают особую пристальность ее видения, способность одушевления самых затрапезных вещей бытового обихода: «Чтобы написать старые башмаки как драму, нужно быть Ван Гогом. Чтобы сделать из примуса в коммуналке поэзию, надо быть Нонной Слепаковой», – заметил в посвященной ей статье «Вплотную к жизни» Николай Ковалев. Что же тогда говорить о прекрасных памятниках архитектуры или живописи, обретающих в ее устах осязаемую звукопись стиха, не теряя при этом своей визуальной достоверности: «Взбегая по ступеням вверх, / Творят фонтаны и фигуры / Неугасимый фейерверк / Струящейся архитектуры. / Вода и золото слились / В одно живое ослепленье, Здесь тяжесть, рвущаяся ввысь, – / Материи преодоленье» («Большой каскад»).

Одно из своих стихотворений начала 1980-х годов Слепакова назвала «Слово и живопись». Оно начинается строками «Не перескажешь натюрморт / На языке стиха и прозы». И как бы в опровержение этого горестного признания написала стихи, посвященные, казалось бы, хорошо всем известному «Утреннему натюрморту» (1918) К.С. Петрова-Водкина. Незабываемый 1918-й. Наполненный повседневными страданиями и неизбывной тревогой самый первый год русской революции. Именно тогда в окрестностях Петрограда написан художником этот натюрморт, внешне благополучно успокоенный, но проникнутый предощущением надвигающихся событий.

С удивительной сдержанностью, исходя лишь из словесного воссоздания живописного сюжета, но с сейсмографической чуткостью Слепакова угадала внутреннюю идею натюрморта, рассказанную «голосами» изображенных живописцем вещей и того действенного силового поля, которое пронизывает каждую из них. В духе своеобразной стереоскопичности, присущей и методу самого художника, она пристально разглядывает за предметом предмет, внимательно прослеживая их взаимоотношения друг с другом. И за видимым открывается невидимое – скрытая изображением как будто налаженного быта нарастающая подспудная тревога. Пристальное внимание к «тексту» натюрморта открывает его поэтический подтекст, внушает отчетливое ощущение

того «и что за год идет на белом свете». Сотворческое переживание произведения живописца одушевляет и обогащает ее собственное поэтическое творчество.

Острым чувством эпохи отмечена не только поэзия Слепаковой, но и ее проза. По своему внутреннему импульсу она неотделима от стихов. Своей пронзительной горечью роман «Лиловые люпины» перекликается с множеством стихотворений, воскрешающих ее переживания «на зудящем изломе детства». К примеру, «Утренний путь» (1982) – «зябкий путь от дома и до школы» (...) «С обыденным, нелегким, постепенным / Опознаваньем родины своей». Трезвое осознание жутковатой и саднящей реальности нам, подросткам рубежа 1940-1950-х, давалось не так уж легко, самовыявление личности оказалось затрудненным и чреватым неприятностями самого разного свойства. Иные из них наложили пожизненный отпечаток на характер, а потому и на судьбу.

Не так просто определить реальное место Нонны Слепаковой на литературно-общественном фоне второй половины XX столетия. Устоявшиеся представления о рангах в сфере искусства всегда сомнительны и подлежат периодическому пересмотру. Долгие годы Слепакова оставалась как бы в полу-изоляции, а ведь без учета ее творческого наследия не слишком корректно делать сколько-нибудь определенные выводы о русской литературе 1960-1990-х годов. Особенно о необычайно богатой и плодотворной питерской ее ветви. Изданный пятитомник в значительной мере меняет ситуацию.

В превосходно написанных статьях и воспоминаниях, собранных в завершающем томе, творческая биография Нонны Слепаковой рельефно обозначена, основная проблематика и значение ее наследия выявлены ярко и убедительно. Видимо, подошла пора серьезного научного осмысления ее поэзии, прозы, драматургии. Уверен, что вскоре появятся дипломы и диссертации, посвященные им. Не в этом, однако, главная проблема. «И стать достояньем доцента» (А. Блок) – не такого признания хотела Слепакова. Ее и при жизни огорчала весьма ограниченная читательская востребованность. Широкой известности ее творчества нет и поныне. Даже иные вузовские педагоги, читающие курс современной отечественной литературы, не слышали о таком поэте.

Один из нынешних галеристов иронически заметил: «В будущее возьмут не всех...» За будущее творчества Нонны Слепаковой не стоит волноваться: его еще осмыслят и оценят по достоинству. В одном из посвященных ей стихотворений Лев Мочалов вспоминал:

«Бросала словечко,
прищуря
рассеянно-снайперский глаз.
И вот оказалось – вещунья, –
Копила прозрений запас».

Давно известно: прозренья воспринимаются не всеми и не сразу. Задача приблизить этот час и расширить число постигающих то, что увидено глазом и сердцем талантливого и зоркого поэта, по-прежнему остается актуальной.

Александр РОМАНОВ

Новые страницы Саратовского краеведения

Виктор Селезнев. Кто выбирает свободу. Саратов: хроника инакомыслия 1920-1980-годы. – Борисоглебск, 2010. – 192 с.

Это второе, исправленное и дополненное, издание книги Виктора Макаровича Селезнева. Ее объем почти в полтора раза больше первого издания, появившегося в 2006 году. Преданья старины глубокой начинаются упоминанием о пленных французах 1812 года в Саратове и завершаются перечислением событий горбачевского периода в столицах союзных республик. По сути дела, книга представляет собой серию очерков (в очередном издании их тридцать восемь), каждый из которых посвящен отдельным лицам или эпизодам советской истории, так или иначе имеющим отношение к Саратову.

По сути, это первое исследование об истории инакомыслия в российской провинции. Не берусь давать исчерпывающую оценку книги; цель моей рецензии (точнее будет сказать – реплики) – всего лишь дополнить этот труд фактами, которые, возможно, автору были недоступны.

Самые различные проявления народного инакомыслия неизменно вызывали чуткий отклик власть имущих, режим которых, в зависимости от ситуации, именовался то «диктатурой пролетариата», то общенародным государством». Режим этот хотел быть монолитным и вечным. Он не хотел своего подрыва и ослабления. И для подрывающих и ослабляющих режим граждан в Советском Союзе была придумана и существовала с 20-х по 50-е годы печально известная 58 статья Уголовного кодекса. Число осужденных по ней в одном только Саратове до сих пор никому доподлинно неизвестно. В течение трех десятилетий, с 1 января 1961 года и аж до 1991 года статья 58 (точнее ее 10-й пункт) превратился в статью 70 УК РСФСР. При первой посадке по ней стали давать от шести месяцев лишения свободы до семи лет плюс пяти лет ссылки. В качестве приложения и в первом и во втором издании книги Селезнева приводится список осужденных Саратовским областным судом по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде за все время существования статьи 70-ой. Основным источником для пополнения сведений об этих осужденных был для Селезнева сборник материалов «58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953-1991. Аннотированный указатель. Сост. О. Б. Эдельман. М., Материк. 1999.».

К сожалению, из восемнадцати имен, приводимых Селезневым в Приложении, в сборнике «58-10...» пять имен отсутствуют. Благодаря усилиям «Мемориала», выпустившего в 2007 году уже четвертое издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», удается восполнить этот пробел.

Так, из этой базы данных мы узнаем о втором саратовском процессе по 70-й статье, состоявшемся через пять дней после первого (процесса по делу А. П. Климова), следующее:

Илясов Павел Иванович

Родился в 1915 г., Саратовская обл,. Балашовский р-н, с. Большой Мелик, русский; образование 4 кл.; ПЕНСИОНЕР. Ранее судим по общеуголовной статье. Проживал: Саратовская обл., Балашов. Арестован 3 июля 1962 г. Приговорен: Саратовским облсудом 21 августа 1962 г., обв.: ст. 70 ч. 1 УК РСФСР. Приговор: 5 л. Срок отбывал в Дубравлаге. Постановлением ПВС РСФСР от 16.10.65 помилован. Осв. 26.10.65. Реабилитирован 16 апреля 1992 г. Прокуратурой Саратовской обл., на основании Закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва.

Проходит чуть больше месяца после второго процесса, и областной суд выносит еще два приговора. Читаем опять же в базе данных:

Клементьев Владимир Александрович

Родился в 1932 г., Ленинградская обл., Павловск; русский; образование начальное; заключенный тюрьмы №2 г. Балашова Саратовской обл. Судим четыре раза по общеуголовным статьям. Арестован 6 июля 1962 г. Приговорен: Саратовским облсудом 26 сентября 1962 г., обв.: ст. 70 ч.1 УК РСФСР. Приговор: 5 л., с присоединением части неотбытого срока, всего к 7 годам, из них первые 3 года тюремного заключения. Срок отбывал в Дубравлаге. Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва. И: Козинский Юрий Алексеевич Родился в 1929 г., Каз ССР, Актюбинская обл., ст. Челкар; русский; образование 7 кл., БРИГАДИР ПЛОТНИКОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЭС. Ранее дважды судим по общеуголовным статьям. Проживал: Саратовская обл., Балаково. Арестован 25 июня 1962 г. Приговорен: Саратовским облсудом 26 сентября 1962 г., обв.: ст.70 ч.1 УК РСФСР. Приговор: 5 л. Срок отбывал в Дубравлаге. Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва.

До весны 1963 облсуд отдыхал от антисоветчиков. И вот опять:

Медведев Анатолий Иванович

Родился в 1939 г., Саратовская обл., Пугачевский р-н, с. Романово; русский; образование 4 кл., РАЗНОРАБОЧИЙ ПЛОЩАДКИ «ВТОРЧЕРМЕТА». Проживал: Саратовская обл., Пугачев. Арестован 11 января 1963 г. Приговорен: Саратовским облсудом 27 марта 1963 г., обв.: ст. 70 ч. 1 УК РСФСР. Приговор: 5 л. Срок отбывал в Дубравлаге. Постановлением Президиума В/суда РСФСР от 27.07.65 дело прекращено за отсутствием состава преступления. Осв. 3.08.65. Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва.

Брежневское правосудие восторжествовало над хрущевским волюнтаризмом и беззаконием! Но два с лишним года А. И. Медведеву пришлось посидеть... После процессов хрущевского периода над Богдановым, Гречкиным, Тарасовым, Шкилонцем и Шапошниковым (о которых рассказывается в селезневском научно-популярном исследовании) Саратовский облсуд не ведал никаких забот с антисоветскими элементами без малого пять лет. А тут новая оказия. В 1966 году брежневская Фемида ввела новую статью в Уголовный кодекс, решив карать не только «агитаторов» и «пропагандистов», но и «заведомых лжецов». Появились новые проблемы... Но обратимся все к той же базе данных «Мемориала»:

Черский Николай Григорьевич

Родился 15.06.1946, УССР. Луганская обл., Свердловский р-н, с/х им. Калинина; украинец; образование 8 кл.; слесарь и столяр-мебельщик, заключенный СИЗО г. Саратова, четырежды судим по общеуголовным статьям. Арестован 28 ноября 1968 г. Приговорен: Саратовским облсудом 26 февраля 1969 г., обв.: ст. 70 ч. 1 УК РСФСР. Приговор: 4 г., 2 г. ссылки с присоединением части неотбытого срока, всего к 7 годам ИТК и 2 годам ссылки. Определением В/суда РСФСР от 24.04.69 ст. 70 ч. 1 переквалифицирована на ст. 190-1 УК РСФСР («заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй»), срок по этой статье – 2 года, с присоединением части неотбытого срока общий срок определен в 5 лет. Реабилитирован 16 апреля 1992 г. Заключением Прокуратуры Саратовской обл. на осн. Закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва.

Но это еще не все! Ведь, получив свой стандартный пятерик, Черский не успокоился. И там же читаем:

Черский Николай Григорьевич

Родился 15.06.1946, УССР, Луганская обл., Свердловский р-н, с/х им. Калинина; украинец; образование 8 кл.; з/к ИТК-4 г. Пугачева Саратовской обл. Приговорен: Саратовским облсудом 7 сентября 1972 г., обв.: ст. 70 ч. 1 УК РСФСР. Приговор: 6 л., с присоединением части неотбытого срока, всего к 7 годам, из них первые 2 года тюремного заключения. Срок отбывал во Владимирской тюрьме и Дубравлаге. Определением В/суда РСФСР от 30.12.74 ст. 70 ч. 1 переквалифицирована на ст. 190-1 УК РСФСР («заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй»), общий срок снижен до 4 лет. Осв. 26.04.76. Реабилитирован 16 апреля 1992 г. Заключением Прокуратуры Саратовской обл. на осн. Ст. ст. 3, 4, 5 Закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва.

В промежутке между двумя осуждениями Н.Черского по 70-ой статье саратовские власти провели в январе 1970 года еще один процесс по этой же статье над Сениным и другими, а завершилась вся эта эпопея (а точнее – вакханалия 70-ой статьи в Саратове) процессом над В.К. Белоховым в декабре 1972 года. Книга Селезнева уделяет этим судебным процессам достаточное внимание. Она уделяет внимание не только процессам в Саратове. Глава 20 нового издания посвящена процессу Зиновия и Лидии Троицких 1965 года в Перми. Поскольку значительная часть жизни и деятельности Троицких прошла в Саратове, а приговор по этому делу широкой публике неизвестен, то хотелось бы обратить внимание читателей на текст этого замечательного документа эпохи. Копия его перед нами (орфография и пунктуация оригинала сохранена).

Дело №2-144 2 августа 1965 года
ПРИГОВОР
Именем РСФСР
Пермский областной суд, в составе:
председательствующего Патракова Ю. М.
и нарзаседателей Егорова П. А. и Шкуратова Е. Т.
при секретаре Болеговой
с участием прокурора Трапезникова
и адвоката Борисовой
рассмотрел в закрытом судебном заседании в г. Перми 26 июля–2 августа 1965 года дело по обвинению
ТРОИЦКОГО ЗИНОВИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 1932 года рождения, уроженца г. Старый Оскол Белгородской области, украинца, образование

высшее юридическое, 15 октября 1964 г. защитившего кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук, высшей аттестационной комиссией диссертация не утверждена, с 1959 г. состоявшего членом КПСС, исключённого в связи с настоящим делом, женатого, военнообязанного, ранее не судимого, до ареста работавшего старшим преподавателем кафедры гражданского права юридического факультета Пермского государственного университета им. Горького, проживающего в г. Перми, по ул. Ленина, д. 191, кв. 61, преданного суду по ч. 1 ст. 70 и ст. 72 УК РСФСР;

ТРОИЦКОЙ ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ, 1923 года рождения, уроженки села Лунино Пензенской области, русской, образование высшее юридическое, беспартийной, замужней, детей не имеющей, невоеннообязанной, ранее не судимой, до ареста работавшей юрисконсультом центральной конторы материально-технического снабжения «Главзападуралстрой», проживавшей в г. Перми по ул. Ленина в д.191 кв.61, преданной суду по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР

Судебным следствием суд

у с т а н о в и л:

Подсудимый Троицкий, обучаясь в Саратовском юридическом институте, работая в органах прокуратуры, а затем обучаясь в аспирантуре Саратовского юридического института и работая преподавателем Пермского государственного университета, будучи антисоветски настроенным и вынашивая идею изменения существующего в СССР государственного и общественного строя по типу буржуазных государств, с 1951 г. и по день ареста проводил организационную деятельность, направленную к проведению антисоветской пропаганды, принимал меры к созданию антисоветской группы, разрабатывал программные документы, предусматривающие изменение существующего в нашей стране строя, проявляя активную организаторскую роль, склонял группу лиц с политически неправильными взглядами к проведению практической антисоветской деятельности. В этот же период времени – с 1951 г. по март 1964 г., подсудимый Троицкий систематически проводил антисоветскую пропаганду с целью подрыва Советской власти. В этих же целях разрабатывал программный документ антисоветского содержания, который обсуждал совместно со своими единомышленниками, в том числе обсуждал с ними и пути изменения существующего в СССР строя, изготовлял и распространял антисоветские листовки и анонимные письма. Совместно со своей женой – подсудимой Троицкой, также антисоветски настроенной, подсудимый Троицкий поддерживал письменную связь с представителем зарубежной антисоветской организации «Народно-трудовой союз» /НТС/, используя полученные от этого представителя подсудимой Троицкой средства тайнописи, совместно с Троицкой сообщал представителю НТС клеветнические измышления о советском государственном и общественном строе, совместно с подсудимой Троицкой хранил полученную последней антисоветскую программу этой организации, направленную на свержение существующего в нашей стране строя, совместно с Троицкой знакомил с этой программой других лиц, своих единомышленников, склонял их к распространению этого антисоветского документа. Судом установлены следующие конкретные факты преступной деятельности подсудимых Троицкого З. А. и Троицкой Л. П.:

В 1951 году, обучаясь в Саратовском юридическом институте, Троицкий познакомился со студентом того же института Петровым А. В. и, убедившись в его политически неправильных взглядах, сблизился с ним, а затем через Петрова познакомился и близко сошёлся с Егоровым Н. Е., Фоминым А. И., а позднее с Яковлевым В. А., которые также высказывали политически неправильные суждения.

По инициативе подсудимого Троицкого на протяжении 1951–1953 гг. Троицкий, Петров, Егоров, а также и Фомин систематически встречались в г. Саратове и проводили дискуссии на политические темы, в ходе которых подсудимый Троицкий пропагандировал антисоветские идеи. В указанный период времени в присутствии Петрова, Егорова и в отдельных случаях в присутствии Фомина, Троицкий клеветнически отзывался о существующем в нашей стране государственном и общественном строе, клеветал на КПСС и в кругу названных лиц неоднократно пропагандировал идею о необходимости изменения существующего строя, обсуждал различные пути этого изменения.

В 1952 году Троицкий и оказавшийся под его влиянием Петров разработали программные документы, отражающие их антисоветские взгляды и в этом же году в г. Саратове на квартире Петрова, в присутствии его и Егорова, под руководством Троицкого провели обсуждение этих антисоветских документов, во время которого была выработана единая «программа», текст которой был записан в общую тетрадь Петрова и хранился в его квартире до 27 марта 1965 г., после чего Петровым был уничтожен. В этом документе, составленном по инициативе Троицкого, давалась клеветническая оценка государственному и общественному строю СССР как с политической, так и с экономической точек зрения, отвергалась марксистско-ленинская теория строительства коммунизма в СССР и предусматривалась задача преобразования строя в нашей стране по типу буржуазных государств. В этот же период времени подсудимый Троицкий склонял соучастников дискуссий к изготовлению, распространению среди студенчества г. Саратова брошюр и листовок с целью пропаганды этих антисоветских взглядов, предупреждал Петрова, Егорова и Фомина о необходимости соблюдения конспирации при проведении антисоветской деятельности.

Подобные антисоветские идеи Троицкий пропагандировал с конца 1958 г. при встречах с Петровым и Яковлевым. В 1959 г., работая в органах прокуратуры и оставаясь на враждебных позициях к политике КПСС, советского правительства и коммунистической идеологии, подсудимый Троицкий из карьеристических побуждений вступил в КПСС, скрыв от партии свои действительные взгляды и убеждения.

В 1961 г., обучаясь в аспирантуре Саратовского юридического института, Троицкий активизировал свою организационную деятельность по сколачиванию антисоветской группы, продолжал пропагандировать среди своих единомышленников идеи изменения существующего в СССР государственного и общественного строя и в целях противодействия мероприятиям КПСС и Советским правительством в области внешней и внутренней политики склонял Петрова, Егорова и Яковлева к проведению практических антисоветских действий. С этой целью осенью 1961 г. Троицкий, Петров и Егоров вынашивали идею изготовления листовок с помощью шрифта, изготовленного из резины.

Петров и Егоров делали попытки изготовить такой шрифт. Летом 1962 г. Троицким и Петровым была предпринята попытка изготовить листовки фотографическим способом путём размножения снимка листовки, текст которой был изготовлен Троицким. Однако, эти попытки кончились неудачей и намерение не было осуществлено.

Летом 1961 г. в связи с опубликованием в печати проекта программы КПСС Троицкий в присутствии Петрова и Яковлева клеветнически отзывался об этом документе, высказывая идеи, противостоящии проекту программы КПСС.

В августе-сентябре 1961 г. при обострении международной обстановки в связи с берлинским вопросом Троицкий в целях противодействия политики советского правительства совместно с Яковлевым и Петровым изготовили около 10 анонимных писем, адресованных главе советского правительства и для создания видимости недовольства населения различных городов нашей страны и с целью конспеpации поручили Яковлеву отправить эти письма по маршруту следования его из Саратова в г. Пермь, что Яковлевым и было сделано.

В декабре 1961 г. с этой же целью по инициативе Троицкого им и Егоровым было изготовлено, по тексту, предложенному Троицким, около 20 листовок, в которых от имени «народа» излагались клеветнические измышления о внутренней и внешней политике КПСС и советского правительства. Ставя задачу вызвать отрицательные настроения у населения к политике КПСС и советского правительства, Троицкий, Петров и Егоров в ночь с 25 на 26 декабря 1961 г. распространили указанные листовки в г. Саратове путём расклеивания их в общественных местах, оставлениях в будках телефонов-автоматов, подбрасывания в почтовые ящики жителей города.

В 1962 г. в связи с кубинскими событиями, на квартире Петрова в г. Саратове в присутствии Петрова и Егорова подсудимый Троицкий высказывал провакационные идеи, направленные против нашей страны и коммунистического строительства.

В июле 1963 г. Троицкий изготовил серию антисоветских листовок, излагая в них клеветнические измышления о политике КПСС и советского правительства, которые распространил в г. Саратове. Шесть листовок из этой серии были обнаружены жителями дома № 106 по проспекту Ленина – Симоновым, Архиповым, Филатовой, Сухоруковой в ящиках для писем и газет.

Подсудимая Троицкая, будучи под влиянием Троицкого, враждебно настроенной к существующему в СССР государственному и общественному строю и поддерживая с 1962 г. письменную связь с одним из представителей зарубежной антисоветской организации НТС по сообщаемым им подставным адресам, в январе 1964 г. получила от него по почте программу НТС, являющуюся антисоветским документом, направленным против существующего в нашей стране политического и общественного строя, а также копирку для нанесения тайнописи и инструктивные указания о пользовании копиркой и правилах проявления тайнописных писем, о соблюдении конспирации и маскировке тайнописного текста.

После ознакомления с программой подсудимый Троицкий с ведома подсудимой Троицкой вызвал в том же январе 1964 г. из г. Верещагино своего единомышленника Яковлева и у себя на квартире в присутствии и при участии Троицкой ознакомил Яковлева с этим антисоветским документом. В процессе обсуждения программы подсудимый Троицкий дал ей положительную оценку и соглашался с содержащимся в ней клеветнической оценкой государственного и общественного строя в СССР, высказывал желание ознакомить с ней населения.

В этом же месяце, с согласии и одобрении Троицкого, подсудимой Троицкой было написано тайнописное письмо представителю НТС и с помощью Яковлева, с целью конспирации, было отправлено со ст. Балезино. В указанном письме подсудимые Троицкая и Троицкий одобрительно отзывались о программе и сообщили представителю антисоветской организации отдельные клеветнические измышления о порядках в нашей стране.

В августе 1964 г. при поездке в г. Саратов подсудимый Троицкий с ведома Троицкой с целью ознакомления своих единомышленников взял с собой указанную программу, зашив её специально в тайный карман под подкладом пиджака.

В пути следования, в каюте парахода, по предложению Троицкого подсудимая Троицкая с помощью тех же средств тайнописи написала второе тайнописное письмо представителю НТС, которое было отправлено из г. Волгограда. В этом письме Троицкая, с ведома и одобрения Троицкого и по его предложению, сообщила вновь одобрительные отзывы о программе, а также выразила желание большого распространения её среди советских граждан. Здесь же Троицкая изложила клеветнические измышления о советской действительности.

В это же время в г. Саратове Троицкий ознакомил с программой НТС Петрова и Егорова и организовал её обсуждение, в ходе которого в период с 10 по 17 октября 1964 г. на квартире Петрова Троицкий одобрил программу НТС и склонял Петрова и Егорова к её распространению, высказывал Петрову намерение об установлении в будущем более тесной связи с НТС.

В марте 1965 г. подсудимая Троицкая ознакомила Троицкого с содержанием проявленного ею текста второго тайнописного письма, полученного от того же представителя НТС, и записала его новый адрес, который Троицким был спрятан в футляр от электробритвы. Намереваясь продолжать антисоветскую деятельность и боясь ответственности, Троицкий и Троицкая спрятали программу НТС в одной из ёлочных игрушек и хранили её до момента обыска их квартиры – 26 марта 1965 г.

Подсудимый Троицкий виновным себя в предъявленном ему обвинении не признал. Не отрицая объективно большинства изложенных в настоящем приговоре фактов и проступков, за исключением некоторых из них – отдельных наиболее острых высказываний об оценки существующего строя периода 1952 г., инициативу в разработки «программного» сочинения 1952 г., идею в отправки писем в августе-сентябре 1961 г., идею изготовления шрифта и фотолистовок, инициативу изготовления листовок в июле 1963 г., провакационные высказывания в связи с событиями в Карибском море – и считая, что в освещении этих событий Петров,

Егоров, Яковлев его оговаривают, подсудимый Троицкий заявил, что вся эта его деятельность антисоветской не является, т. к. он высказывал лишь «критические» замечания по поводу имеющихся недостатков, а умысла на подрыв или ослабления советской власти не имел. Отрицает организационную деятельность по созданию антисоветсткой группы.

Подсудимая Троицкая признала себя виновной в написании и отправки тайнописных писем с изложением политического и экономического положения в нашей стране и хранение антисоветского документа, однако, отрицает наличие антисоветского умысла и ознакомление с программой НТС других лиц.

Суд находит вину подсудимых установленной их частичным признанием, показаниями свидетелей Петрова, Егорова, Яковлева, Фомина, Казаковой, Симонова, Фельдман, Бахрах, имеющимися в деле вещественными доказательствами – программой НТС, листовками, записями адресов представителя антисоветской организации, конвертами от переписки с представителем НТС и его письмами, копиркой для тайнописи /т.4 л.д.9 и паке/ документами, собственноручно воспроизведёнными подсудимой Троицкой /т.2 л.д. 278-280/ и свидетелем Петровым /т.2 л.д. 98-99/, перепиской подсудимого Троицкого и свидетеля Петрова в июле 1964 г. /т.2 л.д. 268/, письмом Троицкой к Троицкому из камеры следственного изолятра /т.6 протокол судебного заседания/, заключения экспертов /т.2 л.д. 107-165, 173/.

Виновность подсудимой Троицкой в ознакомлении с антисоветской программой других лиц помимо показаний свидетеля Яковлева подтверждается показаниями Троицкого о том, что с программой НТС он знакомил Яковлева в присутствии Троицкой и что Троицкая признала частичное участие в обсуждении этой программы и даже сделала несколько замечаний по одному из разделов этого антисоветского документа. Этого не отрицает и сама Троицкая, а также признаёт, что с её ведома Троицкий знакомил с программой других лиц в г. Саратове.

Оценивая показания подсудимых и свидетелей в судебном заседании, учитывая характер, способы и методы совершения преступления подсудимыми. А также принимая во внимание меры конспирации, к которым прибегали подсудимые и все другие обстоятельства дела в их совокупности, суд считает, что подсудимые Троицкий и Троицкая совершали преступление с прямым умыслом, направленным на подрыв советской власти.

Действия подсудимого Троицкого З. А. правильно квалифицированны ч.1 ст. 70 и ст. 72 УК РСФСР, подсудимой Троицкой – ч. 1 ст. 70 УК РСФСР

Суд считает также, что обвинение Троицкого в попытке бегства за границу с целью проведения там антисоветской деятельности, высказывание клеветнических измышлений в разговоре с американским гидом на выставки в Москве, а также разработка программного документа, противопоставленного программе КПСС летом 1961 г, в судебном заседании не нашло своего подтверждения.

Подсудимый Троицкий вину свою в совершении указанных выше действий не признал. Свои показания о характере разговора с американским гидом, данные на предварительном следствии, объяснил неточностью записей в протоколе и своей невнимательностью. Свидетели о содержании разговора Троицкого сообщают только с его слов. При таких обстоятельствах суд не может считать этот факт бесспорно установленным. Передача же тех сведений, о которых сообщил Троицкий в судебном заседании, не содержит состава особо-опасного государственного преступления. Показания свидетеля Петрова о попытке бегства за границу вызывает сомнение в части восприятия им этого разговора с учётом того, что этот свидетель подтвердил и отрицательное отношение Троицкого по этому же поводу. Поскольку свидетели Петров и Яковлев, показывая о разработки Троицким «программного» документа летом 1961 г самого содержания этого документа не читали и воспроизвести его не могли, суд не находит оснований для признания записей, которыми пользовался Троицкий, излагая свои суждения по проекту программы КПСС, разработанной программой, как это предъявлено в обвинении Троицкого. По всем этим эпизодам обвинения суд считает необходимым Троицкого оправдать.

При определении меры наказания подсудимому Троицкому суд учитывает тяжесть и по-

вышенную опасность совершённых им преступных действий при этом принимает во внимания и такое смягчающее вину обстоятельство, как первая судимость.

При определении меры наказания подсудимой Троицкой суд также учитывает повышенную общественную опасность совершённых ей преступлений, но принимает во внимание и то, что преступление ею было совершено под влиянием подсудимого Троицкого, что ранее она судима не была, а также состояние её здоровья.

Руководствуясь ст. ст. 300, 318 УПК РСФСР, Пермский областной суд

ПРИГОВОРИЛ:

ТРОИЦКОГО Зиновия Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 70 и ст. 72 УК РСФСР и на основании ч.1 ст. 70 УК РСФСР подвергнуть наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 /шесть/ лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На основании ст. 29 УК РСФСР лишить Троицкого права заниматься преподавательской деятельностью в течении 5 /пяти/ лет после отбытия наказания.

ТРОИЦКУЮ Лидию Петровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.70 УК РСФСР и на основании ч.1 этой статьи УК РСФСР подвергнуть наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Зачесть подсудимым Троицкому З. А. и Троицкой Л. П, в срок отбытия наказания время предварительного заключения по настоящему делу Троицкой Л. П. с 26 марта 1965 г, Троицкому З. А. с 27 марта 1965 г

Меру пресечения в отношении Троицкого и Троицкой до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей.

Взыскать с подсудимого Троицкого З. А. в соответствии со ст. 107 УПК РСФСР судебные издержки, связанные с вызовом свидетелей по настоящему делу, в сумме 360 /триста шестьдесят/ рублей.

Настоящий приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд РСФСР через Пермский областной суд в течении 7 /семи/ суток после провозглашения приговора и вручения его копий осужденным.

председательствующий – Патраков
нарзаседатели: Егоров, Шкуратов

м. п. *верно: подпись*

К этому остаётся лишь добавить, что согласно записи на странице 667 сборника «58-10...» дело Троицких числится в ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации) в Ф. 8131. Оп. 31. Д. 98903.

А в базе данных «Мемориала» отмечается, что срок Зиновий и Лидия Троицкие отбывали в Дубравлаге и были реабилитированы 3 апреля 1992 года Заключением прокуратуры Пермской области. До реабилитации ни она, ни он не дожили...

Пока наши «односельчане» (выражение Борисова-Мусатова) не будут иметь доступа к архивам, вряд ли нам удастся оценить истинный масштаб трагедии советского периода – и нам придется смотреть на события тех времен, как сквозь закопченное стекло.

Иван КОЗЛОВ

Спецэффекты: цена вопроса

Холмс, да не тот

По сравнению с новым фильмом про Шерлока Холмса, который снял Гай Ричи, наш советский лубок с Ливановым и Соломиным – несомненный шедевр.

В этом фильме все не так. Начиная с ритма – вместо неторопливого движения, что прозы, что предыдущих экранизаций, когда ты уютно трясешься в коляске-двуколке – рваный бешеный ритм, столь знакомый (и уже порядком поднадоевший) по десяткам боевиков и триллеров. Кстати говоря, заданный изначально быстрый темп не дает ощутить необходимого в соответствующих местах ускорения, которое было столь явственным в «классических» экранизациях – в сценах погонь, например. Дальше по списку – диалоги. Наверное, можно и хуже. Вымученные остроумности, над которыми явно трудился творческий коллектив, фразы «не из той оперы» – ну посудите, господа, разве мог Холмс сказать Ирэн Адлер «ты по уши в дерьме»? Наконец, вместо точеного профиля Холмса – нос картошкой исполнителя главной роли Роберта Дауни-младшего. И сходство Джада Лоу, который играет доктора Ватсона, с Юрием Соломиным лишь усиливает общее раздражение. Я ожидал чего-то на троечку с минусом, но по пятибалльной шкале не моргнув глазом поставлю этой фильме «–5».

Собственно, обо всем этом можно было бы и не писать, если бы не одно обстоятельство, которое кажется мне столь же любопытным, сколь и омерзительным. Создатели фильма очень вяло пытаются дистанцироваться от создаваемого ими продукта. В первых кадрах задник – панорама центра Лондона кажется нарисованной; сцена проезда Холмса и Ватсона в карете зафиксирована намеренно неумело, имитируя комбинированные съемки; пресловутая скрипка сыщика задействована исключительно в качестве игры пиццикато; злодей-амбал напутствует Холмса выражением «беги, кролик, беги». То есть, время от времени нам дают понять, что все это не взаправду и даже где-то как-то имеет место быть, прости господи, постмодернизм.

И вот тут встает вопрос – а сколько же надо таких реверансов, чтобы зритель принял условия двойной игры и смирился – и с диким сюжетным бредом, и с паразитированием на дорогих некогда сердцу каждого школьника именах? Похоже, в наше время речь идет о сугубо количественном показателе, если такой вектор не задан сразу. Точный процентный показатель определить не берусь, но новый Холмс до него явно не дотягивает, ни в деталях, ни в сюжете.

О сюжете, кстати, стоит, сказать особо. Вернее, о его связи со спринтерским темпом. Получается интересная закономерность – бешеный ритм фильма (как и во многих других подобных лентах) не дает возможности вникнуть во все несообразности сюжета, и зритель вынужден кушать то, что дают, торопливо заглатывая как лихорадочные извивы повествования, так и абсолютно невнятные разъяснения скороговоркой в конце. Очень удобно – можно смело лепить любую белиберду – уследить не успеешь, а разбираться потом будет лень.

Ах да, чуть не забыл. Единственный плюс этого фильма – замечательная музыка Ханса Зиммера. Как и всегда, впрочем.

Аватар: алчба голограммы

Казалось бы, взрослые люди, много чего повидали и зацепить нас какой-нибудь немудреной ерундой не так-то просто. Ан нет, зрительское внимание в «Аватару» Джеймса Кэмерона бьет все разумные рекорды. Многим из нас удалось купить билет отнюдь не с первого раза, а кое-кто и переплачивал мудрым спекулянтам, загодя бронировавшим места и

продававшим эту бронь практически по цене билетов (так что мировые сборы «Аватара» существенно занижены).

Главный аргумент в пользу решения все-таки посмотреть этот фильм у многих был сродни фразу булгаковской старушки: «Говорящую собачку любопытно бы поглядеть». Ну, или женщину с бородой, как наши предки в ярмарочный день. Что поделаешь, тяга к зрелищам в простом и удивительном их восприятии, очевидно, неискоренима в людской природе, лишь успевай менять объекты и подставлять шапку для пятаков.

Так и с «Аватаром». Все, что касается спецэффектов – замечательно. (Хотя, по совести говоря, ничего принципиально нового по сравнению с 1976 годом, в который мне довелось посмотреть фильм в стереоочках в кинотеатре «Октябрь», что в престольной на Горького, я не увидел. В том фильме, как сейчас помню, в зал с экрана летели окурки и выплескивалась вода из ведра. Про что был фильм – как-то подзабылось. Кажется, что про гражданскую войну. В советское время было снято несколько стереофильмов, которые, сменяя друг друга, годами шли в одном и том же кинотеатре). Так вот, лучше бы создателям «Аватара» и ограничиться прекрасным волшебным лесом, который выглядит, как ожившие картинки на альбомах группы «Yes».

И хочется поставить вопрос глобально: ведь кино, по природе своей, ориентировано именно на спецэффекты, мы это любим и ценим, хотя и быстро привыкаем. Но такой уникальный синтез видеоряда, музыки, слова и игры, который представляет собой кинематограф, грех тратить на сугубую развлекуху. Как быть, что делать, кто виноват? Кто я – жадный до зрелищ зритель, или мыслящий вместе с режиссером зритель же?

Может, и вправду, стоит снимать в 3-D красивых рыбок и порнуху, а кино, как высокий жанр, оставить без технических наворотов?

Или, наоборот, поменять местами фигуры? Пусть Сокуров снимает «Скорость-2», а Сталлоне «Блоу-ап»?

Без Таро не разберешься

Терри Гиллиам время от времени вынужден снимать фильмы, которые явно придутся по сердцу любой публике (не теряя при этом необщего выраженья творческого лица). Но иногда он находит продюсера, с молчаливого согласия которого режиссер позволяет себе все. Как бы отыгрываясь за ограничения, которые приходилось ставить себе, например, снимая «Барона Мюнхгаузена» или «Братьев Гримм», Гиллиам разворачивается во всю ширь в «Стране приливов», например. Или в новом фильме «Воображариум доктора Парнаса».

Эта лента удивительным образом балансирует между двумя пропастями – реальности и фантазии. Свались она в одну из них – и пусть реальность будет предельно фантастичной, а фантазии предельно реалистичными – ее было бы легче и смотреть, и понимать. Но фильм движется, как неопытный канатоходец, рывками. Заваливаясь в обе стороны поочередно, но всегда вовремя выпрямляясь.

Это кино нужно смотреть очень внимательно, иначе трудно сразу поймать все смыслы, да и просто разобраться в двойной бухгалтерии подсчета душ, которые владелец балагана доктор Парнас (Кристофер Пламмер) пообещал Дьяволу (Том Уэйтс), в символике карты колоды Таро «Повешенный», которую воплощает мошенник Тони (его роль играют аж четыре актера – Хит Леджер умер во время съемок, и доигрывать, изменяя по ходу дела сюжет, пришлось Джонни Деппу, Колину Фаррелу и Джаду Лоу).

Главный герой, доктор Парнас, современное воплощение фаустианского архетипа, всю свою бессмертную жизнь играет с Дьяволом. Условия игры дополняются, находятся неожиданные лазейки, партнеры не могут существовать друг без друга, вовлекая в свои игры окружающих. Присмотритесь к просящему пару рублей пьяному бомжу – вдруг это доктор Парнас в очередной личине?

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 16 апреля 2010 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.